

В. Е.
КОРОЛЕНКО

P1
568

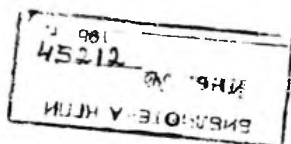
В. Г. КОРОЛЕНКО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ
4

ПОВЕСТИ,
РАССКАЗЫ
И ОЧЕРКИ

45049



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
«МОЛОДОЙ КОЛХОЗНИК»
1960

Подготовка текста *М. А. Соколовой*,
примечания *Г. М. Миронова* и *М. А. Соколовой*

Иллюстрации художника *Б. И. Лебедева*

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», 1960

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ
И ОЧЕРКИ



1
1
e
5
7



НА ЗАВОДЕ

Две главы из неоконченной повести

I

ДВА МАЛЬЧИКА

Завод работал. Приближался полдень жаркого весеннего дня, и площадь перед заводом притихла. Лачуги, где жили семьи рабочих, глядели на площадку подслеповатыми маленькими окнами. Движения не было. Казалось, заводская слободка томится в ожидании обеденного свистка...

Начальник завода Доримедонт, или, как его звали рабочие, — Дормидон Иванович Вахрушин, вышел из своего просторного и светлого, но довольно скромного дома и направился через площадь к заводу. Каждый день в это самое время выходил он из дому и проходил через площадь обычной неторопливой походкой, глядя на молчаливую, хорошо знакомую слободку несколько заплывшими добродушными глазами. Это был мужчина немолодой, довольно тучный, с красным лицом, еще более красным носом и большими опущенными вниз усами. Одет он был в старую полушинель с потускневшими медными пуговицами, а на голове у него, несмотря на жару, была надета косматая баранья папаха.

Пройдя менее четверти пути, Дормидон Иванович остановился, прикрыл глаза ладонью от солнца и присмотрелся к фигуре, бежавшей по боковой дорожке наперерез.

— Поп бежит... — констатировал он, и легкая улыбка шевельнула его усы. За попом, слегка упираясь, бежал какой-то мальчишка, которого он тянул за руку, и другой, бежавший в нескольких шагах сзади.

— Здравствуйте, батюшка, куда так торопитесь?.. — произнес Дормидон Иванович, подойдя к тому месту, где дорожка пересекалась.

— К вам, Дормидонт Иванович, — к вашей милости прибегаю... — ответил запыхавшийся священник... — Не угодно ли будет?..

И он протянул начальнику завода табакерку.

— Отроков вот хочу на завод определить...

— А чьи они? — спросил начальник, взяв из табакерки священника порядочную понюшку. Он старательно закладывал табак, закрыв одну ноздрю и прижимив один глаз. Священник, рядом с которым стояли два маленьких оборванца, только что собрался ответить, как вдруг Дормидон поднял голову, сделал ужасную гримасу и громогласно чихнул.

— Здорово чхнул... — простодушно заметил один из оборвышей, ширококостный загорелый мальчишка с черными, несколько дикими глазами.

— Что сказал? — спросил начальник завода, склоняя ухо, чтобы лучше слышать, и уставившись на мальчишку добродушными заслезившимися глазами. При этом большой пунцово-красный нос, еще разгоревшийся от только что принятого заряда, привлек на себя наивную наблюдательность маленького дикаря.

— Нос у тебя... ну, и красный же!.. — сказал он и покачал головой.

— Ах ты, шельмец, — заворчал начальник брюзгливым голосом. — Тебе, негодяю, какое дело... А! Скажите, пожалуйста!

И он протянул было руку, чтобы схватить мальчишку за вихор. Но юркий дикарь ловко увернулся.

— Сиротки-с, — вздохнул священник, отвечая на первый вопрос начальника и стараясь замаять неловкую выходку мальчишки.

— Нет, вы посмотрите-ка... Нос ему не понравил-

ся, — извольте видеть!.. — жаловался Дормидон, обиженно глядя искоса на мальчика, который стоял в трех шагах. Маленький дикарь понял, что старик с красным носом осердился, и потому он держался настороже, видимо готовясь в случае крайности к побегу.

— Простите несмысленного... — кротко заметил священник. — Сиротки оба, некому было научить... — И он опять протянул начальнику табакерку.

— Откуда? — спросил Дормидон, смягчаясь.

— Моего приходу. Один из Палихи, вот этот (и он указал на черного дикаря). Мать недавно умерла, а отец, может, слышали, — духовного звания человек, расстрига, где-то по свету шатается. Неведомо, жив ли или принял уже безвестную кончину. А другой, — священник наклонился и добавил шепотом: — происхождения, можно сказать, благородного.

При этих словах отец Иоанн тряхнул свою широкую рясу, точно желал из нее вытряхнуть жука или таракана. Действительно, сзади, стараясь укрыться в складках, прильнул к священнику худой белокурый мальчишка. Два больших глаза, испуганных, точно у пойманного голубя, уставились на Дормидона, и мальчик опять потянулся к священнику грязными руками ручонками.

— Вот оно что... — кивнул Дормидон головой. — Как же это... а?... случилось-то?..

Священник опять наклонился к уху начальника.

— Была тут, знаете, духовного звания вдовица... в бедственной своей жизни совратилась с пути... Вероятно, изволили знать господина Пандектова, инженера...

— Знал... От него, подлеца, можно ожидать.

Священник вздохнул и слегка вознял глаза к небу.

— В Петербурге теперь, говорят... наслаждается жизнью, а несчастная сия, приняв многое бесчестие и тяжело искупив свой грех, недавно скончалась. Так вот я к вашей милости прибегаю с заступничеством. Примите сирых на ваш завод...

Дормидон опять принял понюшку, прочихался, на этот раз без всяких замечаний со стороны дерзкого

Сеньки, и затем кликнул проходившего мимо черно-рабочего.

— Эй ты, как тебя...

Рабочий подошел и, неповоротливо сняв фуражку, ответил:

— Аксёном звали.

— Куда идешь, Аксён?

— Да вот, Дормидон Иваныч, от монтера тепе-рича...

— Ну ладно, от монтера после сходишь. А пока vedi вот этих двух к шорнику. Слышишь? Скажи: начальник прислал. Пусть пока в сторожевой живут. Кормить их там... понимаешь?..

— Понимаем... — кивнул рабочий головой. — Ну ступай, пострелята, вперед!

Священник перекрестил мальчишек уже вдогонку и пошел по улице рядом с Дормидоном, довольный, что удалось исполнить доброе дело. Судьбу двух сироток он считал устроенной. Неуверенным шагом двое мальчишек, приближавшихся теперь к черным воротам завода, вступали на определенную жизненную дорогу.

Из большой трубы, торчавшей над заводскими постройками, валил дым; глухой смешанный гул несея из темных заводских зданий. Гул этот, по мере того, как мальчишки подходили к заводу, усиливался и будто надвигался на них. Белокурый Ванька, быть может, от благородных родителей унаследовал более тонкую организацию и чуткое воображение; его лицо все более омрачалось и становилось грустнее. В угрюмом ворчании завода ему слышался скрежет и сдержанное злобное ожидание... Темная полоса дыма лениво и с какой-то безнадежной медленностью раз-вертывалась траурной полосой высоко в синем небе; теперь она клубилась над его головой, скрывая солнце, и ее мрачная тень отражалась на детском лице. Голубые глаза наполнялись слезами, зрачки расширялись, и выражение беззащитности и покорного страха застывало в тонких чертах.

Когда дети прошли по коридору входной будки и ступили во двор, их поразило внезапно насту-

пившее молчание. Стук, грохот и металлический скрежет завода вдруг прекратились, точно по волшебству, и только черный дым по-прежнему застилал солнце.

— Пошел, пошел, — чего боишься, — подтолкнул рабочий остановившегося в испуге мальчишку. — Слышь, братец! — окликнул он пробежавшего мимо другого рабочего. — Где шорник?

— У главного привоу, — сказал тот, пробегая мимо. — Вишь она стала.

Они направились через двор к темневшей внизу двери.

— Тебя как кличут, слышь?

Ванька почувствовал, что его дергают за рукав. Это невольный товарищ его бедствий, храбрый Сенька, нашел в себе достаточно развязности, чтобы вступить в разговор. Ванька посмотрел на него мутным взглядом и ничего не ответил; но этот немой взгляд, эти искаженные черты были, по-видимому, очень красноречивы; казалось, они объяснили менее чуткому Сеньке их общее положение. Он взглянул на сдержанно молчавшее темное здание, на черную пелену дыма, которая все так же медленно клубилась в вышине, и вдруг остановился. Его черные глазенки забегали по сторонам, вся юркая фигура как-то сократилась, точно у зверька, готовящегося скользнуть в какую-нибудь нору. Провожатый вовремя заметил эти приготовления и поспешил разрушить их посредством легкого подзатыльника.

— Пошел, пошел вперед... Ишь озирается, волчонок...

Сенька рванулся было вперед, но вдруг повис на воздухе, прихваченный за шиворот крепкой рукой. Ванька смотрел на эту сцену с выражением горестного изумления.

Через несколько секунд Сенька, барахтавшийся ногами, очутился внутри здания, у входа в кочегарную.

Провожатый поставил его на пол, выждал, пока Ванька покорно последовал за ними, и уселся на пороге.

— Шорни-ик!.. — окрикнул он, вынимая кисет с табаком.

— Здесь, — глухо произнес будто из-под земли невидимый голос.

— Мальчишек я к тебе привел от начальника.

— Погоди.

— Да один, слышь, стрекануть норовит...

— Посторожи. Сейчас я...

Ванька прижался к стене: его строптивый товарищ, видя выход загороженным, сердито потупился и как-то искоса боком подошел к тому же месту.

— Гляди-ко-сь... внизу-то, внизу-то... — сказал он через несколько секунд, опять дергая Ваньку за рукав. Но Ванька и без этого приглашения не мог оторвать глаз от зрелища, зиявшего в трех шагах под их ногами.

Несколько каменных ступенек обрывались в темноте громадного подполья. В глубине этой ямы красноватый свет ходил неопределенным отблеском во мраке, на фоне которого сверкали два громадные огненно-красные глаза; из-за раскаленных докрасна печных заслонок слышалось сердитое ворчание и треск пламени.

Что-то лязгнуло в глубине ямы, одна заслонка быстро распахнулась, пламя пыхнуло из нее, и на светлом фоне появился черный силуэт человека. Сунув длинную кочергу в огонь, он быстро и с ожесточением стал шевелить спекшуюся груду угля. С бешеным треском поднялась туча искр, и человек потонул на мгновение в ослепительном блеске.

— И-и, страсти какие... — произнес Сенька. — Как это он... Батюшки!

Заслонка хлопнула, один огненный глаз закрылся, но тотчас же открылся другой, и опять туча искр и окалины взвилась кругом темной фигуры.

— Ты думаешь — кто это? — спросил неугомонный Сенька, толкая товарища локтем. Тот молчал.

— Не знаешь?.. А я знаю, потому, это кочегар Микита. Брови у его вовсе сгорели; я вчера видел.

Ванька повел на товарища своим испуганным взглядом. Впрочем, эти обыденные подробности на-

счет кочегаровых бровей, по-видимому, производили на него успокоительное действие.

— А ты, небось, думал — черт это. А? думал?

— Думал, — жалобно повторил Ванька.

— Го-то-о-о-во! — вдруг точно из земли глухо выкрикнул чей-то голос. «То-о-о-во! во-о-о-о!» — повторило будто удалявшееся эхо. Где-то вдали зашипело что-то протяжно и с усилием, потом дрогнул удар, другой, третий. Казалось, под зданием ворочалось что-то тяжелое... Кто-то старался сдвинуть с места громадную телегу.

— Берегись, эй! Пострелята!.. Отойди от колеса, от колеса-то отойди!.. — крикнул доставивший мальчишек рабочий. Легкая струя воздуха пахнула на них и полилась струей ветра. Мальчики отскочили к противоположной стене.

У того места, где они раньше стояли, началось движение. Прижавшийся к стене громадный маховик, наполовину спрятанный в отверстии пола, дрогнул, качнулся, и мальчишкам показалось, что колесо гигантской телеги набегает на них. Ветер ударил сильнее, колесо заворчало, громадная спица выглянула из-под полу, скользя на сером фоне стены. Она лениво поднялась, стала вертикально, склонилась и торопливо нырнула в подполье, увлекая за собой другую; через минуту колесо, ворча, шипя и слегка колеблясь, скользило по круговой линии, тяжело вздрагивая на ходу, а спицы взлетали и падали одна за другой, без остановки и перерыва.

Телега была в полном ходу. Внизу, под полом, за стенками и над головами мальчишек покотился немолчный грохот. В смежной длинной мастерской, на которую до этой минуты мальчишки не обращали внимания, какой-то хаос из валов, поршней, колес, ремней, станков и людей теперь пришел в движение, присоединяясь к общему гулу. Железо завизжало металлическим скрежетом, шестерни дребезжали, точно пересыпаемые камни, приводные ремни сухо трещали и шипели, рассекая в бесконечном движении воздух...

У Ваньки кружилась голова. Его глаза поворачи-

вались инстинктивно, следя за быстро мелькавшими спицами, в лице застыло выражение бессмысленного страдания, глаза потускли, веки отяжелели. Гигантская телега набежала на него, и он услышал со всех сторон над собой, вокруг, даже внутри замиравшего сердца ее неумолкающий грохот.

Он уже не отдавал себе ясного отчета в том, что происходило, и несколько не удивился, когда из-под полу, у самого центра колеса, в том месте, где свистели и мелькали чугунные спицы, появились очертания человеческой фигуры. Ему казалось, что спицы проходят через эту фигуру насквозь, не задевая ее и не принося ей вреда, но это его не поражало. Фигура налегла на руки, человек поднялся и вспрыгнул на пол.

— А который тут бегун у тебя? — обратился он к сидевшему у порога рабочему.

— Эво! — откнул тот головой, отряхая в кисете крошки табаку.

Рука так внезапно появившегося человека вдруг прихватила Сеньку за вихор.

Пораженный в первую минуту удивлением, Сенька только двигал покорно головой вслед за рукой шорника. Однако вскоре он потерял терпение и испустил, без всяких предварительных приготовлений, такой громкий и отчаянно резкий вопль, что из соседней мастерской стали выбегать рабочие, и даже безбровый и весь опаленный кочегар сверкнул из ямы своими белыми зубами. Шорник выпустил волосы Сеньки.

— Ишь чертенюк... Как его, братцы, прорвало, — сказал он не без удивления.

— Ловок ораты! — прибавил чернорабочий, закуривая сигарку.

Действительно, во время своей недолгой, но уже исполненной самых горестных приключений жизни, Сенька успел выработать особую интонацию крика, которая, как он убедился многократным опытом, озадачивала и ошеломляла всякого настолько, что наказующая рука инстинктивно разжималась.

Это было своего рода орудие в житейской борьбе, и Сенька владел этим орудием в совершенстве.

С тех пор, как Ваньке крикнули в первый раз: «берегись», и он отскочил от колеса, с тех пор, как грохот завода в первый раз охватил его со всех сторон и покатился над его головой, — ощущение страха и какой-то «жуткости» уже не прекращалось. Гигантская телега все катилась, ворочая тяжелыми колесами, громяхая и угрожая со всех сторон.

— Берегись! — кричали Ваньке в мастерских, где ремни грозили захватить его своим вращением, — берегись, берегись, берегись!.. — Тачки с железом мчались мимо, катились столудовые валы, громадные цилиндры, препровождаемые в сборную, перекатывались сердитым и гулким громом. — Берегись!

Яркая жгучая окалина сыпалась из-под молотов в кузнице, в кричной на железных шестах носили раскаленные докрасна «крицы», переливавшие пламенем и трещавшие, будто от ярости, от страшного жара. Из-под прокатных валов тянулась горячая сталь, и всюду Ваньке кричали: «берегись», и всюду он чувствовал себя на дюйм от опасности и гибели; в лучшем случае ему приходилось жмуриться от предостерегающих подзатыльников.

Даже ночью, в сторожевской, он всхлипывал по временам и нервно вздрагивал, а чуть брезжило утро, резкий свисток опять кричал ему: «берегись», и мальчик быстро вскакивал на ноги, предупреждая неласковое прикосновение суровой руки шорника.

Оба мальчика поступили к шорнику в науку. Наука была нехитрая: нужно было заготавливать тонкие ремешки и сшивать ременные полосы. Каждые полчаса откуда-нибудь кричали: «шорни-и-к!», — и старик кидался по лестнице вниз, чтобы связать разорванный привод. В свободные промежутки он чинил старые сапоги, бродни и бабы «чирки», что давало ему сторонние доходы. Этой премудрости он начал обучать и своих новых учеников.

Впрочем, у мальчишек, кроме шорника, было немало непосредственного начальства: в сущности, весь

завод заявлял на них права, и, как шорник ни ворчал и ни ругался, — все же их то и дело посылали в разные концы завода с самыми разнообразными поручениями.

Сенька быстрее ориентировался в суетливой обстановке. Он сначала присмотрелся к наиболее опасным местам, изучил характер машин, запомнил, где выдвигаются поршни, где можно получить удар какого-нибудь рычага, каких-нибудь железных пальцев, шнырял незаметно и быстро под руками особенно сердитых рабочих. В несколько недель он усвоил уже и общий ход всего грохочущего и вечно подвижного чудовища-завода и сделал попытку приладиться к нему с наибольшим удобством.

В большой комнате, где работал шорник, в углу лежали кучи железной лопы и всякого мусора. У окна, освещавшего эту комнату, шорник приладил свою незатейливую мастерскую. Дальняя половина тонула в вечном сумраке, падавшем от потемневших и закоптелых стен. Когда дверь была закрыта, в комнате становилось сравнительно тихо. Гул и грохот завода скрадывали сумрачные стены, и только окна вздрагивали по временам и жалобно звенели от тяжелых ударов парового молота.

Однажды, когда шорник вышел, Сенька проскользнул за мусорную кучу и прилег там в уютном углу. Заслышав шаги по лестнице, мальчишка тотчас же выскочил оттуда, но угол ему понравился. Он натаскал туда сена и устроил гнездо. Понемногу он стал смелее, и когда шорник возвращался на место, он продолжал лежать еще некоторое время. Затем, тихо прокравшись к двери, вбегал в комнату, будто возвращаясь откуда-нибудь с «посылки». Ванька только дивился смелости своего друга.

Однажды шорника позвали к главному приводу. Он собрал целую вязанку тонких ремешков, взял нож, широкую полосу ремня и удалился. Сенька тотчас же юркнул в гнездо.

— Ванько, а Вань!.. — окликнул он, выглядывая оттуда, как заяц из своей ямки. — Подь сюда, а-ты!.. Право.

Ванька испуганно оглянулся. Предложение было заманчиво и страшно. По случаю большого заказа завод работал усиленно, и на мальчишках это обстоятельство отражалось тем, что их глаза подвели синими кругами и потускли, ноги ныли от постоянной беготни, а подзатыльники сыпались на них еще чаще.

Ванька робко подошел к мусорной куче. Сенька лежал там, будто на перине. Его совсем не было видно, места было более чем достаточно на обоих. Ванька поддался соблазну. Через несколько минут в ушах Ваньки грохот завода стал будто стихать, стушевываться и, наконец, совсем смолк, только ноющее чувство страха и грозящей беды не перестало носиться над головой уснувшего ребенка.

Характер у шорника был суровый. Сидя в своей мрачной комнате, на «седухе», он не знал никогда «спокою», ежеминутно ожидая призыва к приводам. Такая собачья должность, естественно, располагала к некоторой ожесточенности нрава, и потому шорник вечно ворчал что-то про себя, ругая и людей, и завод, и ремни, и даже скотину, из которой ремни были приготовлены. Этой же строгостью были отмечены и отношения шорника к ученикам. Он понимал, что мальчишки отданы ему в «науку», и имел довольно высокое представление о своем долге по отношению к ним, но осуществлял этот долг по-своему: задавал ворча работу, ворчанием же выражал свое удовольствие, если работа исполнялась хорошо, — неудовольствие же и наставление преподавал в форме трепки и подзатыльников.

Вернувшись от главного привода, он заворчал, что мальчишек опять услали. «Не собаки тоже... и опять же надо к делу обучать, а вместо того — все на побегушках. Сказать Дормидону... ей-богу, баловство!» Он сердито поправил ногой седуху, сердито приладил широкую полосу ремня и ожесточенно воткнул в нее трехгранное шило. Вдруг его серое лицо вытянулось, брови приподнялись от удивления. Из угла послышался долгий вздох сладкого сна.

Прислушавшись еще, шорник подошел к мусорной

куче, взглянул за нее и остановился, пораженный изумлением: мальчики спали обнявшись. Ванька свернулся при этом калачиком и спрятал голову на груди Сеньки. Последний одной рукой охватил приятеля, другую широко откинул и весь развалился. Эта возмутительная поза, казалось, была рассчитана нарочно, чтобы возбудить в шорнике сильнейшее негодование, так эта мирная беспечность противоречила сердитой озабоченности гремящего и пыхтящего завода.

Завод имел свои неписанные, но непреложные законы. Как за свистком следовало начало работ, с такой же неизменностью за проступком мальчишек должна была последовать трепка. Данный проступок выходил из ряда; он поразил шорника своей неожиданностью и громадностью вины. Вечно гремящий завод не знал, пожалуй, ничего, что больше нарушало бы его уставы, чем этот мирный сон в тихом углу двух забывшихся мальчишек. Если бы они сами не спали в эту минуту, они бы слышали укориженный рев старого завода, призывающий на них примерную кару.

Шорник был человек систематический. Очнувшись от удивления, он приотворил дверь и, перегнувшись через перила лестницы, поманил к себе рабочего из кочегарной. Тот вошел в комнату, взглянул по молчаливому указанию шорника на мальчишек и осклабился с довольным видом. Среди надоевших будней ему предстояло некоторое развлечение. То, в чем суровый шорник видел свой долг, для рабочего являлось своего рода удовольствием.

Шорник выбрал средней длины круглый ремень, протянул его в руке и взмахнул в воздухе. Ремень оказался подходящим, — размашистым и хлестким. Рабочий, сверкая белыми зубами, подошел к мирно спавшим мальчишкам. План шорника состоял в том, чтобы поднять обоих за уши, а затем поочередно наказать ремнем, для чего и нужен был помощник.

Первая часть плана была исполнена с успехом. Оба преступника в одно мгновение почувствовали странное ощущение и наполовину повисли в воздухе.

Шорник поднял их за уши в известной симметрии, повернул к себе и взглянул в лица мальчишек своим суровым бесстрастным взглядом. На детских лицах виднелось недоумелое выражение испуга и боли. Несколько раз хлопнув сонными глазами, они, казалось, стали приходить к пониманию действительности. Завод ревел и бесновался, шорник глядел неумолимым судьей, белые зубы кочегара сверкали равнодушным весельем.

— Дянька, дянька-а-а... — пискнул Ванька, тяжело повиснувший в левой руке шорника, между тем как Сенька барахтался с молчаливым ожесточением. Он не просил пощады. Он знал характер старого завода, знал, что спать не полагается, знал, что вечно чинить ремни и бегать по приводам невесело, — и сумма этих знаний сложилась в представление о неизбежности жестокой трепки. И только его шустрое тельце инстинктивно барахталось, протестуя против неестественного и неудобного положения.

Шорник развел головы мальчишек и стукнул их одну об другую раз, другой... Каждый раз мальчишки щурились и потом на их лицах появлялось выражение надежды, что это последний удар. Радостное значение этой надежды умаялось, впрочем, видом упругого ремня, который болтался под мышкой у шорника. В третий раз мальчишки закрыли глаза в ожидании удара, и сердчишки их замерли. Но удар не последовал.

В комнате произошло что-то странное. Несколько секунд тревожного ожидания, заминка, какие-то голоса. Мальчишки открыли глаза и сначала не могли понять, что перед ними происходит. Какая-то незнакомая барышня стояла рядом с шорником, трясла его за плечо и что-то говорила быстро, взволнованно, прерывающимся и захлебывающимся голосом. Шорник оглядывался на нее с недоумением и даже испугом. Кочегар отошел к стенке с виноватым и сконфуженным видом, как будто стыдясь за свою темную и задымленную особу, а в дверях, раскрывая свою неизменную табакерку, стоял Дормидон, искоса поглядывающий на всю сцену.

Шорник отпустил уши мальчишек, но тотчас же, все оглядываясь на незнакомую барышню, прихватил их за шиворот. Сенька быстрым взглядом окинул всю обстановку и сразу сообразил некоторую выгодность нового положения. Ему бросилась также в глаза необычайная наружность барышни: ее волосы были острижены и вились кудрями, как у мальчишки. Глаза горели, лицо было искажено женским гневом, который вот-вот разразится слезами.

— Отпусти, отпусти совсем! — вскрикивала она злобно тормоша шорника за плечо. — Слышишь, отпусти...

Шорник отвел плечо и поглядел на Дормидона, как бы спрашивая у него, что ему делать. Дормидон малодушно опустил глаза в табакерку. По-видимому, он сам не сообразил еще, как быть в этих обстоятельствах. Он взял дочь, приехавшую из Петербурга по ее настоянию, на завод, не предвидя последствий и теперь предоставлял шорника его собственной нахочливости.

— Нельзя мне, барышня, чтобы отпустить... Потому я их учу, — сказал шорник вразумительно.

— Учит, он учит! — с негодованием воскликнула барышня, в свою очередь поворачиваясь к отцу.

Дормидон еще пристальнее уставился в табакерку.

— Так точно, — отвечал шорник, — потому они сиротки.

— Что он говорит, что он говорит, этот ужасный человек? — спрашивала барышня, странно мигая широко раскрытыми глазами. Видимо, она не могла понять причинную связь между сиротством и трепкой.

— Сиротки-с, — наставительно пояснил барышне шорник, — то есть без отца-матери, вот что...

— Он с ума сошел! Папа, папка, да что ж это ты? Да как же ты допускаешь сумасшедшего tyrannить ребят?

— Кажись, в своем разуме еще... — ответил шорник тоном угрюмой обиды.

— Как же ты не понимаешь, что сирот надо жалеть.

— То-то жалеть, и я говорю. Кто ж их теперича без отца-матери выучит. Вы, барышня, вот что: вы не мешайте.

— Папа! Да что он говорит? Господи! Какой невозможный человек!

Губы у барышни дрогнули; она взглянула на отца, и по лицу ее протянулась складка, как у ребенка, готового заплакать. Шорник в свою очередь был грубо уязвлен названием «невозможного человека», — названием, значение которого он не мог понять и потому считал его особенно обидным. Он тоже взглянул на Дормидона и выпустил мальчишек, как бы умывая руки.

Барышня тотчас же закрыла мальчишек собою и нервным голосом опять накинута на шорника:

— За уши.. подымать... Ты не знаешь: ведь у них могли разойтись позвонки... шейный нерв... мгновенная смерть... Понимаешь ты?.. Ведь это убийство...

Шорник понял из этой речи только то, что теперь его обвиняют в уголовщине.

— Слава те, господи! Никогда душегубом не бывал, а теперь вот на старости лет в убийцы пожалован. Славно! Да вы знаете ли, барышня, что они, паскудники, сделали?

— Что, ну, что, говори: что они сделали такое?

— Спали они, вот что!

Барышня всплеснула руками.

— Спали! Бедные дети! И в этом вся их вина! В детском возрасте это естественно!.. Они устали. Смотрите, какие у них глаза. Папа, да что же это у тебя делается? Ты добрый, добрый, я знаю... Пойми же: все это надо изменить, все до основания...

— Успокойся, Миля! — сказал Дормидон.

Теперь он закрыл уж свою табакерку и смотрел на дочь и на шорника каким-то особенным вдумчивым и умным взглядом.

— Шорни-и-ик! — раздался вдруг снизу призывный окрик. Шорник угрюмо потупился, как человек, претерпевший напрасную обиду, и, собрав свои ремни, двинулся к дверям.

— Пойдем, Миля! — позвал Дормидон.

— Не смей бить их, — не смей, не смей!.. — крикнула барышня вдогонку шорнику и затем погладила головы ребят. — Не бойтесь, детки. Он не будет. Хорошо, хорошо, иду... А все же этого не должно быть. Я придумаю.

Мальчики остались одни. Последним вышел, отделившись от стены, кочегар. Уходя, он на секунду остановился, посмотрел на мальчишек и покачал головой. «И что только теперь с вами будет, я уж и не знаю», — казалось, хотел он сказать.

— А что, слышь... — заговорил первый Сенька...

— Чего? — откликнулся Ванька механически.

— Как же теперича! Будет нас шорник драть ай уж нет?

— Не знаю... — произнес Ванька задумчиво... — Какая она!.. — добавил он, помолчав.

— Ты про барышню-то. Дочка она Дормидону приходится... Я чай, не станет драть-то. Потому барышня не велела...

И Сенька просиял. Однако тотчас же оба мальчика притихли: по лестнице опять тяжело поднялся шорник.

— Слышь, пострелята! — заговорил он обыкновенным, несколько суровым голосом, но без сердца. — Ступай на господский двор, барышня требует... Ну, чего смотрите, — продолжал он, усаживаясь на свою седуху. — Не бойтесь, чай, не съедят там... Вишь, и учить не дает... Ступай, ребята, ступай!.. Может, еще через это свое счастье получите.

И затем шорник стал протыкать ремень шилом и вдевать прошву. Мальчишки замаялись и смотрели на шорника с чувством, близким к угрызению совести. Он не только не намерен был доканчивать экзекуцию, но сам принялся за ту работу, которую они не докончили.

Было что-то жалко угрюмое в этой серой фигуре. Шорник знал, что уж ему-то, шорнику, неоткуда ждать себе счастья, что на него вечно, до конца жизни, все так же будут глядеть эти мрачные стены, эти тусклые окна. Поэтому, передав мальчишкам приказ, он перестал обращать на них внимание, относясь к их

дальнейшей судьбе с задумчивым и угрюмым равнодушием.

— Видишь вот... Больно горяча... — ворчал он сквозь зубы, в которых держал конец ремня. — А мне все одно мальчишки нужны. Других взять — только и всего. Скажу вот Дормидону, потому без мальчишек мне невозможно. Учить уж не смей... Нас, небось, не учили?.. Ну-с...

Он качал головой и улыбался, причем его жидкие усы шевелились, а губы как-то странно искривлялись. И долго в темной комнате слышалось одинокое ворчание серого, угрюмого шорника.

БЕЗ ЯЗЫКА

Рассказ

I

На моей родине, в Волынской губернии, в той ее части, где холмистые отроги Карпатских гор переходят постепенно в болотистые равнины Полесья, есть небольшое местечко, которое я назову Хлебно. С северо-запада оно прикрыто небольшой возвышенностью. На юго-восток от него раскинулась обширная равнина, вся покрытая нивами, на горизонте переходящими в синие полосы еще уцелевших лесов. Там и сям, особенно под лучами заходящего солнца, сверкают широкие озера, между которыми змеятся узенькие, пересыхающие на лето речушки.

Сторона спокойная, тихая, немного даже сонная. Местечко похоже более на село, чем на город, но когда-то оно знало если не лучшие, то во всяком случае менее дремотные дни. На возвышенности сохранились еще следы земляных окопов, на которых теперь колышется трава, и пастух старается передать ее шепот на своей нехитрой дудке, пока общественное стадо мирно пасется в тени полузасыпанных ровов...

Невдалеке от этого местечка, над извилистой речушкой, стоял, а может, и теперь еще стоит, небольшой поселок. Речка от лозы, обильно растущей на ее берегах, получила название Лозовой; от речки поселок назван Лозищами, а уже от поселка жители все

сплошь носят фамилии Лозинских. А чтобы точнее различить друг друга, то Лозинские к общей фамилии прибавляли прозвища: были Лозинские птицы и звери, одного звали Мазницей, другого Колесом, третьего даже Голенищем...

Трудно сказать, когда этот поселок засел под самым боком у города. Было это еще в те времена, когда на валах виднелись пушки, а пушкари у них постоянно сменялись: то стояли с фитилями поляки, в своих пестрых кунтушах, а казаки и «голота» подымали кругом пыль, облекая город... то, наоборот, из пушек палили казаки, а польские отряды кидались на окопы. Говорили, будто Лозинские были когда-то «реестровыми» казаками и получили разные привилегии от польских королей. Ходили даже слухи, будто они были когда-то и за что-то пожалованы дворянством.

Все это, однако, давно забылось. В шестидесятых годах умер столетний старик Лозинский-Шуляк. В последние годы он уже ни с кем не разговаривал, а только громко молился или читал старую славянскую библию. Но люди еще помнили, как он рассказывал о прежних годах, о Запорожье, о гайдамаках, о том, как и он уходил на Днепр и потом с ватажками нападал на Хлебню и на Клевань, и как осажденные в горящей избе гайдамаки стреляли из окон, пока от жара не лопались у них глаза и не взрывались сами собой пороховницы. И старик сверкал дикими потухающими глазами и говорил: «Гей-гей! Было когда-то наше время... Была у нас свобода!..» А лозищане — уже третье или четвертое поколение, — слушая эти странные рассказы, крестились и говорили: «А то ж не дай господи боже!»

Сами они давно уже запахали в землю все привилегии и жили под самым местечком ни мужиками, ни мещанами. Говорили как будто по-малорусски, но на особом волинском наречии, с примесью польских и русских слов, исповедовали когда-то греко-униатскую веру, а потом, после некоторых замешательств, были причислены к православному приходу, а старая церковка была закрыта и постепенно развалилась...

Пахали землю, ходили в белых и серых свитах, с синими или красными поясами, штаны носили широкие, шапки бараньи. И хотя, может быть, были беднее своих соседей, но все же смутная память о каком-то лучшем прошлом держалась под соломенными стрехами лозищанских хат. Ходили лозищане чище крестьян, были почти все грамотны по-церковному, и об них говорили, что они держат себя слишком гордо. Правда, это очень трудно было бы заметить постороннему, потому что при встрече с господами или начальством они так же торопливо сворачивали с дороги, так же низко кланялись и так же иной раз целовали смиренно господские руки. Но все-таки было что-то, и опытные люди что-то замечали. О лозищанах говорили, что они что-то вспоминают, о чем-то воображают и чем-то недовольны. Действительно, на обычные вопросы при встречах: «Как себе живете?» или: «Как вам бог помогает?» — лозищане, вместо «Слава богу», только махали рукой и говорили: «А, какая там жизнь!» или: «Живем, как горох при дороге!» А иные посмелее принимались рассказывать иной раз такое, что не всякий соглашался слушать. К тому же у них тянулась долгая тяжба с соседним помещиком из-за чинша*, которую лозищане сначала проиграли, а потом вышло как-то так, что наследник помещика уступил... Говорили, что после этого Лозинские стали «еще гордее», хотя не стали довольнее.

И нигде так радушно не встречали заезжих людей, которые могли порассказать кое-что о широком белом свете.

II

Так же вот жилось в родных Лозищах и некоему Осипу Лозинскому, то есть жилось, правду сказать, неважно. Земли было мало, аренда тяжелая, хозяйство беднело. Был он уже женат, но детей у него еще не было, и не раз он думал о том, что когда будут дети, то им придется так же плохо, а то и похуже. «Пока человек еще молод, — говаривал он, — а за

елиной еще не пищит детвора, гут-то и поискать человеку, где это затерялась его доля».

Не первый он был и не последний из тех, кто, прощавшись с родными и соседями, взяли, как говорится, ноги за пояс и пошли искать долю, работать, биться с лихой нуждой и есть горький хлеб из чужих печей на чужбине. Немало уходило таких беспокойных людей и из Лозищей, уходили и в одиночку, и парами, а раз даже целым гуртом пошли за хитрым агентом-немцем, пробравшись ночью через границу. Только все это дело кончалось или ничем или еще хуже. Кто возвращался ободранный и голодный, кого немцы гнали на веревке до границы, а кто пропадал без вести, загораясь где-то в огромном божьем свете, как маленькая булавка в омете соломы.

Лозинский Осип был, кажется, еще первый, который не пропал и отыскался. Человек, видно, был с головой, не из тех, что пропадают, а из тех, что еще других выводят на дорогу. Как бы то ни было, через год или два, а может и больше, пришло в Лозищи письмо с большою рыжею маркой, какой до того времени еще и не видавали в той стороне. Немало дивились письму, читали его и пересчитывали в волости и писарь, и учитель, и священник, и много людей позначительнее, кому было любопытно, а, наконец, все-таки вызвали Лозинскую и отдали ей письмо в разорванном конверте, на котором совершенно ясно было написано ее имя: Катерине Лозинской, жене Лозинского Иосифа Оглобли, в Лозищах.

Письмо было от ее мужа, из Америки, из губернии Миннесота, а какого уезда и села, теперь сказать очень трудно, потому что... Впрочем, это будет видно дальше.

В письме было написано, что Лозинский, слава богу, жив и здоров, работает на «фарме» и, если бог поможет ему так же, как помогал до сих пор, то надеется скоро и сам стать хозяином. А впрочем, и работником там ему лучше, чем иному хозяину в Лозищах. Свобода в этой стороне большая. Земли довольно, коровы дают молока по ведру на удой, а лошади — чистые быки. Человека с головой и руками

уважают и ценят, и вот даже его, Лозинского Осипа, спрашивали недавно, кого он желает выбрать в главные президенты над всею страной. И он, Лозинский, подавал свой голос не хуже людей, и хоть, правду сказать, сделалось не так, как они хотели со своим хозяином, а все-таки ему понравилось и то, что человека, как бы то ни было, спросили. Одним словом, свобода и все остальное очень хорошо. Только Лозинскому очень скучно без жены, и потому он старался работать как только можно, и первые деньги отдал за *тикет**, который и посылает ей в этом письме. А что такое *тикет*, так это вот эта самая синяя бумажка, которую надо беречь, как зеницу ока. На ней нарисован паровоз с вагонами и пароход. Это значит, что по этому билету Лозинскую повезут теперь даром и по земле, и по воде, — стоит ей только доехать до немецкого города Гамбурга. А на другие расходы пусть продаст избу, корову и имущество.

Пока Лозинская читала письмо, люди глядели на нее и говорили между собой, что вот и в какой пустой бумажке какая может быть великая сила, что человека повезут на край света и нигде уже не спросят плату. Ну, разумеется, все понимали при этом, что такая бумажка должна была стоить Осипу Лозинскому немало денег. А это, конечно, значит, что Лозинский ушел в свет не напрасно и что в свете можно таки разыскать свою долю...

И всякий подумал про себя: а хорошо бы и мне... Писарь (тоже лозищанин родом) и тот не сразу отдал Лозинской письмо и билет, а держал у себя целую неделю и думал: баба глупая, а с такой бумагой и кто-нибудь поумнее мог бы побывать в Америке и поискать там своего счастья... Но на билете было совершенно ясно, хоть и не по-нашему, написано: *mississ Katharina Ioseph Losinsky-Oglobla*. Иосиф Лозинский и Оглобля — это бы, конечно, еще ничего, но Катерина — это уже было ясно, что женщина, да и *mississ* тоже, пожалуй, обозначает бабу. Одним словом, хотя и в последнюю минуту писарь все еще как-то вздыхал и неприятно косился, вынимая из стола билет, который у него был припрятан особо, но все-

таки отдал. Лозинская взяла его, села на лавку и горько заплакала.

Разумеется, она была рада письму, да ведь и от радости тоже плачут. Притом все-таки приходилось покинуть и родную деревню, и родных, и соседей. Затем нужно сказать, что Лозинская была баба молодая и, как говорится, гладкая. Без мужа мало ли беды, — не видела проходу хотя бы и от этого самого писаря, а на духу приходилось признаваться, что и «враг» не оставлял ее в покое. Нет-нет да и зашепчет кто-то на ухо, что Осип Лозинский далеко, что еще никто из таких далеких стран в Лозищи не возвращался, что, может, вороны растаскали уже и мужнины косточки в далекой пустыне, а она тут тратит напрасно молодые лета — ни девкой, ни вдовой, ни мужниной женой. Правда, что Лозинская была женщина разумная и соблазнить ее было не легко, но что у нее было тяжело на душе, это оказалось при получении письма: сразу подкатили под сердце и настоящая радость, и прежние горе, и все грешные молодые мысли, и все бессонные ночи с горячими думами. Одним словом, упала Лозинская в обморок, и пришлось тут ее родному брату Матвею Лозинскому, по прозвищу Дышло, нести ее на руках в ее хату.

И пошел по деревне говор. Осип Лозинский разбогател в Америке и стал таким важным человеком, что с ним уже советуются, кого назначить в президенты... Стали молодые люди почаще гостить в корчме, пьют пиво и мед, курят трубки, засиживаются за полночь, шумят, спорят и хвастают. Кто бы послушал эти толки, то подумал бы, что не останется в Лозищах ни одного молодого человека к филипповкам... Если уже Осипа спрашивали, кого он хочет в президенты, то что там наделают другие, получше Осипа!.. Потому что там — свобода!

Свобода! Это слово частенько-таки повторялось в шинке еврея Шлемы, спокойно слушавшего за своей стойкой. Правду сказать, не всякий из лозищан понимал хорошенько, что оно значит. Но оно как-то хорошо обращалось на языке, и звучало в нем что-то такое, от чего человек будто прибавлялся в росте и

что-то будто вспоминалось неясное, но приятное... Что-то такое, о чем как будто бы знали когда-то в той стороне старые люди, а дети иной раз прикидываются, что и они тоже знают...

Ну, да ведь мало ли кто о чем говорит! Поговорили, пошумели и бросили. И, может, уже забыли и тянут лямку, как вол в борозде, а может, говорят и до сих пор, все на том же месте. А все-таки отыскались тут два человека из таких, что не любят много говорить, пока не сделают... Подумали, потолковали на стороне друг с другом и принялись продавать хаты и землю. Продавать-то было, пожалуй, немного, и, когда все это дело покончили, тогда и объявили: едем и мы с Осиповой Лозихою, чтобы ей одной не пропасть в дороге.

Один приходился ей близким человеком: это был ее брат, Матвей Дышло, родной правнук Лозинского-Шуляка, бывшего гайдамака, — человек огромного роста, в плечах сажень, руки, как грабли, голова белокурая, курчавая, величиною с добрый котел, — настоящий медведь из пуши. Говорили, что он наружностью походил на деда. Только глаза и сердце — как у ребенка. Женат он еще не был, изба у него была плохая, а земли столько, что если лечь такому огромному человеку поперек полосы, то ноги уже окажутся на чужой земле. Говорил мало, смеялся редко. У него была старая дедовская библия, которую он любил читать, и часто думал что-то про себя стыдливо и печально. Никогда его в Лозищах умным не считали, и парни нередко издевались над ним, может быть потому, что он, несмотря на свою необычайную силу, драться не любил.

Был у него задушевный приятель, Иван Лозинский Дыма, человек уже совсем другого рода: небольшого роста, не сильный, но веселый, разговорчивый и острый. Дыма был сухооща, говорлив, подвижен, волосы у него торчали щетиной, глаза бегали и блестя, язык имел быстрый, находчивый, усы носил длинные, по-казачьи, — книзу. Никто его дураком не считал, и он никому не давал спуска. Но если кого заденет своим колючим словом, то уже, бывало, все

старается держаться поближе к Матвею, потому что на руку был не силен и в драке ни с кем устоять не мог.

Когда узнали в Лозищах, что и эти двое собрались в Америку, то как-то всем это стало неприятно.

— Да где же тебе, Матвей, — говорили приятели, — в такую даль забираться? Ты глуп, а Иван слаб. Да вас там в Америке гуси затопчут.

Но Матвей отвечал:

— Будет, что бог даст. А я от сестры да от Дымы не отстану.

Так и поехали втроем в дальнюю дорогу... Не стоит описывать, как они переехали через границу и проехали через немецкую землю; все это не так уж трудно. К тому же в Пруссии немало встречалось и своих людей, которые могли указать, как и что надо делать дорогой. Довольно будет сказать, что приехали они в Гамбург и, взявши свои пожитки, отправились, не долго думая, к реке, на пристань, чтобы там узнать, когда следует ехать дальше.

А Гамбург, немецкий город, стоит на большой реке, не очень далеко от моря, и оттуда ходят корабли во все стороны. Вот видят наши лозищане в одном месте, на берегу, народу видимо-невидимо, бегут со всех сторон, торопятся и толкаются так, как будто человек — какое-нибудь бревно на проезжей дороге. А с берега, от пристани, два пароходика все возят народ на корабль, потому что корабли, которые ходят по океану, стоят на середине поодаль, на самом глубоком месте. Видят лозищане, что один корабль дымится, а к нему то и дело пристают пароходы. Выкинут в него народ, сундуки, узлы и чемоданы — и тотчас же опять к пристани, и опять нагружаются, и везут снова.

Вот Иван Дыма, рассмотревши все хорошенько, догадался первый.

— А знаете, — говорит, — что я вам скажу: это, должно быть, корабль в Америку, потому что очень велик. Вот мы и попали как раз. Давай, Матвей, пробираться вперед.

Поставили они женщину с билетом впереди и по-

или проталкивать ее между народом. Дошли до самого края пристани, а там уж, видно, последнюю партию принимают. Боже мой, что только творилось на этой пристани: и плачут, и кричат, и смеются, и обнимаются, и ругаются, и машут платками. И редкое лицо не взволновано, и на редких глазах не сверкают прощальные слезы... И все кругом, — чужой язык звучит, незнакомая речь хлещет в уши, непонятная и дикая, как волна, что брызжет пеной под ногами. Закружились у наших лозищан головы, забились сердца, глаза так и впились вперед, чтобы как-нибудь не отстать от других, чтобы как-нибудь их не оставили в этой старой Европе, где они родились и прожили полжизни...

Матвею Лозинскому нетрудно было пробить всем дорогу, и через две минуты Лозинская стояла уже со своим сундуком у самого мостика и в руках держала билет. А пароходик уже свистнул два раза жалобно и тонко, и черный дым пыхнул из его трубы в сырой воздух, — видно, что сейчас уходит хочет, а пока лозищане оглядывались, — раздался и третий свисток, и что-то заклокотало под ногами так сильно, что наши даже вздрогнули и невольно подались назад. А в это время какой-то огромный немец, с выпученными глазами и весь в поту, суетившийся всех больше на пристани, увидел Лозинскую, выхватил у нее билет, посмотрел, сунул ей в руку, и не успели лозищане оглянуться, как уже и женщина, и ее небольшой узел очутились на пароходике. А в это время два других матроса сразу двинули мостки, сшибли с ног Дыму, отодвинули Матвея и выволокли мостки на пристань. Кинулись наши лозищане к высокому немцу.

— А побойся ты бога, человек! — закричал ему Дыма. — Да это же наша родная сестра, мы хотим ехать вместе.

Дыма, конечно, схитрил, называя себя родным братом Лозинской, да какая уж там к черту хитрость, когда немец ни слова не понимает. А тут пароходик отваливает, а с парохода Катерина так разливается, что даже из всех немецких голосов ее голос слышен.

Завернули лозишане полы, вытащили, что было денег, положили на руки, и пошел Матвей опять локтями работать. Стали опять впереди, откуда еще можно было вскочить на пароход, и показывают немцу деньги, чтобы он не думал, что они намерены втроем ехать по одному бабьему билету. Дыма так даже отобрал небольшую монетку и тихонько сунул ее в руку немцу. Сунул и сам же зажал ему руку, чтобы монета не вывалилась, и показывает ему на пароходик и на женщину, которая в это время уже начала терять голос от испуга и плача...

Ничего не вышло! Немец, положим, монету не бросил и даже сказал что-то довольно приветливо, но когда наши друзья отступили на шаг, чтобы лучше разбежаться и вскочить на пароходик, немец мигнул двум матросам, а те, видно, были люди привычные: сразу так принялись за обоих лозишан, что нечего было думать о скачке.

— Матвей, Матвей, — закричал было Дыма, — а ну-ка, попробуй с ними по-своему. Как раз теперь это и нужно! — Но в это время оба отлетели, и Дыма упал, задравши ноги кверху.

Когда он поднялся, пароходик уже скользил, поворачиваясь, вдоль пристани. Показались кожухи, заворочались колеса, обдавая пристань мутными брызгами, хвост дыма задел по лицам густо столпившуюся публику, потом мелькнуло заплаканное лицо испуганной Лозинской, и еще через минуту — между пристанью и пароходом залегла бурливая и мутная полоса воды в две-три сажени. Колеса ударили дружнее, и полоса растянулась в десять-двадцать сажен, а пароходик стал уменьшаться, убегая среди мгlistого воздуха, под мутным небом, по мутной реке...

Лозишане глядели разинувши рты, как он пристал к одному кораблю, как что-то протянулось с него на корабль, точно тонкая жердочка, по которой, как муравьи, поползли люди и вещи. А там и самый корабль дохнул черным дымом, загудел глубоким и гулким голосом, как огромный бугай в стаде коров, — и тихо двинулся по реке, между мелкими судами, стоявшими по сторонам или быстро уступавшими дорогу.

Лозищане чуть не заплакали, провожая глазами эту громаду, увезшую у них из-под носа бедную женщину в далекую Америку.

Народ стал расходиться, а высокий немец снял свою круглую шляпу, вытер платком потное лицо, подошел к лозищанам и ухмыльнулся, протягивая Матвею Дышлу свою лапу. Человек, очевидно, был не из злопамятных; как не стало на пристани толкотни и давки, он оставил свои манеры и, видно, захотел поблагодарить лозищан за подарок.

— Вот видишь, — говорит ему Дыма. — Теперь вот кланяешься, как добрый, а сам подумай, что ты с нами наделал; родная сестра уехала одна. Поди ты к черту! — Он плюнул и сердито отвернулся от немца.

А в это время корабль уже выбрался далеко, подымил еще, все меньше, все дальше, а там не то, что Лозинскую, и его уже трудно стало различать меж другими судами, да еще в тумане. Зашекотало что-то у обоих в горле.

— Собака ты, собака! — говорит немцу Матвей Дышло.

— Да! говори ты ему, когда он не понимает, — с досадой перебил Дыма. — Вот если бы ты его в свое время двинул в ухо, как я тебе говорил, то, может, так или иначе, мы бы теперь были на пароходе. А уж оттуда все равно в воду бы не бросили! Тем более у нас сестра с билетом!

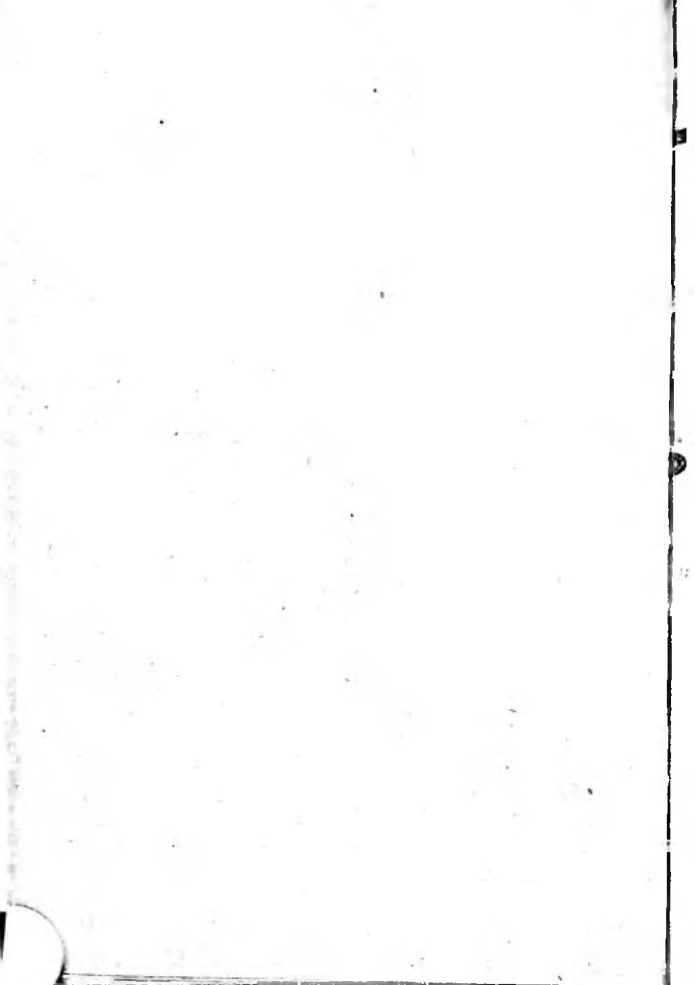
— Кто знает, — ответил Матвей, почесывая в затылке. — Правду тебе сказать, — хоть оно двинуть человека в ухо и недолго, а только не видал я в своей жизни, чтобы от этого выходило что-нибудь хорошее. Что-нибудь и мы тут не так сделали, верь моему слову. Твое было дело — догадаться, потому что ты считаешься умным человеком.

Как это бывает часто, приятели старались свалить вину друг на друга. Дыма говорит: надо было помочь кулаком, Матвей винит голову Дымы. А немец стоит и дружелюбно кивает обоим...

Потом немец вынул монету, которую ему Дыма сунул в руку, и показывает лозищанам. Видно, что у этого человека все-таки была совесть; не захотел



К рассказу «На заводе».



напрасно денег взять, щелкнул себя пальцем по галстуку и говорит: «Шнапс», а сам рукой на кабачок показал. «Шнапс», это на всех языках понятно, что значит. Дыма посмотрел на Матвея, Матвей посмотрел на Дыму и говорит:

— А что ж теперь делать. Конечно, надо идти. Пешком по воде не побежишь, а от этого немецкого черта все-таки, может, хоть что-нибудь доберемся...

Пошли. А в кабаке стоит старый человек с седыми, как щетина, волосами, да и лицо тоже все в щетине. Видно сразу: как ни бреется, а борода все-таки из-под кожи лезет, как отава после хорошего дождя. Как увидели наши приятели такого шероховатого человека посреди гладких и аккуратных немцев, и показалось им в нем что-то знакомое. Дыма говорит тихонько:

— Это, должно быть, минский или могилевский, а то из Пуши.

Так и вышло. Поговоривши с немцем, кабатчик принес четыре кружки с пивом (четвертую для себя) и стал разговаривать. Обругал ложищан дураками и объяснил, что они сами виноваты.

— Надо было зайти за угол, где над дверью написано: «Billetekasse». Billeten, — это и дураку понятно, что значит билет, а Kasse так касса и есть. А вы лезете, как стадо в городьбу, не умея отворить калитки.

Матвей опустил голову и подумал про себя: «Правду говорит — без языка человек, как слепой или малый ребенок». А Дыма хоть, может быть, думал то же самое, но, так как был человек с амбицией, то стукнул кружкой по столу и говорит:

— Долго ли ты будешь ругаться, старый! Лучше принеси еще по кружке и скажи, как нам теперь быть.

Всем это понравилось, — увидели, что человек с самолюбием и находчивый. Немец потрепал Дыму по плечу, а хозяин принес опять четыре кружки на подносе.

— Ну, как же нам ее догонять? — спрашивает Дыма.

— Беги за ней, может, догонишь, — ответил кабат-

чик. — Ты думаешь, на море, как в поле, на телеге. Теперь, — говорит, — вам надо ждать еще неделю, когда пойдет другой эмигрантский корабль, а если хотите, то заплатите подороже: скоро идет большой пароход, и в третьем классе отправляется немало народу из Швеции и Дании наниматься в Америке в прислуги. Потому что, говорят, американцы народ свободный и гордый, и прислуги из них найти трудно. Молодые датчанки и шведки в год-два зарабатывают там хорошее приданое.

— Пожалуй, дорого, — сказал Дыма, но Матвей возразил:

— Побойся ты бога! Ведь женщину нельзя заставлять ждать целую неделю. Ведь она там изойдет слезами. — Матвею представлялось, что в Америке, на пристани, вот так же, как в селе у перевоза, сестра будет сидеть на берегу с узелочком, смотреть на море и плакать...

Переночевали у земляка, наутро он сдал лозишан молодому шведу, тот свел их на пристань, купил билеты, посадил на пароход, и в полдень поплыли наши Лозинские — Дыма и Дышло — догонять Лозинскую Оглоблю...

III

Проходит день, проходит другой. Солнце садится в море с одной стороны, наутро подымается из моря с другой. Плещет волна, ходят туманные облака, летают за кораблем чайки, садятся на мачты, потом как будто отрываются от них ветром и, колыхаясь с боку на бок, как клочки белой бумаги, отстают, отстают и исчезают назад, улетаая обратно, к европейской земле, которую наши лозишане покинули навеки. Матвей Лозинский провожает их глазами и вздыхает. Вот, думает он: и чайка бонтся лететь дальше, а мы полетели. И рисуется перед ним сосновый лес, под лесом речка с бледною лозой, над речкой — бедные соломенные хаты. И кажется, — вернулся бы назад к прежней беде, родной и знакомой.

А море глухо бьет в борты корабля, и волны, как

горы, подымаются и падают с рокотом, с плеском, с глухим стоном, как будто кто грозит и жалуется вместе. Корабль клонит-клонит, вот, кажется, совсем перевернется, а там опять начнет подниматься с кряхтением и скрипом. Гнутся и скрипят мачты, сухо свистит ветер в снастях, а корабль все идет и идет; над кораблем светит солнце, над кораблем стоит темная ночь, над кораблем задумчиво висят тучи или гроза бушует и ревёт на океане, и молнии падают в колышущуюся воду. А корабль все идет и идет...

Матвей Дышло говорил всегда мало, но часто думал про себя такое, что никак не мог бы рассказать словами. И никогда еще в его голове не было столько мыслей, смутных и неясных, как эти облака и эти волны, — и таких же глубоких и непонятных, как это море. Мысли эти рождались и падали в его голове, и он не мог бы, да и не старался их вспомнить, но чувствовал ясно, что от этих мыслей что-то колышется и волнуется в самой глубине его души, и он не мог бы сказать, что это такое...

К вечеру океан подергивался темнотой, небо угасало, а верхушки волны загорались каким-то особенным светом... Матвей Дышло заметил прежде всего, что волна, отбегавшая от острого корабельного носа, что-то слишком бела в темноте, павшей давно на небо и на море. Он нагнулся книзу, поглядел в глубину и замер...

Вода около корабля светилась, в воде тихо ходили бледные огни, всплывая, угасая, выплывая на поверхность, уходя опять в таинственную и страшную глубь... И казалось Матвею, что все это живое: и ход корабля, и жалобный гул, и грохот волны, и движение океана, и таинственное молчание неба. Он глядел в глубину, и ему казалось, что на него тоже кто-то глядит оттуда. Кто-то неизвестный, кто-то удивленный, кто-то испуганный и недовольный... От века веков море идет своим ходом, от века встают и падают волны, от века поет море свою собственную песню, непонятную человеческому уху, и от века в глубине идет своя собственная жизнь, которой мы не знаем. И вот теперь в эту вековую гармонию, в это жи-

вое движение вмешался дерзкий и правильный ход корабля... И песня моря дрогнула и изменилась, и волны разрезаны и сбиты, и кто-то в глубине со страхом прислушивается к этому ходу непонятного чудовища из другого, непонятного мира. Конечно, Лозинский не мог бы рассказать все это такими словами, но он чувствовал испуг перед тайной морской глубины. И казалось Лозинскому, что вот он смотрит со страхом сверху, а на него с таким же ужасом кто-то смотрит снизу. Смотрит, и сердится, и посылает своих посланцев с огнями, которые выплывают наверх и ходят взад и вперед, и узнают что-то, и о чем-то тихо советуются друг с другом, и все-таки печально уходят в безвестную пучину, — ничего не понимая... А корабль все бежит неудержимым бегом к своей собственной цели...

И много в эти часы думал Матвей Лозинский, — жаль только, что все эти мысли подымались и падали, как волны, не оставляя заметного следа, не застывая в готовом слове, вспыхивали и гасли, как морские огни в глубине... А впрочем, он говорил после и сам, что никогда не забудет моря. «Человек много думает на море разного, — сказал он мне, — разное думает о себе и о боге, о земле и о небе... Разное думается человеку на океане — о жизни, мой господин, и о смерти...» И по глазам его было видно, что какой-то огонек хочет выбиться на поверхность из безвестной глубины этой простой и темной души... Значит, что-то все-таки осталось в этой душе от моря.

Да, наверное, оставалось... Душа у него колыбалась, как море, и в сердце ходили чувства, как волны. И порой слеза подступала к глазам, и порой — смешно сказать — ему, здоровенному и тяжелому человеку, хотелось кинуться и лететь, лететь, как эти чайки, что опять стали уже появляться от американской стороны... Лететь куда-то вдаль, где угасает заря, где живут добрые и счастливые люди...

После Лозинский сам признавался мне, что у него в то время были такие мысли, которые никогда не заходили в голову ни в Лозищах, когда он шел за сохой, ни на ярмарке в местечке, ни даже в церкви.

Там все были обыкновенные мысли, какие и должны быть в своем месте и в свое время. А в океане мысли были все особенные и необычные. Они подымались откуда-то, как эти морские огни, и он старался приглядеться к ним поближе, как к этим огням... Но это не удавалось. Пока он не следил за ними, они плыли одна за другой, вспыхивали и гасли, лаская душу и сердце. А как только он начинал их ловить и хотел их рассказать себе словами, — они убегали, а голова начинала болеть и кружиться.

Разумеется, все оттого, что было много досуга, а перед глазами ходил океан и колыхался, и гремел, и сверкал, и угасал, и светился, и уходил куда-то в бесконечность...

На третий день пути, выйдя на палубу, он увидел впереди корабль. Сначала ему показалось, что это маленький игрушечный кораблик запутался между снастями того парохода, на котором они сами плыли. Но это оттого, что прозрачный и ясный воздух приближал все, а кругом, кроме воды, ничего не было. Парусный корабль качался и рос, и когда поровнялся с ними, то Лозинский увидел на нем веселых людей, которые смеялись, и кланялись, и плыли себе дальше, как будто им не о чем думать и заботиться, и жизнь их будто всегда идет так же весело, как их корабль при попутном ветре... А в другой раз в сильную качку, когда на носу их парохода стояла целая туча брызгов, он опять смотрел, как такой же кораблик, весь наклонившись набок, летел как птица. Волны вставали и падали, как горы, и порой с замиранием сердца Лозинский и другие пассажиры смотрели и не видели больше смелого суденышка. Но оно опять взлетало на вершину, и опять его парус касался пены, будто крыло чайки, — и он колыхался и шел, шел и колыхался... А Лозинский думал про себя, что это, должно быть, уже американцы. Смелые, видно, люди! И вот он едет к ним, простой и робкий лозищанин... Как-то они его встретят, и зачем он им нужен?.. И какой-то он будет сам через десяток лет?..

И ему казалось, что и теперь он уже другой, не тот, что ходил за сохой в Лозищах или в праздник

глазел на базар в соседнем городе. Уже одно то, что он видел это колыхающееся без конца море, эти корабли, этих странных, чужих людей... То, что его глаз смотрел в тайну морской глубины и что он чувствовал ее в душе и думал о ней и об этих чужих людях, и о себе, когда он придет к ним, — все это делало его как будто другим человеком. И он вглядывался вперед, в яркую синеву неба или в пелену морских туманов, как будто искал там свое место и свое будущее...

В одну из таких минут, когда неведомые до тех пор мысли и чувства всплывали из глубины его темной души, как искорки из глубины темного моря, — он разыскал на палубе Дыму и спросил:

— Послушай, Дыма. Как ты думаешь, все-таки: что это у них там за свобода?

Но Дыма ответил сердито:

— Убирайся ты... Понщи себе трясцу (лихорадку) или паралича, чтобы тебя разбило вдребезги ясным громом.

Это оттого, что бедному Дыме в эту минуту был не мил белый свет. Потому что, когда корабль раскачивало направо и налево, то от кормы к носу, то опять от носа к корме, — тогда небо, казалось, вот опрокинется на море, а потом опять море все разом лезло высоко к небу. От этого у бедного Дымы страшно кружилась голова, что-то тосковало под ложечкой, и он все подходил к борту корабля и висел книзу головой, точно тряпка, повешенная на плетне для просушки. Бедного Дыму сильно тошнило, и он кричал, что это проклятое море вывернет его наизнанку, и заклинал Христом-богом, чтобы корабль пристал к какому-нибудь острову и чтоб его, Дыму, высадили хоть к дикарям, если не хотят загубить христианскую душу. Сначала Матвей очень дивился тому, что у Дымы оказался такой непостоянный характер, и даже пробовал всячески стыдить его. Но потом увидел, что это не с одним Дымой; многие почтенные люди и даже шведские и датские барышни, которые плыли в Америку заниматься в горничные и кухарки, так же висели на бортах, и с ними

было все то же, что и с Дымой. Тогда Матвей понял, что это на океане дело обыкновенное. Самому ему становилось иногда неприятно и только; Дыма — человек нервный — проклинал и себя, и Осипа, и Катерину, и корабль, и того, кто его выдумал, и всех американцев, даже еще не рожденных на свет... Порой, кажется, он готов был даже кошунствовать, но все-таки сдерживался... Потому что на море оно как-то не так легко, как иной раз на земле...

А все-таки мысль о свободе сидела в голове у Матвея. И еще на берегу, в Европе, когда они разговаривались с могилевцем-кабатчиком, тогда сам Дыма спросил у него первый:

— А что, скажите на милость... Какая там у них, люди говорят, свобода?

— А! рвут друг другу горла, — вот и свобода... — сердито ответил тот. — А впрочем, — добавил он, допивая из кружки свое пиво, — и у нас это делают как не надо лучше. Поэтому я, признаться, не могу понять, зачем это иным простакам хочется, чтобы их ободрали непременно в Америке, а не дома...

— Это вы, кажется, кинули камень в наш огород, — сказал тогда догадливый Дыма.

— Мне до чужих огородов нет дела, — ответил могилевец уклончиво, — я говорю только, что на этом свете, кто перервал друг другу горло, тот и прав... А что будет на том свете, это когда-нибудь увидите и сами... Не думаю, однако, чтобы было много лучше.

Кабатчик, видимо, видал в жизни много неприятностей. Ответ его не понравился лозичанам и даже немного их обидел. Что люди всюду рвут друг друга, — это, конечно, может быть, и правда, но свободой, — думали они, — наверное, называется что-нибудь другое. Дыма счел нужным ответить на обидный намек.

— А это, я вам скажу, всюду так: как ты кому, так и тебе люди: мягкому и на доске мягко, а костистому жестко и на перине. А такого шероховатого человека, как вы, я еще, признаться, и не видывал...

Таким образом, разговор тогда кончился немного кисло...

Теперь с лозищанами на корабле плыл еще чех, человек уже старый и невеселый, но приятный. Его написал сын, который хорошо устроился в Америке. Старик ехал, но, по его словам, лучше было бы, если бы сын хорошо устроился на родине. Тогда бы и ехать незачем. Чешская речь все-таки — славянская. Поляку могло показаться, что это он говорит по-русски, а русскому — что по-польски. Наши же лозищане говорили на волынском наречии: не по-русски и не по-польски, да не совсем и по-украински, а всех трех языков намешано понемногу. Поэтому им было легче. Дыма к тому же — человек, битый не в темя, — разговорился скоро. Где не хватало языка, он помогал себе и руками, и головой, и ногами. Где щелкнет, где причмокнет, где хлопнет рукой, одним словом, как-то скоро стали они с чехом приятели. А чех говорит по-немецки, значит, можно было кое-что узнать через него и от немцев. А уже через немцев — и от англичан...

Вот, когда ветер стихал и погода становилась яснее, Дыму и других отпускала болезнь, и становилось на пароходе веселее. Тогда пассажиры третьего класса выползали на носовую палубу, долговязый венгерец начинал играть на дудке, молодой немец на скрипке, а молодежь брала шведских барышень за талию и кружилась, обходя осторожно канаты и цепи. И над океаном неслись далеко звуки музыки, а волна подпевала и шаловливо кидала кверху белую пену и брызги, и дельфины скакали, обгоняя корабль. А на душе становилось и весело и грустно.

В это время Дыма с чехом усаживались где-нибудь в уголке, брали к себе еще англичанина или знающего немца, и Дыма учился разговаривать. Англичанин говорил немцу, немец — чеху, а уж чех передавал Дыме. Прежде всего, разумеется, он выучился американскому счету и затверживал его, загибая пальцы. Потом узнал, как называть хлеб и воду, потом плуг и лошадь, дом, колодезь, церковь. И все списывал на бумажке и твердил про себя. Он

старался обучить и Матвея, но тому давалось трудно. Только и выучил по-английски «три», — потому что у них «три» называется по-нашему.

А потом у старого чеха Дыма тоже спросил, что такое свобода. Это, говорит, сделана у них на острове такая медная фигура. Стоит выше самых высоких домов и церквей, подняла руку кверху. А в руке — факел, такой огромный, что светит далеко в море. Внутри лестница, — и можно войти в голову, и в руку, и даже на верхушку факела. Вечером зажигают огонь во лбу и около факела, и тогда выходит сияние, точно от месяца и даже много ярче. И называется эта медная женщина — свобода.

Дыма передал этот разговор Матвею, но обоим казалось, что это опять не то: один говорит: «рвут горло», другой говорит: «фигура, которая светится»... А Матвею почему-то вспоминался все старый дед Лозинский-Шуляк, который подарил ему библию. Старик умер, когда Матвей еще был ребенком; но ему вспоминались какие-то смутные рассказы деда о старине, о войнах, о Запорожье, где-то в степях на Днепре... И теперь, как память о странном сне, рассказанном старым дедом, рисовалась эта старина, и какой-то простор, и какая-то дикая воля... «А если встретишь, бывало, татарина или хоть кого другого... Ну, тут уже кому бог поможет», — вспоминались слова деда... «Что же, — думал он, — тоже, выходит, «рвали горло»... Потом он вспоминал, что была над народом панская «неволя». Потом пришла «воля»... Но свободы все как будто не было. У него кружилась голова, мысли туманились, а в душе оставался все-таки нерешенный вопрос.

IV

На седьмой день пал на море страшный туман. Такой туман, что нос парохода упирался будто в белую стену и едва было видно, как колышется во мгле притихшее море. Раза два-три прямо у самого парохода проплыли какие-то водоросли, и Лозинский

подумал, что это уже близко Америка. Но Дыма узнал через своего чеха, что это как раз середина океана. Только не очень далеко на полдень — мелкое место. И здесь теплая струя ударяется в мель и идет на полночь, а тут же встречается и холодная струя с полночных морей. И оттого над морем в этом месте все гнездится туман. Пароход шел тихо, и необыкновенно громкий свисток ревел гулко и жалобно, а стена тумана отдавала этот крик, как эхо в густом лесу. И становилось всем жутко и страшно.

И в это время на корабле умер человек. Говорили, что он уже сел больной; на третий день ему сделали совсем плохо, и его поместили в отдельную каюту. Туда к нему ходила дочь, молодая девушка, которую Матвей видел несколько раз с заплаканными глазами, и каждый раз в его широкой груди поворачивалось сердце. А наконец, в то время, когда корабль тихо шел в густом тумане, среди пассажиров пронесся слух, что этот больной человек умер.

И действительно, на корабле все почувствовали смерть... Пассажиры притихли, доктор ходил серьезный и угрюмый, капитан с помощником совещались, и потом, через день, его похоронили в море. Завернули в белый саван, привязали к ногам тяжесть, какой-то человек, в длинном черном сюртуке и широком белом воротнике, как казалось Матвею, совсем не похожий на священника, — прочитал молитвы, потом тело положили на доску, доску положили на борт и через несколько секунд, среди захватывающей тишины, раздался плеск... Вместе с этим кто-то громко крикнул, молодая девушка рванулась к морю, и Матвей услышал ясно родное слово: «Отец, отец!» Между тем корабль, тихо работавший винтами, уже отодвинулся от этого места, и самые волны на том месте смешались с белым туманом. От человека не осталось и следа... Туман сомкнулся позади плотной стеной, и туман был впереди, а пароходный ревун стонал и будто бы надрывался над печальной человеческой судьбой...

Скоро, однако, другие события закрыли собой эту смерть... В этот же день небольшая парусная барка

только-только успела вывернуться из-под носа у парохода. Но это еще ничего. Люди на барке махали шляпами и смеялись на расстоянии каких-нибудь пяти саженей. Они были в клеенчатых куртках и странных шляпах... Другой раз чуть не вышло еще хуже. Среди белого дня, в молочной мгле что-то, видно, почудилось капитану. Пароход остановили, потом отошли назад, как будто убегали от кого-то, кто двигался в тумане. Потом стали в ожидании. И вдруг Лозинский увидел сверху, как будто во мгле, встало облако с сверкающими краями, а в воздухе стало холоднее и повеяло острым ветром. Пароход повернулся и тихо, будто украдкой, стал уползать в глубь тумана налево. А направо было не облако, а ледяная гора. Лозинский не верил своим глазам, чтобы можно было видеть разом такую огромную гору чистого льда. Но это видели все. На пароходе все притихло, даже винт работал осторожнее и тише. А гора плыла, тихонько покачиваясь, и вдруг исчезла совсем, будто растаяла...

Наши двое лозищан и чех тотчас же сняли шапки и перекрестились. Немцы и англичане не имеют обычая креститься, кроме молитвы. Но и они также верят в бога и также молятся, и когда пароход пошел дальше, то молодой господин в черном сюртуке с белым воротником на шее (ни за что не сказал бы, что это священник) встал посреди людей, на носу, и громким голосом стал молиться. И люди молились с ним и пели какие-то канты, и священное пение смешивалось с гулким и жалобным криком корабельного ревуна, опять посылавшего вперед свои предостережения, а стена тумана опять отвечала, только еще жалобнее и еще глуше...

А море тоже все более стихало и лизало бока корабля, точно ласкалось и просило у людей прощения...

Женщины после этого долго плакали и не могли успокоиться. Особенно жалко было Лозинскому молодую сироту, которая сидела в стороне и плакала, как ребенок, закрывая лицо углом шерстяного платка. Он уже и сам не знал, как это случилось, но

только он подошел к ней, положил ей на плечо свою тяжелую руку и сказал:

— Будет уже тебе плакать, малютка, бог милостив.

Девушка подняла голубые глаза, посмотрела на Лозинского и ответила:

— А! Как мне не плакать... Еду одна на чужую сторону. На родине умерла мать, на корабле отец, а в Америке где-то есть братья, да где они, — я и не знаю... Подумайте сами, какая моя доля!

Лозинский постоял, посмотрел и не сказал ей ничего. Он не любил говорить на ветер, да и его доля была тоже темна. А только с этих пор, где бы он ни стоял, где бы он ни сидел, что бы ни делал, а все думал об этой девушке и следил за нею глазами.

И тогда же Лозинский сказал себе самому: «А вот же, если я найду там в широком и неведомом свете свою долю, то это будет также и твоя доля, малютка. Потому что человеку как-то хочется кого-нибудь жалеть и любить, а особенно, когда человек на чужбине».

V

На двенадцатый день народ начал всё набираться на носу, как муравьи на плавучей щепке, когда ее прибивает ветром к берегу ручья. Из этого наши лозищане поняли, что, должно быть, недалеко уже американская земля. И действительно, Матвей, у которого глаза были острые, увидел первый, что над синим морем направо встала будто белая игла. Потом она поднялась выше, и уже ясно было видно, что это белый маяк. По волнам то и дело неслись лодки с косым парусом, белые пароходы с окнами, точно в домах, маленькие пароходики с коромыслами наверху, каких никогда еще не приходилось видеть лозищанам. А там в синеватой мгле стало проступать что-то, что-то заискрилось, что-то забелело, что-то вытягивалось и пестрело. Пошли острова с деревьями, пошла длинная коса с белым песком. На косе

что-то гроыхало и стучало, и черный дым валил из высокой трубы.

Дыма толкнул Лозинского локтем.

— Видишь? Чех говорил правду.

Матвей посмотрел вперед. А там, возвышаясь над самыми высокими мачтами самых больших кораблей, стояла огромная фигура женщины с поднятой рукой. В руке у нее был факел, который она протягивала навстречу тем, кто подходит по заливу из Европы к великой американской земле.

Пароход шел тихо среди других пароходов, сновавших, точно водяные жуки, по заливу. Солнце село, а город все выплывал и выплывал навстречу, дома вырастали, огоньки зажигались рядами и в беспорядке дрожали в воде, двигались и перекрещивались внизу, и стояли высоко в небе. Небо темнело, но на нем ясно еще рисовалась высоко в воздухе тонкая сетка огромного, невиданного моста.

Исполинские дома в шесть и семь этажей ютились внизу, под мостом, по берегу; фабричные трубы не могли достать до моста своим дымом. Он повис над водой, с берега на берег, и огромные пароходы пробегали под ним, как ничтожные лодочки, потому что это самый большой мост во всем божьем свете... Это было направо, а налево уже совсем близко высилась фигура женщины, — и во лбу ее, еще споря с последними лучами угасавшей в небе зари, загоралась золотая диадема, и венок огоньков светился в высоко поднятой руке...

А сердце Лозинского трепетало и сжималось от ужаса. Только теперь он понял, что такое эта Америка, на берегу которой он думал встретить Лозинскую. Он ждал, что она будет сидеть тут где-то со своим узелком. «Боже мой, боже мой, — думал Матвей. — Да здесь человек, как иголка в траве, или капля воды, упавшая в море...» Пароход шел уже часа два в виду земли, в виду построек и пристаней, а город все развertyвал над заливом новые ряды улиц, домов и огней... И с берега, сквозь шум машины, несло рокотание и гул. Казалось, кто-то дышит, огромный и усталый, то опять кто-то жалуется

и сердится, то кто-то ворочается и стонет... и опять только гудит и катится, как ветер в степи, то опять говорит смешанными голосами...

Лозинский отыскал Анну, — молодую девушку, с которой он познакомился, — и сказал:

— Держись, малютка, меня и Дымы. Видишь, что тут дется, в этой Америке. Не дай боже!

Девушка схватила его за руку, и не успел сконфуженный Матвей оглянуться, как уж она поцеловала у него руку. Потому что бедняжка, видно, испугалась Америки еще хуже, чем Лозинский.

Пароход остановился на ночь в заливе, и никого не спускали до следующего утра. Пассажиры долго сидели на палубах, потом большая часть разошлась и заснула. Не спали только те, кого, как и наших лозинчан, пугала неведомая доля в незнакомой стране. Дыма, впрочем, первый заснул себе на лавке. Анна долго сидела рядом с Матвеем, и порой слышался ее тихий и робкий голос. Лозинский молчал. Потом и Анна заснула, склонясь усталой головой на свой узел.

И только Матвей просидел всю теплую ночь, пока свет на лбу статуи не померк и заиграли отблески зари на волнах, оставляемых бороздами возвращавшихся с долгой ночной работы пароходов...

На следующее утро пришли на пароход американские таможенные чиновники, давали подписывать какую-то бумагу, а между тем корабль потихоньку стали подтягивать к пристани. И было как-то даже грустно смотреть, как этот морской великан лежит теперь на воде, без собственного движения, точно мертвый, а какой-то маленький пароходишко хлопочет около него, как живой муравей около мертвого жука. То потянет его за хвост, то забежит с носу, и свистит, и шипит, и вертится... А пристань оказалась — огромный сарай, каких много было на берегу. Они стояли рядами, некрасивые, огромные и мрачные. Только на одной толпились американцы, громко визжали, свистели и кричали «ура». Матвей посмотрел туда с остатком надежды увидеть сестру — и махнул рукой. Где уж!..

Наконец пароход подтянули. Какой-то матрос, ловкий, как дьявол, взобрался кверху, под самую крышу сарая, и потом закачался в воздухе вместе с мостками, которые спустились на корабль. И пошел народ выходить на американскую землю...

Скучно было нашим... Пошли и они — не оставаться же на корабле вечно. А если сказать правду, то Матвею приходило в голову, что на корабле было лучше. Плынешь себе и плывешь... Небо, облака, да море, да вольный ветер, а впереди, за гранью этого моря, — что бог даст... А тут вот тебе и земля, а что в ней... Всех кто-нибудь встречает, целуют, обнимаются, плачут. Только наших лозищан не встречает никто, и приходится идти самим искать неведомую долю. А где она?.. Куда ступить, куда податься, куда поставить ногу и в какую сторону повернуться, — неизвестно. Стали наши, в белых свитах, в больших сапогах, в высоких бараньих шапках и с большими палками в руках, — с палками, вырезанными из родной лозы, над родною речкою, и стоят, как потерянные, и девушка со своим узелком жмется меж ними.

VI

— Жид! А ей же богу, пусть меня разобьет ясным громом, если это не жид, — сказал вдруг первый Дыма, указывая на какого-то господина, одетого в круглую шляпу и в кургузый, потертый пиджак. Хотя рядом с ним стоял молодой барчук, одетый с иголочки и уже вовсе не похожий на жиденка, — однако, когда господин повернулся, то уже и Матвей убедился с первого взгляда, что это непременно жид, да еще свой, из-под Могилева или Житомира, Минска или Смоленска, вот будто сейчас с базара, только переоделся в немецкое платье.

Обрадовались они этому человеку, будто родному. Да и жид, заметив белые свитки и барашковые шапки, тотчас подошел и поклонился.

— Ну, поздравляю с приездом. Как ваше здо-

ровье, господа? Я сразу вижу, что это приехали земляки.

— А что, — сказал Дыма с торжествующим видом. — Не говорил я? Вот ведь какой это народ хороший. Где нужно его, тут он и есть. Здравствуйте, господин еврей, не знаю, как вас назвать.

— А! Звали когда-то Борух, а теперь зовут Борк, мистер Борк, — к вашим услугам, — сказал еврей и как-то гордо погладил бородку.

— А! Чтоб тебя! Ну, слушай же ты, Берко...

— Мистер Борк, — поправил еврей с еще большею гордостью.

— Ну, пускай так, мистер так и мистер, чтоб тебя схватило за бока... А где же тут хорошая заезжая станция, чтобы, знаешь, не очень дорого и не очень уж плохо. Потому что, видишь ты... Мы хоть в простых свитках, а не совсем уже мужики... однодворцы... Притом еще с нами, видишь сам, девушка...

— Ну, разве я уж сам не могу различить, с кем имею дело, — ответил мистер Борк с большою политикой. — Что вы обо мне думаете?.. Пхе! Мистер Борк дурак, мистер Борк не знает людей... Ну, только и я вам скажу: это ваше большое счастье, что вы попали сразу на мистера Борка. Я ведь не каждый день хожу на пристань, зачем я стал бы каждый день ходить на пристань?.. А у меня вы сразу имеете себе хорошее помещение, и для барышни найдем комнатку особо, вместе с моею дочкой.

— А, вот видите вы, как оно хорошо, — сказал Дыма и оглянулся, как будто это он сам выдумал этого мистера Борка. — Ну, веди же нас, когда так, на свою заезжую станцию.

— Может, вам нужно взять еще ваш багаж?

— Э! Какой там багаж! Правду тебе сказать, так и все вот тут с нами.

— Гэ, это не очень много! Джон!.. — крикнул он на молодого человека, который-таки оказался его сыном. — Ну, чего ты стоишь, как какой-нибудь болван. Take ту бэгедж оф мисс (возьми у барышни багаж).

Молодой человек оказался не гордый. Он вежли-

во приподнял шляпу, схватил из рук Анны узелок, и они пошли с пристани.

Прошли через улицу и вошли в другую, которая показалась приезжим какой-то пещерой. Дома темные, высокие, выходы из них узкие, да еще в половину домов поверх улицы сделана на столбах настилка, загородившая небо...

— А, господи! мать божья! — взвизгнула вдруг в испуге Анна и схватила за руку Матвея.

— Всякое дыхание да хвалит господа, — сказал про себя Матвей, — а что же это еще такое?

— Ай-ай, чего вы это испугались, — сказал жид. — Да это только поезд. Ну, ну, идите, что такое за важность... Пускай себе он идет своей дорогой, а мы пойдем своей. Он нас не тронет, и мы его не тронем. Здесь, я вам скажу, такая сторона, что зевать некогда...

И мистер Борк пошел дальше. Пошли и наши скрепя сердце, потому что столбы кругом дрожали, улица гудела, вверху лязгало железо о железо, а прямо над головами лозичан по настилке на всех парах летел поезд. Они посмотрели с разинутыми ртами, как поезд изогнулся в воздухе змеей, повернул за угол, чуть не задевая за окна домов, — и полетел опять по воздуху дальше, то прямо, то извиваясь...

И показалось нашим, привыкшим только к шуму родного бора, да к шепоту тростников над тихою речкой Лозовою, да к скрипу колес в степи, что они теперь попали в самое пекло. Дома — шапка свалится, как посмотришь. Взглянешь назад — корабельные мачты, как горелый лес; поднимешь глаза к небу — небо закопчено и еще закрыто этой настилкой воздушной дороги, от которой в улице вечные сумерки. А впереди человек видит опять, как в воздухе, наперерез, с улицы в улицу летит уже другой поезд, а воздух весь изрезан храпом, стоном, лязганьем и свистом машин.

— Господи Иисусе, — шептала Анна бледными губами. Матвей только закусил ус, а Дыма мрачно понурил голову и шагал, согнувшись под своим узлом. А за ним бежали кучи каких-то уличных дьяво-

и поле, и людей, которые едут в поле и с поля, как бог велел, в пароконных телегах и с драбинами *. Подумает ли кто-нибудь в Лозищах, что двое лозищан стоят в эту минуту в чужом городе, где над ними сейчас издевались, точно они не христиане и приехали сюда на посмешище... Стоят ни на земле, ни на горе и собираются лететь по воздуху в какой-то машине». «Господи, — думала в это время и Анна, — а ну, как это провалится, а ну, как полетим мы все с этой машиной вниз, на каменную мостовую! Господи Иисусе, дева Мария, святой Иосиф! Всякая душа хвалит господа». Дыма смотрел и кусал длинный ус...

На рельсах вдали показался какой-то круг и покатился, и стал вырастать, приближаться, железо зазвенело и заговорило под ногами, и скоро перед платформой пролетел целый поезд... Завизжал, остановился, открылись затворки — и несколько десятков людей торопливо прошли мимо наших лозищан. Потом они вошли в вагон, заняли пустые места, и поезд сразу опять кинулся со всех ног и полетел так, что только мелькали окна домов...

Матвей закрыл глаза. Анна крестилась под платком и шептала молитвы. Дыма оглядывался кругом вызывающим взглядом. Он думал, что американцы, сидевшие в вагонах, тоже станут глазеть на их шапки и свитки и, пожалуй, кидать огрызками бананов. Но, видно, эти американцы были люди серьезные: никто не пялил глаз, никто не усмехался. Дыме это понравилось, и он немного успокоился...

А там поезд опять остановился, и наши вышли благополучно и опять спустились по лестнице на улицу...

VII

Заязжий двор мистера Борка совсем не походил на наши. Наши, то есть те, что на Волыни, или под Могилевом, или в Полесье, гораздо лучше: длинный, невысокий дом, на белой стене чернеют широкие ворота так приветливо и приятно, что лошади приворачивают к ним сами собой. За въездом — прямо кры-

тый двор с высокою соломенною сгрехой; между стропилами летают тучи воробьев, и голуби воркуют где-то так сладко, а где — и не увидишь... А там — колодезь с воротом, ясли с «драбинами» для лошадей, куры, коза, корова, запах лошадиного пота, запах дегтя и душистого сена... Вспомнить, так и то приятно...

Нужно сказать, что Матвей и Дыма считались в своих местах людьми степенными, знающими, как обращаться в свете. Случалось им не раз, на ярмарке или в праздник, проездом в местечках или в какой-нибудь корчме на шляху, заставать полным-полно народу, — и это их несколько не смущало. Известное дело, — всякий сам себя знает. Поставил человек лошадь к месту, кинул ей сена с воза или подвязал торбу с овсом, потом сунул кнут себе за пояс с таким расчетом, чтобы люди видели, что это не бродяга или нищий волочится на ногах по свету, а настоящий хозяин со своей скотиной и телегой; потом вошел в избу и сел на лавку ожидать, когда освободится за столом место. А пока — оглядел всех, и сразу видно, что за народ послал бог навстречу, и сразу же можно начать подходящий разговор: один разговор с простым мужиком, другой — со своим братом, однодворцем или мещанином, третий — с управляющим или подпанком. Разумеется, знали и свое место: если уже за столом расселся проезжий барин, то, конечно, приходилось и пообождать, хотя бы места было и достаточно. Одним словом, ходили всегда по свету с открытыми глазами, — знали себя, знали людей, а потому от равных видели радушие и уважение, от гордых сторонились, и если встречали от господ иногда какие-нибудь неприятности, то все-таки не часто.

Теперь они сразу стали точно слепые. Не пришли сюда пешком, как, бывало, на богомолье, и не приехали, а прилетели по воздуху. И двор мистера Борка не похож был на двор. Это был просто большой дом, довольно темный и неприятный. Борк открыл своим ключом дверь, и они взошли наверх по лестнице. Здесь был небольшой коридорчик, на который выходил

дило несколько дверей. Войдя в одну из них, по указанию Борка, наши лозищане остановились у порога, положили узлы на пол, сняли шапки и огляделись.

Комната была просторная. В ней было несколько кроватей, очень широких, с белыми подушками. В одном только месте стоял небольшой столик у кровати, и в разных местах — несколько стульев. На одной стене висела большая картина, на которой фигура «Свободы» подымала свой факел, а рядом — литографии, на которых были изображены пятисвечники и еврейские скрижали. Такие картины Матвей видел у себя на Волыни и подумал, что это Борк привез в Америку с собою.

В открытое окно виднелась линия воздушной дороги, вдоль улицы, по которой приехали и они. И опять вдаль показался круглый щит локомотива и стал все вырастать. Лозищане смотрели на него с некоторым страхом. Лязг и грохот все приближался, и им казалось, что поезд вкатится в комнату. Но в это время что-то вдруг хлеснуло в окно резкой струей воздуха, и мимо, совсем близко, с противоположной стороны, пронеслась какая-то стена с окнами. Это был другой, встречный поезд; в окнах мелькнули головы, шляпы, лица, в том числе некоторые черные как сажа... И через несколько секунд все исчезло, повернуло, и поезд понесся вдаль, все уменьшаясь, между тем как прежний вырастал и через минуту тоже пронесся мимо окон. Клуб пара и дыма, точно развевающаяся лента, махнул по окну, и несколько ключев ворвалось в самую комнату...

— Всякое дыхание да хвалит господа! — сказал Матвей, крестясь с испугом. И только когда оба поезда исчезли, он решился оглядеться хорошенько на новом месте.

Кроватей в комнате стояло около десятка, но из жильцов в ней находился только один господин, звание которого лозищане определить не могли. На нем было «городское платье», как и на Борке, светлые клетчатые короткие панталоны, большие и тяжелые шнуровые ботинки, крахмальная сорочка и светлый жилет. Он лежал на постели, полуприкрывшись

огромным листом газеты, и, отклонив ее угол, с любопытством смотрел на новоприбывших. По виду это был настоящий «барин», и, если бы так у себя, дома, то Дыма непременно отвесил бы ему низкий поклон и сказал бы:

— Прошу прощения... Может, это жид Берко завел нас сюда по ошибке.

Во всяком случае, лозищане подумали, что видят перед собой американского дворянина или начальника. Но мистер Борк скоро сошел по витой лесенке сверху, куда он успел отвести Анну, и подвел лозищан к кровати совсем рядом с этим важным баринном.

— Вот эта кровать, — сказал он, — стоит вам два доллара в неделю.

— А что я тебе скажу, мистер Борк, — зашептал ему осторожно Дыма. — Хорошо ли, смотри, это у нас выйдет?

— Ну, — обиженно ответил Борк, — что же еще нужно за два доллара в неделю? Вы, может, думаете — это с одного? Нет, это с обоих. За обед особо...

— Бог с тобой, — ответил Дыма все-таки шепотом, — если уже ты не можешь уступить подешевле. А только вот этому господину не покажется ли неприятно? Все-таки мы люди простого звания...

Борк в ответ только свистнул и сказал, с нескрываемым пренебрежением посмотрев на американского дворянина:

— Фю-ю! На этот счет вы себе можете быть вполне спокойны. Это совсем не та история, что вы думаете. Здесь свобода: все равные, кто за себя платит деньги. И знаете, что я вам еще скажу? Вот вы простые люди, а я вас больше почитаю... потому что я вижу: вы в вашем месте были хозяева. Это же видно сразу. А этого шарлатана я, может быть, и держать не стал бы, если бы за него не платили от Тамани-холла *. Ну, что мне за дело! У «босса» денег много, каждую неделю я свое получаю аккуратно.

Дыма ловил на лету все, что замечал в новом месте, и потому, обдумав не совсем понятные слова Борка, покосился на лежавшего господина и сказал:

— Я, мистер Борк, так понимаю твои слова, что это не барин, а бездельник, вроде того, какие и у нас бывают на ярмарках. И шляпа на нем, и белая рубашка, и галстук... а глядишь, уже кто-нибудь кошелька и недосчитался...

Борк усмехнулся.

— Ну, вы-таки умеете попадать пальцем в небо, — сказал он, поглаживая свою бородку. — Нет, насчет кошелька так вы можете не бояться. Это не его ремесло. Я только говорю, что всякий человек должен искать солидного и честного дела. А кто продает свой голос... пусть это будет даже настоящий голос... Но кто продает его Тамани-холлу за деньги, того я не считаю солидным человеком.

И, вздохнув, он прибавил:

— У меня было здесь солидное заведение. Ну, что делать! Заведение пошло прахом, осталась квартира до срока. Приходится как-нибудь колотиться со всякою дрянью.

Дыма не совсем понимал, как можно продать свой голос, хотя бы и настоящий, и кому он нужен, но так как ему было обидно, что раз он уже попал пальцем в небо, — то он сделал вид, будто все понял, и сказал уже громко:

— А когда так, то и хорошо. Клади, Матвей, узел сюда. Что в самом деле! Ведь и наши деньги не шербаты. А здесь притом же, черт их бей, свобода!

И он сел на свою кровать против американского господина, вдобавок еще расставивши ноги. Матвей боялся, что американец все-таки обидится. Но он оказался парень простой и покладливый. Услышав, что разговор идет о Тамани-холле, он отложил газету, сел на своей постели, приветливо улыбнулся, и некоторое время оба они сидели с Дымой и пялили друг на друга глаза.

— Good day (здравствуйте)! — первый сказал американец и хлопнул Дыму по колену.

Дыма хлопнул его с своей стороны и, очень мало подумавши, ответил:

— Yes (да).

— Tammany-ho!! — сказал опять американец, любезно улыбаясь, — вэри уэлл!

— Вэри уэлл, — кивнул головой Дыма. — Это значит: очень хорошо... Эх ты, барин! Ты вот научи меня, как это продать этому черту Тамани-холлу свой голос, чтобы за это человека кормили и поили даром.

— Well! — ответил американец, захохотав.

— Yes, — засмеялся и Дыма.

Ирландец опять подмигнул, похлопал Дыму по колену, и они, видно, сразу стали приятели.

VIII

А Матвей подивился на Дыму («Вот ведь какой дар у этого человека», — подумал он), но сам сел на постели, грустно понутив голову, и думал:

«Вот человек и в Америке... что же теперь будем делать?»

Правду сказать, — все не понравилось Матвею в этой Америке. Дыме тоже не понравилось, и он был очень сердит, когда они шли с пристани по улицам. Но Матвей знал, что Дыма — человек легкого характера: сегодня ему кто-нибудь не по душе, а завтра первый приятель. Вот и теперь он уже крутит ус, придумывает слова и посматривает на американца веселым оком. А Матвею было очень грустно.

Да, вот и Америка! Еще вчера ночью она лежала перед ним, как какое-нибудь облако, и он не знал, что-то явится, когда это облако расступится... Но все ждал чего-то чудесного и хорошего... «Правду сказать, — думал он, — на этом свете человек думает так, а выходит иначе, и если бы человек знал, как выйдет, то, может, век бы свековал в Лозищах с родной бедою». Вот и облако расступилось, вот и Америка, а сестры нет, и той Америки нет, о которой думалось так много над тихою Лозовою речкой и на море, пока корабль плыл, колыхаясь на волнах, и океан пел свою смутную песню, и облака неслись по ветру в высоком небе то из Америки в Европу, то из

Европы в Америку... А на душе пробегали такие же смутные мысли о том, что было там, на далекой родине, и что будет впереди за океаном, где придется искать нового счастья...

Ищи его теперь, этого счастья, в этом пекле, где люди летят куда-то как бешеные по земле и под землей и даже, — прости им, господи, — по воздуху... где все кажется не таким, как наше, где не различишь человека, какого он может быть звания, где не схватишь ни слова в человеческой речи, где за крещеным человеком бегают мальчишки так, как в нашей стороне бегали бы разве за турком...

— Вот что, Дыма, — сказал Матвей, отрываясь от своих горьких мыслей. — Надо поскорее писать письмо Осипу. Он здесь уже свой человек, — пусть же советует, как сыскать сестру, если она еще не приехала к нему, и что нам теперь делать с собою.

— Да уж не иначе! — ответил Дыма.

Попросили у Борка перо и чернил, устроились у окна и написали. Писал письмо Дыма, а так как и у него руки не очень-то привыкли держать такую маленькую вещь, как перо, — то прописали очень долго.

Кончили писать, Дыма стал отирать пот со лба и вдруг остановился с разинутым ртом. Матвей тоже оглянулся, — и у него как-то приятно замерло сердце.

В комнате стояла старая барыня в поношенной, но видно, что когда-то шелковой мантилье, в старой шляпке с желтыми цветами и с сумочкой на руке. Кроме того, на ленточке она держала небольшую белую собачку, которая поворачивалась во все стороны и нюхала воздух.

— Наша, — шепнул Дыма Матвею.

И действительно, барыня села у двери на стул, отдышалась немного и сказала с первого слова:

— Проклятая сторона, проклятый город, проклятые люди. Ну, скажите, пожалуйста, зачем вы сюда приехали?

Наши очень обрадовались родной речи, кинулись к барыне и чуть не столкнулись головами, целуя у нее руку.

Барыне, видно, это понравилось. Она сидела на стуле, не отнимала руки и глядела на лозищан, жалостно кивая головой.

— Подольские или из Волыни?

— Из Лозищей, милостивая госпожа.

— Из Лозищей! Прекрасно! А куда же это бог несет?

— В Миннесоте есть наши.

— Миннесота! Знаю, знаю. Болото, лес, мошка, лесные пожары и, кажется, индейцы... Ай, люди, люди! И что вам только понадобилось в этой Америке? Жили бы в своих Лозищах...

«Оно, может, и правда», — подумал Матвей. А Дыма ответил:

— Рыба ищет — где глубже, а человек — где лучше.

— Так... от этого-то рыба попадает в невод, а люди в Америку... Это очень глупо. А впрочем, это не мое дело. А где же тут сам хозяин?.. Да вот и Берко.

— Мистер Борк, — поправил еврей, входя в комнату.

— А, мистер Берко, — сказала барыня, и лозищане заметили, что она немного рассердилась. — Скажите, пожалуйста, я и забыла! А впрочем, ваша правда, ясновельможный мистер Борк! В этой проклятой стороне все мистеры, и уже не отличишь ни жида, ни хлопа, ни барина... Вот и эти (она указала на лозищан) снимут завтра свои свитки, забудут бога и тоже потребуют, чтобы их звать господами...

— Это их дело, всякий здесь устраивает себя, как хочет, — сказал Борк хладнокровно и прибавил, поглаживая бородку: — Чем могу вам служить?

— Твоя правда, — сказала барыня. — В этой Америке никто не должен думать о своем ближнем... Всякий знает только себя, а другие, — хоть пропади в этой жизни и в будущей... Ну, так вот я зачем пришла: мне сказали, что у тебя тут есть наша девушка. Или, простите, мистер Борк... Не угодно ли вам позвать сюда молодую приезжую лэди из наших крестьянок.

— Ну, а зачем вам мисс Эни?..

— Ты, кажется, сам начинаешь вмешиваться в чужие дела, мистер Берко.

Борк пожал плечами, и через минуту сверху спустилась Анна. Старая барыня надела стеклышки на нос и оглядела девушку с ног до головы. Лозищане тоже взглянули на нее, и им показалось, что барыня должна быть довольна и испуганным лицом Анны, и глазами, в которых дрожали слезы, и крепкой фигурой, и тем, как она мяла рукой конец передника.

— Умеешь ты убирать комнаты? — спросила барыня.

— Умею, — ответила Анна...

— И готовить кушанье?

— Готовила.

— И вымыть белье, и выгладить рубашку, и запирать лампу, потому что я терпеть не могу здешнего газа, и поставить самовар или сварить кофе...

— Так, ваша милость. Умею.

— Ты приехала сюда работать?

— Как же иначе? — ответила девушка совсем тихо.

— Почему я знаю, как иначе?.. Может быть, ты рассчитывала выйти замуж за президента... Только он, моя милая, уже женат...

Две крупные слезы скатились с длинных ресниц Анны и упали на белый передник, который она все переминала в руках. Матвею стало очень жаль девушку, и он сказал:

— Она, ваша милость, сирота...

А Дыма прибавил:

— У нее на корабле умер отец.

— Умнее ничего не мог придумать! — сказала барыня спокойно. — Много здесь дураков прилетало, как мухи на мед... Ну, вот что. Мне некогда. Если ты приехала, чтобы работать, то я возьму тебя с завтрашнего дня. Вот этот мистер Борк укажет тебе мой дом... А эти — тебе родня?

— Нет, милостивая пани, но...

И Матвей видел, как испуганный глаз девушки остановился на нем, будто со страхом и вопросом.

— Никаких «но». Я не позволю тебе водить ни любовников, ни там двоюродных братьев. Вперед тебе говорю: я строгая. Из-за того и беру тебя, что не желаю иметь американскую барыню в кухарках. Шведки

тоже уже испорчены... Слышишь? Ну, а пока до свидания. А паспорт есть?

— Есть...

— То-то.

Барыня встала, гордо кивнула головой и вышла из помещения.

— Наша! — сказал Матвей и глубоко вздохнул.

— А это, видно, и здесь так же, как и всюду на свете, — прибавил к этому Дыма.

Анна тихонько вытерла слезу концом передника.

Еврей посмотрел на девушку с сожалением и сказал:

— Ну, что вы плачете, мисс Эни! Я вам прямо скажу: это дело не пойдет, и плакать нечего...

— А почему же не пойдет? — возразил Матвей задумчиво, хотя и ему самому казалось, что не стоило ехать в Америку, чтобы попасть к такой строгой барыне. Можно бы, кажется, и пожалеть сироту... А, впрочем, в сердце лозищанина примешивалось к этому чувству другое. «Наша барыня, наша, — говорил он себе, — даром что строгая, зато своя и не даст девушке ни пропасть, ни избаловаться...»

— Ну, почему же не идет? — повторил он свой вопрос.

— Га! Если мисс Эни приехала сюда искать своего счастья, то я скажу, что его надо искать в другом месте. Я эту барыню знаю: она любит очень дешево платить и чтобы ей очень много работали.

— Эх, мистер Борк, а кто же этого не любит на свете? — сказал Матвей со вздохом.

— Ну, это правда, а только здесь всякий любит также получить больше, а работать меньше. А может быть, вы думаете иначе, тогда мистер Борк будет молчать... это уже не мое дело...

Борк поднялся с своего места и вскоре ушел, одевшись, на улицу.

Он был еврей серьезный, но неудачливый, и дела его шли неважно. Помещение было занято редко, и буфет в соседней комнате работал мало. Дочь его прежде ходила на фабрику, а сын учился в коллегии;

но фабрика стала, сам мистер Борк менял уже третье занятие и теперь подумывал о четвертом. Кроме того, в Америке действительно не очень любят вмешиваться в чужие дела, поэтому и мистер Борк не сказал лозищанам ничего больше, кроме того, что покамест мисс Эни может помогать его дочери по хозяйству и он ничего не возьмет с нее за помещение.

— Подождем еще, малютка, — сказал Матвей. — Может быть, придет скоро ответ от Лозинского, тогда, пожалуй, и тебе найдется работа в деревне.

— Дай-то боже, — ответили в один голос девушка и Дыма.

— А теперь, — прибавил Матвей, — напиши, Дыма, адрес.

Но тут открылось вдруг такое обстоятельство, что у лозищан кровь застыла в жилах. Дело в том, что бумажка с адресом хранилась у Матвея в кисете с табаком. Да как-то, видно, терлась и терлась, пока карандаш на ней совсем не истерся. Первое слово видно, что губерния Миннесота, а дальше ни шагу. Осмотрели этот клочок сперва Матвей, потом Дыма, потом позвали девушку, дочь Борка, не догадается ли она, потом вмешался новый знакомый Дымы — ирландец, но ничего и он не вычитал на этой бумажке.

— Что же это теперь будет? — сказал Матвей печально.

Дыма посмотрел на него с великою укоризной и постучал себя пальцем по лбу. Матвей понял, что Дыма не хочет ругать его при людях, а только показывает знаком, что он думает о голове Матвея. В другое время Матвей бы, может, и сам ответил, но теперь чувствовал, что все они трое по его вине идут на дно, — и смолчал.

— Эх! — сказал Дыма и заскреб в голове. Заскреб в голове и Матвей, но ирландец, человек, видно, решительный, схватил конверт, написал на нем: «Миннесота, фермерскому работнику из России, Иосифу Лозинскому», и сказал:

— All right.

— Он говорит: олл райт, — обрадовался Дыма, — значит, дойдет.

— Дай-то бог, — это будет чудо господне, — сказал Матвей.

А ирландец вдобавок предложил Дыме сходить вместе, отнести письмо. И когда они выходили, — ирландец, надев свой котелок и взяв в руки тросточку, а Дыма в своей свитке и бараньей шапке, — то Матвею показались они оба какими-то странными, точно он их видел во сне. Особенно, когда у порога ирландца, как-то изогнувшись, предложил Дыме выйти первому. Дыма, изогнувшись совершенно так же, предлагал пройти вперед ирландцу. Потом они двинулись оба вместе, и тут уже Дыма постарался все-таки пройти первым. Ирландец крепко хлопнул его по плечу и захохотал... Дыма посмотрел на Матвея с гордым видом.

IX

Дело это было в пятницу, уже после обеда.

Матвей ждал Дыму, но Дыма с ирландцем долго не шел. Матвей сел у окна, глядя, как по улице снуют народ, ползут огромные, как дома, фургоны, летят поезда. На небе, поднявшись над крышами, показались звезды. Роза, девушка, дочь Борка, накрыла стол в соседней комнате белой скатертью и поставила на нем свечи в чистых подсвечниках и два хлеба прикрыла белыми полотенцами.

От этих приготовлений у Матвея что-то вдруг прилило к сердцу. Он вспомнил, что сегодня пятница и что таким образом на его родине евреи готовят-ся всегда встречать субботу.

Действительно, скоро мистер Борк вернулся из синагоги, важный, молчаливый и, как показалось Матвею, очень печальный. Он стоял над столом, покачивался и жужжал свои молитвы с закрытыми глазами, между тем как в окно рвался шум и грохот улицы, а из третьей комнаты доносился смех молодого Джона, вернувшегося из своей «коллегии» и рассказывавшего сестре и Аннушке что-то веселое. На зов отца девушка вбежала в комнату и подала ему на руки воду. Он мыл руки, потом концы пальцев, брызгал

воду и бормотал слова молитвы, а девушка, видно, вспомнила что-то смешное и глядела на брата, который подошел к столу и ждал, покачиваясь на каблучках. Затем они уселись. Молодые люди продолжали весело разговаривать. Один Борк что-то порой шептал про себя, тихонько разрезывая луковицу или белый хлеб, и часто и глубоко вздыхал...

Лозищанин глядел на еврея и вспоминал родину. Вот и шабаш здесь не такой, думал он про себя, и родное местечко встало в памяти, как живое. Вот засияла вечерняя звезда над потемневшим лесом, и городок стихает, даже перестали дымиться трубы в еврейских домах. Вот засветилась огнями синагога, зажглись желтые свечи в окнах лачуг, евреи степенно идут по домам, смолкает на улицах говор и топот шагов, а зато в каждое окно можно видеть, как хозяин дома благословляет стол, окруженный семьей. В это время двери всюду открыты, чтобы Авраам, Иаков и другие патриархи могли ходить невидимо от одной лачуги к другой и заходить в дома. Знакомые евреи говорили Матвею, что в это время ангелы ходят вместе с Авраамом, а черти, как вороны, носятся над крышами, не смея приблизиться к порогу.

Разумеется, в своем месте Матвей смеялся над этими пустяками: очень нужно Аврааму, которого чтут также и христиане, заходить в грязные лачуги некрещеных жидов! Но теперь ему стало очень обидно за Борка и за то, что даже евреи, такой крепкий в своей вере народ, забыли здесь свой обычай... Молодые люди наскоро отужинали и убежали опять в другую комнату, а Борк остался один. И у Матвея защемило сердце при виде одинокой и грустной фигуры еврея.

Мистер Борк, как бы угадывая мысли Лозинского, вышел из-за стола и сел с ним рядом.

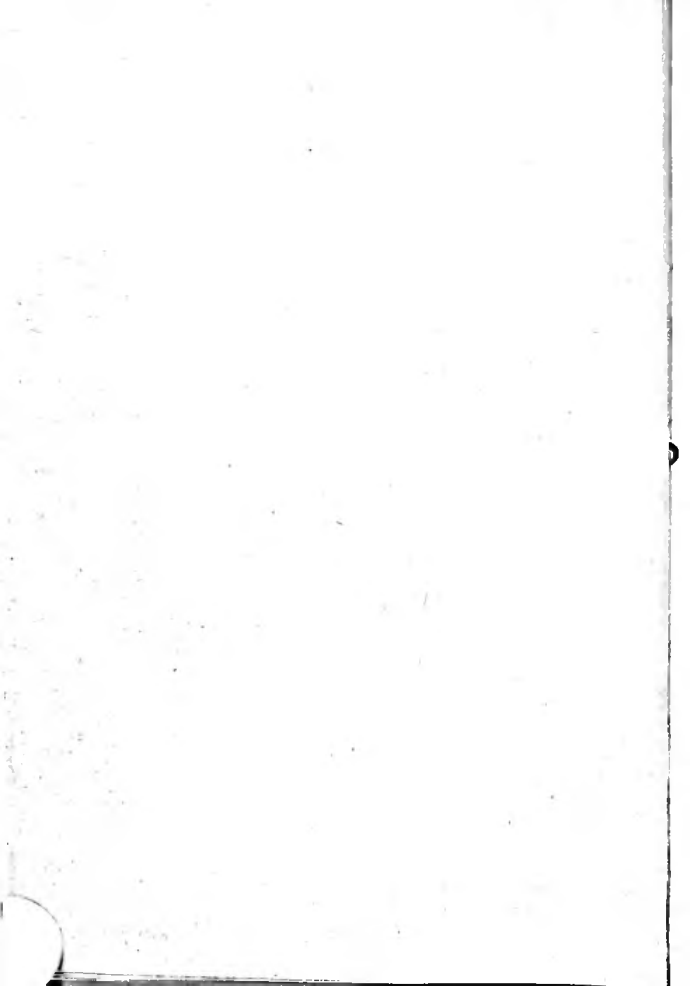
— Вижу я, господин Борк, — обратился к нему Матвей, — что твои дети не очень почитают праздник?

Борк задумчиво погладил бороду и сказал:

— А! Хотите вы знать, что я вам скажу? Америка — такая сторона, такая сторона... Она перемалывает людей, как хорошая мельница.



К рассказу «Без языка».



— Что, видно, и здесь не очень-то любят вашу веру? — сказал Матвей наставительно.

— Э, вы совсем не то говорите, что надо. Если бы вы захотели, я повел бы вас в нашу синагогу... Ну, вы увидели бы, какая у нас хорошая синагога. А наш раввин здесь в таком почете, как и всякий священник. И когда его вызывали на суд, то он сидел с их епископом, и они говорили друг с другом... Ну, совсем так, как двоюродные братья.

— А вы бросаете все-таки свою веру? — сказал лозишанин. Ему не совсем-то верилось, чтобы и здесь можно было приравнять раввина к священнику.

— Ну, это очень трудно вам объяснить. Видите что: Америка такая хитрая сторона, она не трогает ничьей веры. Боже сохрани! Она берет себе человека. Ну, а когда человек станет другой, то и вера у него станет уже другая. Не понимаете? Ну, хорошо. Я вам буду объяснять еще иначе. Моя дочь кончила школу, а в это время мои дела пошли очень плохо. Ну, мне говорят, пусть ваша дочь идет на фабрику. Плата будет десять долларов в неделю, а когда выучится — тогда плата будет и двенадцать долларов в неделю. Ну, что вы скажете на это? Ведь это двадцать четыре рубля в неделю, — хорошие деньги?

— Очень хорошие деньги, — подтвердил Матвей. — Такие деньги у нас платят работнику от Покрова до Пасхи... Правда, на хозяйских харчах.

— Ну, вот. Она пошла на фабрику к мистеру Бэркли. А мистер Бэркли говорит: «Хорошо. Еврейки работают не хуже других. Я могу принимать еврейку. Но только я не могу, чтобы у меня станок стоял пустой в субботу. Это не платит. Ты должна ходить и в субботу...»

— Ну?

— Ну... Я сказал: лучше я буду помирать или выйду на улицу продавать спички, а не позволю дочери ломать святую субботу. Хорошо. А в это время приехал к нам мистер Мозес. Вы не знаете, разумеется, кто такой мистер Мозес. Это один себе еврей из Луисвилля. У него ум, как огонь, а язык, как молот. Ну, он перековал всех своих евреев в Луисвилле и по-

ехал в другие города. Собрались мы в синагогу слушать этого Мозеса, а он и говорит: «Слышал я, что многие из вас терпят нужду и умирают, а не хотят ломать субботу». Мы говорим: ну, это и правда. Суббота святая! Суббота царица, свет Израиля! А он говорит: «Вы похожи на человека, который собрался ехать, сел на осла задом наперед и держится за хвост. Вы смотрите назад, а не вперед, и потому все попадете в яму. Но если бы вы хорошо смотрели назад, то и тогда вы бы могли догадаться, куда вам ехать. Потому что, когда сынов Израиля стали избивать язычники, а было это дело при Маккавях, то ваши отцы погибали, как овцы, потому что не брали меча в субботу. Ну, что тогда сказал господь? Господь сказал: если так будет дальше, то из-за субботы всех моих людей пережут, как стадо, и некому будет праздновать самую субботу... пусть уж лучше берут меч в субботу, чтобы у меня остались мои люди. Теперь подумайте сами: если можно брать меч, чтобы убивать людей в субботу, то отчего не взять в руки станок, чтобы вам не помирать с голоду в чужой стороне?» А! Я же вам говорю: это очень умный человек, этот Мозес.

Матвей посмотрел на еврея, у которого странно сверкали глаза, и сказал:

— Видно, и тебя начинает тянуть туда же. А я тебя считал почтенным человеком.

— Ну, — ответил Борк, вздохнув, — мы, старики, все-таки держимся, а молодежь... А! что тут толковать! Вот и моя дочь пришла ко мне и говорит: «Как хочешь, отец, незачем нам пропадать. Я пойду на фабрику в субботу. Пусть наша суббота будет в воскресенье».

Борк взял свою бороду обеими руками, посмотрел на Матвея долгим взглядом и сказал:

— Вы еще не знаете, какая это сторона Америка! Вот вы посмотрите сами, как это вам понравится. Мистер Мозес сделал из своей синагоги настоящую конгрегешен*, как у американцев. И знаете, что он делает? Он венчает христиан с еврейками, а евреек с христианами!

— Послушай, Берко, — сказал Матвей, начиная сердиться. — Ты, кажется, шутишь надо мной.

Но Борк смотрел на него все так же серьезно, и по его печальным глазам Матвей понял, что он не шутит.

— Да, — сказал он, вздохнув. — Вот вы увидите сами. Вы еще молодой человек, — прибавил он загадочно... — Ну, а наши молодые люди уже все реформаторы или, еще хуже — эпикурейцы... Джон, Джон! А поди сюда на минуту! — крикнул он сыну.

Смех и разговоры в соседней комнате стихли, и молодой Джон вышел, играя своей цепочкой. Роза с любопытством выглянула из-за дверей.

— Послушай, Джон, — сказал ему Борк. — Вот господин Лозинский осуждает вас, зачем вы не исполняете веру отцов.

Джон, которому, видно, не очень любопытно было разговаривать об этом, — поиграл цепочкой и сказал:

— А разве господин тоже еврей?

Матвей выпрямился. У себя он бы, может быть, поучил этого молокососа за такое обидное слово, но теперь он только ответил:

— Я христианин, и деды и отцы были христиане — греко-унииаты...

— Олл райт! — сказал молодой Джон. — А как вы мне скажете: можно ли спастись еврею?

Матвей подумал и сказал, немного смутившись:

— По совести тебе, молодой человек, скажу: не думаю...

— Уэлл! Так зачем вы хотите, чтобы я держался такой веры, в которой моя душа должна пропасть...

И видя, что Матвей долго не соберется ответить, — он повернулся и опять ушел к сестре.

— А ну! Что вы скажете? — спросил Борк, глядя на лозищанина острым взглядом. — Вот как они тут умеют рассуждать. Поверите вы мне, на каждое ваше слово он вам сейчас вот так ответит, что у вас язык присохнет. По-нашему, лучшая вера та, в которой человек родился, — вера отцов и дедов. Так мы думаем, глупые старики.

— Разумеется, — ответил Матвей, обрадовавшись.

— Ну, а знаете, что он вам скажет на это?

— Ну?

— Ну, он говорит так: значит, будет на свете много самых лучших вер, потому что ваши деды верили по-вашему... Так? Ага! А наши деды — по-нашему. Ну, что же дальше? А дальше будет вот что: лучшая вера такая, какую человек выберет по своей мысли... Вот как они говорят, молодые люди...

— А чтоб им провалиться, — сказал Матвей. — Да это значит, сколько голов, столько вер.

— А что вы думаете, — тут их разве мало? Тут что ни улица, то своя конгрегешен. Вот нарочно подите в воскресенье в Бруклин, так даже можете не мало посмеяться...

— Посмеяться? В церкви?

— Ну, они и молятся, и смеются, и говорят о своих делах, и опять молятся... Я вам говорю, — Америка такая сторона... Вот увидите сами...

И долго еще эти два человека: старый еврей и молодой лозишанин, сидели вечером и говорили о том, как верят в Америке. А в соседней комнате молодые люди все болтали и смеялись, а за стеной глухо гремел огромный город...

Х

Город гремел, а Лозинский, помолившись богу и рано ложась на ночь, закрывал уши, чтобы не слышать этого страшного, тяжелого грохота. Он старался забыть о нем и думать о том, что будет, когда они разыщут Осипа и устроятся с ним в деревне...

В той самой деревне, которая померещилась им еще в Лозищах, из-за которой Лозиши показались им бедны и скучны, из-за которой они проехали моря и земли, которая виднелась им из-за дали океана, в туманных мечтах, как земля обетованная, как вторая родина, которая должна быть такая же дорогая, как и старая родина.

Такая же, как и старая, только гораздо лучше...

Такие же люди, только добрее. Такие же мужики, в таких же свитках, только мужики похожи на ста-

рых лозищан, еще не забывших о своих старых правах, а свитки тоньше и чище, только дети здоровее и все обучены в школе, только земли больше, и земля родит не по-нашему; только лошади крепче и сытее, только плуги берут шире и глубже, только коровы дают по ведру на удой...

И такие же села, только побольше, да улицы шире и чище, да избы просторнее и светлее, и крыты не соломою, а тесом... а может быть, и соломой, — только новой и свежей... И, должно быть, около каждого дома — садик, а на краю села у выезда корчма с приветливым американским жидом, где по вечерам гудит бас, тонко подпевает скрипка и слышен в весенние теплые вечера топот и песни до ранней зари, — как было когда-то в старые годы в Лозищах. А посередине села школа, а недалеко от школы — церковка, может быть, даже униатская.

А в селе такие же девушки и молодницы, как вот эта Анна, только одеты чище и лица у них не такие запуганные, как у Анны, и глаза смеются, а не плачут.

Все такое же, только лучше. И, конечно, такие же начальники в селе, и такой же писарь, только и писарь больше боится бога и высшего начальства. Потому что и господа в этих местах должны быть добрее и всё только думают и смотрят, чтобы простому человеку жилось в деревне как можно лучше...

С этими мыслями лозищанин засыпал, стараясь не слышать, что кругом стоит шум, глухой, непрерывный, глубокий. Как ветер по лесу, пронесся опять под окнами ночной поезд, и окна тихо прозвенели и смолкли, — а Лозинскому казалось, что это опять гудит океан за бортом парохода... И когда он прижмался к подушке, то опять что-то стучало, ворочалось, громыхало под ухом... Это потому, что над землей и в земле стучали без отдыха машины, вертелись чугунные колеса, бежали канаты...

И вот ночью Матвею приснилось, что кто-то стоит над ним, огромный, без лица и не похожий совсем на человека, стоит и кричит, совсем так, как еще недавно кричал в его ушах океан под ночным ветром:

— Глупые люди, бедные, темные люди. Нет такой деревни на свете, и нет таких мужиков, и господ таких нету, и нет таких писарей. И поле здесь не такое, и не то здесь в поле родится, и люди иные. И нет уже тебя, Матвея Оглобли, и нет твоего приятеля Дымы, и нету Анны!.. Прежний Матвей уже умер, и умер Дыма, и умерла ваша прежняя вера, и сердце у вас станет другое, и иная душа, и чужая молитва... И если бы встала твоя мать из заброшенной могилы, на тихом кладбище под лозищанским лесом, — то здесь в детях твоих она не признала бы своих внуков... Потому что они не будут похожи ни на отца, ни на тебя, ни на дедов и прадедов... А будут американцы...

Матвей проснулся весь в поту и сел на своей постели.

Он протирает глаза и не мог вспомнить, где он. В комнате было темно, но кто-то ходил, кто-то топал, кто-то сопел и кто-то стоял над самой его постелью.

Потом вдруг комната осветилась, потому что кто-то зажег газовый рожок спичкой. Комната осветилась, а Матвей все еще сидел, и ничего не понимал, и говорил с испугом:

— Всякое дыхание да хвалит господа.

— Ну, что еще?.. Чего ты это испугался? — сказал кто-то знакомым голосом. Голос был как будто Дымы, но что-то еще было в нем странное и чужое. И человек, стоявший над кроватью Матвея, был тоже Дыма, но как будто какой-то другой, на Дыму не похожий... Матвей думал, что это все еще сон, и стал протирать кулаками глаза... Когда он открыл их, в комнате было еще светлее, и по ней двигались люди, только что вернувшиеся целой гурьбой... Странные люди, чужие люди, люди непонятные и незнакомые, люди неизвестного звания, люди с такими лицами, по которым нельзя было определить, добрые они или злые, нравятся ли они человеку или не нравятся... Они нахлынули в комнату, точно толпа странных привидений, которые человеку видятся порой только во сне, — и тихо, без шума занимали свои места. И Матвей долго еще не мог сообразить — кто это,

откуда, что здесь делают и что он сам делает среди них...

А потом вспомнил: да ведь это американцы. Те, что летают по воздуху, что смеются в церквях, что женятся у раввинов на еврейках, что выбирают себе веру, кто как захочет... Те, что берут себе всего человека, и тогда у него тоже меняется вера...

А тот, что стоял над самой постелью, — неужели это Дыма? Да, это и был Дыма, но только опять такой, как будто он приснился во сне. Он очень торопился раздеваться и отворачивал лицо. Однако от Матвея не ускользнуло, что этот Дыма скидает с себя совсем не свою одежду. На нем не было ни белой свитки, ни красного пояса, купленного перед самым отъездом в местечке, ни высоких смазных сапог, ни широких шаровар из коричневой коломянки. Вместо всего этого он теперь старался поскорее вылезти из какой-то немецкой кургузой куртки, не закрывавшей даже как следует того, что должно быть закрыто хорошей одеждой; шею его подпирал высокий воротник крахмальной рубашки, а ноги нельзя было освободить из узких штанов... Когда же он, наконец, разделся и полез к Матвею под одно одеяло, — то Матвей даже отшатнулся, до такой степени самое лицо Дымы стало чужое. Волосы его были коротко острижены и торчали вихром на лбу, усы подстрижены над губой, а от бороды осталась только узкая американская лопатка.

— Побойся ты бога, Дыма! — сказал Матвей, взглядевшись. — На кого ты похож, и что это ты над собою сделал?

Дыма, по-видимому, чувствовал себя так, как человек, который вышел на базар, забывши надеть штаны... Он как-то все отворачивал лицо, закрывал рот рукою и говорил каким-то виноватым и слащавым голосом:

— Да вот, как меня видишь... Зашел с проклятым ирландцем в цирюльню, чтобы меня немного остригли. Поверь совести, Матвей, я хотел чуть-чуть... А вышло вот что. Посадили меня в кресло. Кресло, знаешь, такое хорошее, а только как сел в него —

и кончено. Ноги сейчас схватило чем-то и кинуло вверх, голову отвалило назад: ей-богу, как баран на бойне... Вижу, делает немец не так, как надо, а двинуться не могу. Посмотрел потом на себя в зеркало, — не я, да и только. «Что ты, говорю, собачий сын, над человеком сделал?» А они оба довольны, хлопают меня по плечу: «Уэлл, уэлл, вери уэлл!»

Дыма тихонько полез под одеяло, стараясь улечься на краю постели. Однако, когда в комнате погасили огонь и последний из американцев улегся, он сначала все еще лицемерно вздохнул, потом поправился на своем месте и, наконец, сказал:

— Ну, а все-таки, признайся, Матвей... Все-таки этак человек как-то больше похож на американца.

— А зачем тебе непременно походить на американца? — сказал Матвей холодно...

— И знаешь, — живо продолжал Дыма, не слушая, — когда я вдобавок выменял у еврея на базаре эту одежду... с небольшой, правда, придачей... то уже на улице подошел ко мне какой-то господин и заговорил по-английски...

— Ах, Иван, Иван, — сказал Матвей с такой горечью, что Дыму что-то как бы укололо и он заворочался на месте. — Правду, видно, говорит этот Берко: ты уже скоро забудешь и свою веру...

— Иные люди, — заворчал Дыма, отворачиваясь, — так упрямы, как лозищанский вол... Им лучше, чтобы в них кидали на улице корками...

— Вот ты уже ругаешься Лозищами, в которых родился, — сказал Матвей и замолчал. Дыма еще поворчал, поворочался, повздыхал и затем заговорил тихо, немного заискивающим голосом:

— Охота тебе слушать Берка. Вот он облаял этого ирландца... И совсем напрасно... Знаешь, я-таки разузнал, что это такое Тамани-холл и как продают свой голос... Дело совсем простое... Видишь ли... Они тут себе выбирают голову, судей и прочих там чиновников... Одни подают голоса за одних, другие за других... Ну, понимаешь, всякому хочется попасть повыше... Вот они и платят... Только, говорит, подай

голос за меня... Кто соберет десять голосов, кто двадцать... Ты, Матвей, слушаешь меня?

И, хотя Матвей ничего не ответил, он продолжал:

— И, по-моему, это-таки справедливо: хочешь себе, — дай же и людям... И знаешь еще что?..

Тут Дыма понизил голос до шепота и повернулся совсем к Матвею:

— Они говорят — этот ирландец и еврей, у которого я покупал одежду, — что и нам бы можно... Конечно, голоса не совсем настоящие, но тоже чего-нибудь стоят...

Матвей хотел ответить что-то очень внушительное, но в это время с одной из кроватей послышался сердитый окрик какого-то американца. Дыма разобрал только одно слово *devil*, но и из него понял, что их обоих посылают к дьяволу за то, что они мешают спать... Он скорчился и юркнул под одеяло.

А наверху, в маленькой комнатке, спали вместе Роза и Анна. Когда им пришлось ложиться, Роза посмотрела на Аннушку и спросила:

— Вам, может быть, неприятно будет спать на одной постели с еврейкой?

Анна покраснела и сконфузилась.

Она собиралась молиться, вынула свой образок и только что хотела приладить его где-нибудь в уголку, как слова Розы напомнили ей, что она — в еврейском помещении. Она стояла в нерешительности с образком в руках. Роза все смотрела на нее и потом сказала:

— Вы хотите молиться, и... я вам мешаю... Я сейчас уйду.

Анна сконфузилась. Она действительно думала, хорошо ли молиться богу в присутствии еврейки, и позволит ли еврейка молиться по-христиански в своей комнате.

— Нет, — ответила она. — Только... я думала, — не будет ли вам неприятно?

— Молитесь, — просто сказала Роза и стала оправлять постель.

Аннушка прочитала свои молитвы, и обе девушки стали раздеваться. Потом Роза завернула газовый

рожок, и свет погас. Через некоторое время в темноте обозначилось окно, а за окном высоко над продолжающим гудеть огромным городом стояла небольшая бледная луна.

— О чем вы думаете? — спросила Роза лежащую с ней рядом Анну.

— Я думаю... видят ли теперь этот самый месяц в нашем городишке.

— Нет, не видят, — ответила Роза, — у вас теперь день... А какой ваш город?

— Наш город — Дубно...

— Дубно? — живо подхватила Роза. — Мы тоже жили в Дубне... А зачем вы оттуда уехали?

— Братья уехали раньше... Я жила с отцом и младшим братом. А после этого брата... ушли.

— Что он сделал?

— Он... вы не думайте... Он не вор и не что-нибудь... только...

Она замялась. Она не хотела сказать, что, когда разбивали еврейские дома, он разбивал тоже, и после стали драться с войсками... Она думала, что лучше не говорить этого, и замолчала.

— Что ж, — сказала Роза, — со всяким может случиться несчастье. Мы жили спокойно и тоже не думали ехать так далеко. А потом... вы, может быть, знаете... когда стали громить евреев... Ну, что людям нужно?.. У нас все разбили, и... моя мать...

Голос Розы задрожал.

— Она была слабая... и они ее очень испугали... и она умерла.

Анна подумала, что она хорошо сделала, не сказав Розе всего о брате... У нее как-то странно сжалось сердце... И еще долго она лежала молча, и ей казались странными и этот глухо гудящий город, и люди, и то, что она лежит на одной постели с еврейкой, и то, что она молилась в еврейской комнате, и что эта еврейка кажется ей совсем не такой, какой представлялась бы там, на родине...

Начинало уже светать, когда, наконец, обе девушки заснули крепким молодым сном. А в это самое время Матвей, приподнявшись на своей постели после

легкого забытья, все старался припомнить, где он и что с ним случилось. Ненадолго притихший было город начинал просыпаться за стеной. Быстрее ворочались колеса на какой-то близкой станции, и уже пропел поезд, шумя, как ветер в бору перед дождливым утром. Рядом на другой подушке лежала голова Дымы, но Матвей с трудом узнавал своего приятеля. Лицо Дымы было красно, потому что его сильно подпирал тугой воротник не снятой на ночь крахмальной сорочки. Прежние его казацкие длинные усы были подстрижены, и один еще держался кверху тонко нафабренным кончиком. Вообще при виде этого почти чужого лица Матвею стало как-то обидно... Ему казалось, что Дыма становится чужим...

XI

И действительно, с следующего утра стало заметно, что у Ивана Дымы начал портиться характер...

Когда он проснулся, то прежде всего, наскоро одевшись, подошел к зеркалу и стал опять закручивать усы кверху, что делало его совсем не похожим на прежнего Дыму. Потом, едва поздоровавшись с Матвеем, подошел к ирландцу Падди и стал разговаривать с ним, видимо гордясь его знакомством и как будто даже щеголяя перед Матвеем своими развязными манерами. Матвею казалось, однако, что остальные американцы глядят на Дыму с улыбкой.

Компания жильцов мистера Борка была довольно разнообразна. Были тут и немцы, и итальянцы, и дватри англичанина, и несколько ирландцев. Часть этих людей казалась Матвею солидными и серьезными. Они вставали утром, умывались в ванной комнате, мало разговаривали, пили в соседней комнате кофе, которое подавали им Роза с Анной, и потом уходили на работу или на поиски работы. Но была тут и кучка людей, которые оставались на целые дни, курили, жевали табак и страшно плевались, стараясь попадать в камин, иной раз через головы соседей. У них не было определенных часов работы. Иной раз они

уходили куда-то гурьбой и тогда звали с собой и Дыму... В разговорах часто слышалось слово Тамани-холл... Дела этой компании, по-видимому, шли в это время хорошо. Возвращаясь из своих походов в помещение Борка, они часто громко хохотали... И Дыма хохотал с ними, что Матвею казалось очень противно.

Так прошло еще два-три дня.

Характер Дымы портился все больше. Правда, он сделал большие, даже удивительные успехи в языке. За две недели на море и за несколько дней у Борка он уже говорил целые фразы, мог спросить дорогу, мог поторговаться в лавке и при помощи рук и разных движений разговаривал с Падди так, что тот его понимал и передавал другим его слова... Это, конечно, не заслуживало еще осуждения. Но Матвея огорчало и даже сердило, что Дыма не просто говорит, а как будто гримасничает и передразнивает кого-то: вытягивает нижнюю губу, жует, шипит, картавит... «Взял бы хоть пример с жида, — думал про него Матвей. — Он тоже говорит с американцами на их языке, но — как степенный и серьезный человек». А Дыма уже и «мистер Борк» произносит как-то особенно картаво, — мисте'г Бег'к. А иной раз, забывшись, он уже и Матвея начинал называть мистер Мэтью... В таких случаях Матвей смотрел на него долгим укоризненным взглядом — и он немного смущался.

В один день, после того, как Падди долго говорил что-то Дыме, указывая глазами на Матвея, они оба ушли куда-то, вероятно к еврею-лавочнику, который в трудных случаях служил им переводчиком. Вернувшись, Дыма подошел к Матвею и сказал:

— Послушай, Матвей, что я тебе скажу. Сидим мы здесь оба без дела и только тратим кровные деньги. А между тем можно бы действительно кое-что заработать.

Матвей поднял глаза и, ничего не говоря, ожидал, что Дыма скажет дальше.

— Вот видишь ли... Тут эти вот шестеро — агенты, или, по-нашему, факторы Тамани-холла... Это, видишь

ли, такая, скажем, себе компания... Скоро выборы. И они хотят выбрать в мэры над городом своего человека. И всех тогда назначат тоже своих... Ну, и тогда уже делают в городе, что хотят...

— Ну, так что же? — спросил Матвей.

— Так вот они собирают голоса. Они говорят, что, если бы оба наши голоса, то они и дали бы больше, чем за один мой... А нам что это стоит? Нужно только тут в одном месте записаться и не говорить, что мы недавно приехали. А потом... Ну, они все делают и укажут...

Матвей вспомнил, что раз уже Дыма заговаривал об этом; вспомнил также и серьезное лицо Борка и презрительное выражение его печальных глаз, когда он говорил о занятиях Падди. Из всего этого в душе Матвея сложилось решение, а в своих решениях он был упрям, как бык. Поэтому он отказался наотрез.

— Но отчего же ты не хочешь? Скажи! — спросил Дыма с неудовольствием.

— Не хочу, — упрямо ответил Матвей. — Голос дан человеку не для того, чтобы его продавать.

— Э, глупости! — сказал Дыма. — Ведь не останешься же ты после этого без голоса. Даже не охрипнешь. Если люди покупают, так отчего не продать? Все-таки не убудет в кошель, а прибудет...

— А помнишь, как когда-то экономя уговаривал нас, чтобы мы подписали его бумагу... Что бы тогда вышло?

— Гм... да... — пробормотал Дыма, немного растерявшись. — Потеряли бы всю чиншевую землю! Так ведь там было что терять. А тут... что нам за дело? Дают, черт их бей, деньги, и кончено.

Матвей не нашел, что ответить, но он был человек упрямый.

— Не пойду, — сказал он, — и если хочешь меня послушать, то и тебе не советую. Не связывайся ты с этим лодырем.

И Матвей без церемонии ткнул пальцем по направлению к Падди, который внимательно следил за разговором, и, увидя, что Матвей указывает на него.

весело закивал головой. Дыма, конечно, тоже не слушался.

— Ну что ж, — сказал он, — когда ты такой, то заработаю один. Все-таки хоть что-нибудь...

И в тот же день он сообщил, что его уже записали...

XII

Письма все не было, а дни шли за днями. Матвей больше сидел дома, ожидая, когда, наконец, он попадет в американскую деревню, а Дыма часто уходил и, возвращаясь, рассказывал Матвею что-нибудь новое.

— Сегодня Падди сводил меня на кулачную драку, — сказал он однажды. — Ты, Матвей, и представить себе не можешь, как этот народ любит драться. Как только двое заспорят, то остальные станут в круг, — кто с трубкой, кто с сигарой, кто с жвачкой, и смотрят. А те сейчас куртки долой, зашучат рукава, завертят-завертят руками и — хлоп! Кто половчее, глядишь, и засветил другому фонарь... И притом больше всего любят бить по лицу, в нос или, если уж не удастся, — в ухо. А в темя или под сердце — боже упаси! Но дерутся, заметь, не сердито, и, как только один полетит пятками кверху, так его сейчас поднимут, обмоют лицо и опять сядут вместе за игру или там за кружки, как будто бы ничего и не случилось. И начнут говорить, кто как ударил и как бы можно ударить еще лучше.

— Ну, это правда, — подтвердил Борк, слышавший рассказ Дымы. — Во всей Америке бокс очень любят! И если еще вдобавок выйдутся какие-нибудь необыкновенные силачи, то ездят из города в город и тузят друг друга на людях за хорошие деньги. И знаете что: в это время за ними ездят газетчики и все записывают. И даже посылают телеграммы: «В два часа 15 минут 4 секунды Джон подбил Джеку правый глаз вот таким способом, а через полминуты Джек свалил Джона с ног так-то». И тогда в разных городах люди сидят в ресторанах, а им читают известия. И они спорят: как бы можно ударить Джона или

Джека еще лучше... И что вы думаете: проигрывают на этом большие деньги!

— Лодыри! — сказал на это Матвей...

В один день Дыма пришел под вечер и сказал, что сегодня они-таки выбрали нового мэра, и именно того, кого хотелось Тамани-холлу.

— Жарко было, о вэлл! — сказал он хвастливо. — А все-таки наша взяла... И знаешь: Падди мне говорит, что много помогли наши «ненастоящие голоса».

В этот день Падди и его компания были особенно веселы и шумны. Они ходили по кабачкам, много пили и угощали Дыму. Дыма вернулся с ними красный, говорил громко, держался особенно развязно. Матвей сидел на своей постели, около газового рожка, и, пристроив небольшой столик, читал библию, стараясь не обращать внимания на поведение Дымы.

Однако через несколько минут Дыма подошел к нему и, положив ему руку на плечо, наклонился к его лицу так близко, что от него запахло даже вином.

— Слушай, Матвей, — сказал он каким-то заискивающим голосом. — Вот видишь, что я тебе хочу сказать. Они... хотели бы угостить тебя.

— Спасибо, я не хочу, — ответил Матвей, не отрываясь от книги.

— И видишь, что еще... Пожалуйста, не прими там как-нибудь... того... в дурную сторону. У всякого народа свой обычай, и в чужой монастырь, как говорится, не ходят со своим уставом.

— К чему ты это ведешь? — спросил Матвей строго.

— А к тому, что этот Падди хочет с тобой драться...

Матвей даже разинул рот от удивления, и два приятеля с полминуты молча глядели друг на друга. Потом Дыма отвел глаза и сказал:

— Когда уже у них здесь такой обычай...

— Послушай, Дыма, — сказал Матвей серьезно. — Почему ты думаешь, что их обычай непременно хорош? А по-моему, у них много таких обычаев, которых лучше не перенимать крещеному человеку.

Это говорю тебе я, Матвей Лозинский, для твоей пользы. Вот ты уже переменял себе лицо, а потом застыдишься и своей веры. И когда придешь на тот свет, то и родная мать не узнает, что ты был лозинский.

— Э! — ответил Дыма с неудовольствием. — Где Крым, где Рим, а где панская корчма. С какой стати ты приплел сюда мою покойницу мать? Мне говорят: скажи, я и сказал. А ты как себе хочешь.

— Ну, так я и говорю: скажи ты своим приятелям, пусть не просят своего бога, чтобы я стал с ними драться...

— Ну, вот видишь, — обрадовался Дыма. — Я им как раз говорил, что ты у нас самый сильный человек не только в Лозицах, но и во всем уезде. А они говорят: ты не знаешь правильного боя.

Дыма отошел к ирландцам, а Матвей опять обратился к старой библии и погрузился в чтение.

Он стал читать, шевеля губами, о том, как двое молодых людей пришли в Содом к Лоту и как жители города захотели взять их к себе. Потом он поднял голову и начал думать. Он думал о том, что вот они с Дымой как раз такие молодые люди в этом городе. Только у Дымы сразу стал портиться характер, и он сам пошел к жителям города...

Пока он размышлял таким образом, кто-то вдруг погасил рожок, около которого он сидел. Матвей оглинулся. За ним, недалеко, сидел мистер Падди, ирландец, приятель Дымы, и невинно улыбался.

Матвей достал спичку, зажег рожок и опять принялся за книгу. Однако, догадавшись, что Падди на этом не кончит, — он тотчас оглянулся. Падди стоял сзади и уже вытянул рот, чтобы дунуть на огонь из-за плеча Матвея.

Матвей не очень сильно двинул локтем, и Падди упал на постель.

— All right! (хорошо), — сказал он, подымаясь и скидая куртку.

— Very well (отлично), — сказали его товарищи, отодвигая стулья и подходя к тому месту.

— Ал райт, — повторил за другими и Дыма как-

то радостно. — Теперь выходи, Матвей, на середину и, главное, защищай лицо. Он будет бить по носу и в губы. Я знаю его манеру...

Но Матвей как ни в чем не бывало сел опять и раскрыл свою книгу.

Ирландцы были озадачены. Однако, так как у них на все есть свои правила, то вскоре Падди стал подходить к Матвею, приседая и вертя кулаками, точно мельницей.

«Ну, делать нечего, — подумал Матвей, — если уж ты сам этого хочешь».

И не успел еще Падди изловчиться, как уже сильный лозищанин встал во весь рост, как медведь на охотника, поднял над головой Падди обе руки, потом сгреб его за густые, хотя и не длинные волосы, нагнул и, зажав голову коленями, несколько раз шлепнул очень громко по мягкому месту.

Все это случилось так быстро, что никто не успел и оглянуться. А когда Падди поднялся, озираясь кругом, точно новорожденный младенец, который не знает, что с ним было до этой минуты, — то все невольно покатались со смеху.

На несколько минут большая комната мистера Борка оглашалась только хохотом на разные лады и разными голосами. Даже длинный американец, с сухим лицом и рыжей бородой в виде лопатки, человек в очень потертом клетчатом костюме, на высохшем и морщинистом лице которого никогда не видно было даже подобия улыбки, теперь делал какие-то невероятные гримасы, как будто хватил нечаянно уксусу, и из его горла вылетало что-то такое, как будто он сильно заикался. А один безусый юноша, недавно занявший последнюю кровать у мистера Борка, кинулся на свою постель и хохотал звонко, неудержимо, лягая в воздухе ногами, как будто боялся, что иначе смех задушит его насмерть. На этот шум из других комнат прибежали сначала Роза, а потом и Анна. Роза видела только, как Падди оглядывался по комнате, и все-таки упала на стул у двери, свесив руки и закинув голову от смеха. А Анна уже ничего не видела, но все-таки смеялась, зараженная общим хо-

хотом и глядя на сухопарого американца, который все еще икал и как будто давился.

Дыма тоже смеялся и сначала очень гордился своим приятелем.

— А, что! Я говорил вам, — сказал он, поворачиваясь к смеющимся американцам и забывая даже перевести свои слова. — Га! Вот как дерутся у нас, в Лозищах.

Но после, когда смех постепенно утих и все принялись горячо обсуждать случившееся, лицо Дымы стало омрачаться, и через некоторое время он сказал так, что Матвей расслышал ясно его слова:

— Хорошо, нечего сказать: драться, точно медведь у берлоги... Это стыд перед образованными людьми...

— Ничего, — ответил Матвей спокойно, опять как ни в чем не бывало принимаясь за библию, — хоть по-медвежьи, а здорово. В другой раз твой Падди будет знать...

Ирландцы пошумели еще некоторое время, потом расступились, выпустив Падди, который опять вышел вперед и пошел на Матвея, сжав плечи, втянув в них голову, опустивши руки и изгибаясь, как змея. Матвей стоял, глядя с некоторым удивлением на его странные ужимки, и уже опять было приготовился повторить прежний урок, как вдруг ирландец присел; руки Матвея напрасно скользнули в воздухе, ноги как будто сами поднялись, и он полетел через постель на спину.

Кровать затрещала, и огромный лозищанин свалился на пол.

— All right, — одобрительно раздалось в куче ирландцев, а Падди, довольный, стал надевать свою куртку. Но в это время Матвей тяжело поднялся из-за кровати.

Его нельзя было узнать: всегда кроткие глаза его теперь глядели дико, волосы торчали дыбом, зубы скрипели, и он озирался, что бы ему взять в руку.

Ирландцы взяли Падди в середину и сомкнулись тревожно, как стадо при виде медведя. Все они глядели на этого огромного человека, ожидая чего-то

страшного, тем более что Дыма тоже стоял перепуганный и бледный...

Трудно сказать, что было бы дальше, но в эту минуту Анна перебежала через комнату и схватила Матвея за руку.

— Для бога, — сказала она только. — О, для бога!..

Матвей поглядел на нее сначала мутным, непонимающим взглядом, но через несколько секунд тяжело перевел дух. Потом отвернулся и сел к окну.

Ирландцы успокоились. Падди хотел даже подойти к Матвею и протянул руку; но Дыма остановил его, и они оставили Матвея в покое.

А за окном весь мир представлялся сплошной тьмой, усеянной светлыми окнами. Окна большие и окна маленькие, окна светились внизу, и окна стояли где-то высоко в небе, окна яркие и веселые, окна чуть видные и будто прижмуренные. Окна вспыхивали и угасали, наконец, ряды окон пролетали мимо, и в них мелькали, проносились и исчезали чьи-то фигуры, чьи-то головы, чьи-то едва видные лица...

XIII

Поздним вечером Дыма осторожно улегся в постель рядом с Матвеем, который лежал, заложив руки за голову, и о чем-то думал, уставивши глаза и сдвинувши брови. Все уже спали, когда Дыма, собравшись с духом, сказал:

— И чего бы, кажется, сердиться на приятеля... Разве я тут виноват... Если уже какой-нибудь поджарый Падди может повалить самого сильного человека во всех Лозицах... Га! Это значит, такая уже в этой стороне во всем образованность... Тут сердиться нечего, ничего этим не поможешь, а видно, надо как-нибудь и самим ухитриться... Индейский удар! Это у них, видишь ли, называется индейским ударом...

Матвей поднялся на постели, повернул лицо к Дыме и спросил:

— А ты, Дыма Лозинский, знал вперед, что они мне приготовили эту индейскую штуку?..

— А... разве я уже все понимаю по-английски. — отвечал Дыма уклончиво. И затем, обрадовавшись, что Матвей говорит спокойно, он продолжал уже смелее: — Вот, знаешь что, — сходим завтра к этому цирюльнику. Приведи ты и себя, как это здесь говорится, в порядок, и кончено. Ей-богу, правда! — прибавил он сладким голосом и уже собираясь заснуть.

Но вдруг он с испугом привскочил на кровати. Матвей тоже сидел. При свете с улицы было видно, что лицо его бледно, волосы стоят дыбом, глаза горят, а рука приподнята вверх.

— Слушай ты, Дыма, что тебе скажет Матвей Лозинский. Пусть гром разобьет твоих приятелей, вместе с этим мерзавцем Тамани-голлом, или как там его зовут! Пусть гром разобьет этот проклятый город и выбранного вами какого-то мэра. Пусть гром разобьет и эту их медную свободу, там на острове... И пусть их возьмут все черти вместе с теми, кто продает им свою душу...

— Тише, пожалуйста, Матвей, — пробовал остановить его Дыма. — Люди спят, и здесь не любят, когда кто кричит ночью...

Но Матвей не остановился, пока не кончил. А в это время, действительно, и ирландцы повскакали с кроватей, кто-то зажег огонь, и все, проснувшись, смотрели на рассвирепевшего лозинянина.

— Смотрите не смотрите, а это правда, — сказал он, повернувшись к ним и грозя кулаком, и затем опять повалился на постель.

Американцы стали тревожно разговаривать между собой и потом, потребовав Дыму, спрашивали у него, в своем ли разуме его приятель и не грозит ли им ночью от него какая-нибудь опасность. Но Дыма их успокоил: теперь Матвей будет спать и никому ничего не сделает. Он человек добрый, только не знает образованности, и теперь его дня два не надо трогать... Тогда американцы тихо разошлись по своим постелям, оглядываясь на Матвея. Погасили огни, и в комнате мистера Борка водворилась тиши-

на. Только огни с улицы светили смутно и неясно. так что нельзя было видеть, кто спит и кто не спит в помещении мистера Борка.

XIV

Матвей Лозинский долго лежал в темноте с открытыми глазами и забылся сном уже перед утром, в тот серый час, когда заснули совсем даже улицы огромного города. Но его сон был мучителен и тревожен: он привык уважать себя и не мог забыть, что с ним сделал негодяй Падди. И как только он начинал засыпать, — ему снилось, что он стоит, неспособный двинуть ни рукой, ни ногой, а к нему, приседая, подгибая колени и извиваясь, как змея, подходит кто-то, — не то Падди, не то какой-то курчавый негр, не то Джон. И он не может ничего сделать и летит куда-то среди грохота и шума, и перед глазами его мелькает испуганное лицо Анны.

Потом вдруг все стихло, и он увидел еврейскую свадьбу; мистер Мозес из Луисвилля, еврей очень неприятного вида, венчает Анну с молодым Джоном. Джон с торжествующим видом топчет ногой рюмку, как это делается на еврейской свадьбе, а кругом, надрываясь, все в поту, с вытаращенными глазами, ирландцы гудят и пишат на скрипницах, и на флейтах, и на пузатых контрабасах... А невдалеке, задумчивый и недоумевающий, стоит Берко и говорит:

— Ну, что вы на это скажете?.. И как вы это можете допустить?..

Матвей заскрежетал во сне зубами, так что Дыма проснулся и отодвинулся от него со страхом... — Гей-гей! — закричал Матвей во сне... — А где же тут христиане? Разве не видите, что жида захватили христианскую овечку!..

Дыма отодвинулся еще дальше, слушая бормотание Матвея, — но тот уже смолк, а сон шел своим чередом... Бегут христиане со всех сторон, с улиц и базаров, из шинков и от возов с хлебом. Бегут христиане с криком и шумом, с камнями и дреколем...

Быстро запираются двери домов и лавочек, звякают стекла, слышны отчаянные крики женщин и детей, летят из окон еврейские бебехи и всякая рухлядь, пух из перин кроет улицы, точно снегом...

Потом и это затихло, и в глубоком сне к Матвею подошел кто-то и стал говорить голосом важным и почтенным что-то такое, от чего у Матвея на лице даже сквозь сон проступило выражение крайнего удивления и даже растерянности.

И на этом он проснулся... Ирландцы спешно пили в соседней комнате утренний кофе и куда-то торопливо собирались. Дыма держался в стороне и не глядел на Матвея, а Матвей все старался вспомнить, что это ему говорил кто-то во сне, тер себе лоб и никак не мог припомнить ни одного слова. Потом, когда почти все разошлись и квартира Борка опустела, — он вдруг поднялся наверх, в комнату девушек.

Там он застал Джона. В последние дни молодой человек нередко заходил туда, просиживал по полчаса и более и что-то оживленно рассказывал Анне. На этот раз, поднимаясь по лестнице, Матвей опять услышал голос молодого человека.

— Ну, вот видите, — говорил он, — так-то здесь живут, в новом свете, что? Разве плохо?

Увидя Матвея, он скоро попрощался и выбежал, чтобы поспеть к поезду, а Матвей остался. Лицо его было немного бледно, глаза глядели печально, и Анна потупилась, ожидая, что он скажет. Обе девушки посмотрели на него как-то застенчиво, как будто невольно вспоминали об индейском ударе и боялись, что Лозинский догадается об этом. Он тяжело присел на постель, посмотрел на Анну немного растерянным взглядом и сказал:

— Хочешь ли ты, сирота, послушать, что тебе скажет Матвей Лозинский?

— Говорите, пожалуйста. Я вас считаю за родного, — тихо ответила девушка, которая старалась показать Матвею, что она не перестала уважать его после вчерашнего случая.

Матвей мучительно задумался и сказал:

— Мало хорошего в этой стороне, малютка. Поверь ты мне, — мало хорошего... Содом и Гоморра.

Роза невольно улыбнулась, но он говорил так печально, что у Анны навернулись на глаза слезы. Она подумала, что, по рассказам Джона, в Америке не так уж плохо, если только человек сумеет устроиться. Но она не возражала и сказала тихо:

— Что же теперь делать?

— А! Что делать! Если бы можно, надел бы я котомку на плечи, взял бы в руки палку, и пошли бы мы с тобой назад, в свою сторону, хотя бы Христовым именем... Лучше бы я стал стучаться в окна на своей стороне, лучше стал бы водить слепых, лучше издох бы где-нибудь на своей дороге... На дороге или в поле... на своей стороне. Но теперь этого нельзя, потому что...

Он потер себе лоб и сказал:

— Потому что море... А письма от Осипа не будет... И сидеть здесь сложа руки... ничего не высилим... Так вот, что я скажу тебе, сирота. Отведу я тебя к той барыне... к нашей... А сам посмотрю, на что здесь могут пригодиться здоровые руки... И если... если я здесь не пропаду, то жди меня... Я никогда еще не лгал в своей жизни и... если не пропаду, то приду за тобою...

— Нехорошо вы придумали! — горячо сказала на это молодая еврейка. — Мы эту барыню знаем... Она всегда старается нанимать приезжих.

— Бог наградит ее за это, — сказал Матвей сухо.

— Но это потому, — сбиваясь, сказала Роза, — что она платит очень мало...

— С голоду не уморит...

— И заставляет очень много работать.

— Бог любит труд...

Матвей посмотрел на Розу высокомерным и презрительным взглядом. Молодая еврейка хорошо знала этот взгляд христиан. Ей казалось, что она начала дружить с Анной, и даже питала симпатию к этому задумчивому волынцу с голубыми глазами. Но теперь она вспыхнула и сказала:

— Делайте, как себе хотите... — И она вышла из комнаты...

— Наше худое лучше здешнего хорошего, — сказал Матвей поучительно, обращаясь к Анне. — Собери свои вещи. Мы пойдем сегодня.

Анна вздохнула, однако покорно стала собирать. Матвею не понравилось, что, уходя из помещения мистера Борка, она крепко поцеловалась с еврейкой, точно с сестрой.

XV

В этот день наши опять шли по улицам Нью-Йорка, с узлами, как и в день приезда. Только в этот раз с ними не было Дымы, который давно расстался с своей белой свитой, держался с ирландцами и даже плохо знал, что затевают земляки. Зато Матвей и Анна остались точь-в-точь, как были: на нем была та же белая свита со шнурами, на ней — беленький платочек. Молодой Джон тоже считал очень глупым то, что надумал Матвей. Но, как американец, он не позволял себе мешаться в чужие дела и только посвистывал от досады, провожая Матвея и Анну.

Сначала шли пешком, потом пара лошадей потащила их в огромном вагоне, потом поднимались вверх и летели по воздуху. Из улицы в улицу — ехали долго. Пошли дома поменьше, попроще, улицы пошли прямые, широкие и тихие.

На одном углу наши вышли и пошли прямо. Если бы поменьше камня, да если бы кое-где из-под камня пробилась мурава, да если бы на середине улицы сидели ребята с задранными рубашонками, да если бы кое-где корова, да хоть один домишко, вросший окнами в землю и с провалившейся крышей, — то, думалось Матвею, улица походила бы, пожалуй, на нашу. Только здесь все дома были как один: все в три этажа, все с плоскими крышами, у всех одинаковые окна, одинаковые крылечки с одинаковым числом ступенек, одинаковые выступы и карнизы. Одним словом, вдоль улицы ряды домов стояли, как родные

братья-близнецы, — и только черный номер на матовом стекле, над дверью, отличал их один от другого.

Джон посмотрел в свою записную книжку, потом разыскал номер и прижал пуговку у двери. В квартире что-то затрещало. Дверь отворилась, и наши вошли в переднюю.

Старая барыня, ждавшая мужа, сама отперла дверь. Она, как оказалось, мыла полы. Очки у нее были вздернуты на лоб, на лице виднелся пот от усталости, и была она в одной рубашке и грязной юбке. Увидев пришедших, она оставила работу и вышла, чтобы переодеться.

— Смотри, — шепнул Матвей Анне, — вот как здесь живет нашим господам, — что уж говорить о простых людях!

— Ну, — ответил Джон, — вы еще не знаете этой стороны, мистер Мэтью. — И с этими словами он прошел в первую комнату, сел развязно на стул, а другой подвинул Анне.

Матвей строго посмотрел на невежливого молодого человека, и оба с Анной остались на ногах у порога. Матвей невзлюбил молодого еврея еще с тех пор, как говорил с ним о религии. А затем он не мог не заметить, что Джон частенько остается дома с сестрой, помогает девушкам по хозяйству и поглядывает на Анну. Нужно сказать, что девушка была хороша: голубые глаза, большие и ясные, кроткий взгляд, приветливая улыбка и нежное лицо, немного, правда, побледневшее от дороги и от неизвестности. Никто из бездельников, живших у Борка, ни разу не позволил себе с девушкой ни одной вольности. Однако, не считая Дымы, который вывертывался перед нею в своих диковинных пиджаках, — еще и Падди тоже старался всячески услужить ей, когда встречался в коридоре или на лестнице. А тут еще Джон и рассказы Борка о Мозесе... «Чего доброго, — думал Матвей, — ведь в этом Содоме никто не смотрит за такими делами. Вот Дыма — давний и испытанный приятель, но и у него характер совершенно изменился в какую-нибудь неделю. Что же может стать с молоденькой, неопытной девушкой, немного

еще, может быть, и легкомысленной, как все дочери Евы... Дурного, положим, она не сделает... Но ведь здесь и хорошее тоже ни черта не стоит, а девушка молода, неопытна и испугана».

Вспомнив вдобавок свой сон, Матвей даже вздохнул и оглянулся. Слава богу, — вот квартира старой барыни, которая возьмет к себе Анну. Все нравилось Матвею в этой квартире. В первой комнате стоял стол, покрытый скатертью, в соседней виднелась кровать под пологом, в углу большой знакомый образ Почаевской божией матери, которую в нашем Западном крае чтут одинаково католики и православные. За образом была воткнута восковая свеча и пучок сухих веток. Вербка не верба, а все-таки был виден наш обычай, и у Матвея стало теплее на сердце... Поэтому он сначала заложил руку за пояс и очень гордо посмотрел на молодого еврея... Но тотчас же ему пришлось смиренно согнуться почти до земли, потому что в комнату вошла барыня, одетая, с очками на носу, с вязанием в руках. Вид у нее был спокойный и даже величавый, так что Матвею было даже странно вспомнить, что он видел ее сейчас за мытьем полов. Она села на стул, досчитала петли, передернула спицу и сказала почтительно ожидавшим Матвею и Анне, не кивнув даже Джону:

— Ну, что скажете?

— К вашей милости, — ответили оба в один голос.

— Тебя, кажется, зовут Анной?..

— Анной, милостивая пани.

— А тебя... Матвеем?

Лицо Матвея расцвело приятной улыбкой.

— А что же тот... третий?..

Матвей махнул рукой:

— А! Не знаю уж, что и сказать... Поступил на службу или уж как... к какому-то здешнему... Тамани-голлу...

Барыня жалостно посмотрела на Матвея и покачала головой.

— Хороший господин, нечего сказать! Шайка мошенников!

— О господи, — вздохнул Лозинский.

— В этой стороне все наыворот, — сказала опять барыня. — У нас таких молодцов сажают в тюрьмы, а здесь они выбирают висельников в городские мэры, которые облагают честных людей налогами.

Матвей вспомнил, что и Дыма выбирал мэра, и вздохнул еще глубже. У барыни спицы забегали быстрее, — было видно, что она начинает чего-то сердиться...

— Ну, что же ты мне скажешь, моя милая? — спросила она как-то едко, обращаясь к Анне. — Ты пришла наниматься или, может быть, тоже поищешь себе какого-нибудь Тамани-голла?..

— Она — девушка честная, — вступился Матвей.

— А! Видела я за двадцать лет много честных девушек, которые через год, а то и меньше пропадали в этой проклятой стране. Сначала человек как человек: тихая, скромная, послушная, боится бога, работает и уважает старших. А потом... Смотришь, — начала задирать нос, потом обвешается лентами и тряпками, как ворона в павлиньих перьях, потом прибавляй ей жалованье, потом ей нужен отдых два раза в неделю... А потом уже барыня служи ей, а она хочет сидеть сложа руки...

— Господи упаси! Где же это видано!.. — сказал с ужасом Матвей.

Молодой Джон сидел на стуле, вытянув ноги и заложив руки в карманы, с видом человека, скужающего от этих разговоров.

— Ну, черт еще не так страшен, как его малюют, — сказал он...

Барыня замолкла, даже перестала вязать и устремила внимательный взгляд на Джона, который поднял беспечно голову к потолку, как будто разглядывая там что-то интересное. Несколько секунд стояло молчанье, барыня и Матвей укоризненно смотрели на молодого еврея. Анна покраснела.

— А все отчего? — начала опять барыня спокойно. — Все оттого, что в этой стране нет никакого порядка. Здесь жид Берко — уже не Берко, а мистер

Борк, а его сын Иоська превратился в ясновельможного Джона...

— Чистая правда, — сказал Матвей с убеждением. — Слышишь, Анна?

Девушка с некоторым удивлением посмотрела на Матвея и покраснела еще больше. Ей казалось, что хотя, конечно, Джон еврей и сидит немного дерзко, но что говорить так в глаза не следует...

— Да, все здесь перемешалось, как на Лысой горе, — продолжала барыня, — правду говорит один мой знакомый: этот новый свет как будто сорвался с петья и летит в преисподнюю...

— И это святая правда, — подтвердил Матвей.

— Я вижу, что ты человек разумный, — сказала барыня снисходительно, — и понимаешь это... То ли, сам скажи, у нас?.. Старый наш свет стоит себе спокойно... люди знают свое место... жид так жид, мужик так мужик, а барин так барин. Всякий смиренно понимает, кому что назначено от господина... Люди живут и славят бога...

— Ну, эту историю надо когда-нибудь кончить, — сказал Джон, поднимаясь.

— Ах, извините, мистер Джон, — усмехнулась барыня. — Ну, что ж, моя милая, надо и в самом деле кончать. Я возьму тебя, если сойдемся в цене... Только вперед предупреждаю, чтобы ты знала: я люблю все делать по-своему, как у нас, а не по-здешнему.

— Это и всего лучше, — вставил Матвей.

— Я за тебя отвечаю перед людьми и перед богом. По воскресеньям мы станем вместе ходить в храм божий, а на эти митинги и балы — ни ногой.

— Слушай барыню, Анна, — сказал Матвей. — Барыня тебя худому не научит... И уж она не обидит сироту.

— Пятнадцать долларов в месяц считается здесь совсем низкой платой, — сказал Джон, глядя на часы, — пятнадцать долларов, отдельная комната и свободный день в неделю.

Барыня, все так же спокойно продолжая вязанье,

кинула на Джона уничтожающий взгляд и сказала Анне:

— Знаешь ты, что значит доллар?

— А это два рубля, милостивая госпожа, — ответил за Анну Матвей.

— Ты служила уже где-нибудь?

— Служила... горничной у госпожи Залесской.

— Сколько получала?

— Шесть рублей.

— Много что-то для нашей стороны, — вздохнула барыня. — В мое время такой платы не знали... А здесь, если хочешь получить тридцать, — то поди вот к нему. Он тебе даст тридцать рублей, отдельную комнату и сколько хочешь свободного времени... днем...

Краска опять залила лицо Анны, а барыня, посмотрев на нее поверх очков, прибавила, обращаясь к Матвею:

— Недалеко ходить: на этой же улице живет христианская девушка у еврея. И уже бог благословил их ребеночком.

— Вы же знаете, что они обвенчаны, — сказал Джон сердито.

— Обвенчаны, конечно!.. Кто же их это обвенчал, скажи, пожалуйста?

— Их обвенчали в мэрии, вы знаете.

— Ну, вот видите, — обратилась барыня к Матвею. — Они это называют венчанием...

Матвей с ненавистью взглянул на еврея и сказал:

— Девушка останется у вас.

И потом, посмотрев на Анну, он добавил мягким тоном:

— Она, сударыня, круглая сирота... Грех ее обидеть.

Барыня, перебирая спицы, кивнула головой. Между тем Джон, которому очень не понравилось все это, а также и обращение с ним Матвея, надел шляпу и пошел к двери, не говоря ни слова. Матвей увидел, что этот неприятный молодой человек готов уйти без него, и тоже заторопился. Наскоро попрощавшись с Анной и поцеловав у барыни руку, он кинулся к двери, но еще раз остановился.

— А что... извините... я спросил бы у вас?

— Что такое?

— Не найдется ли и мне у вас местечка? За дешевую плату... Может, по двору, в огороде или около лошади? Угла бы я у вас где-нибудь в сарае не пролежал и цену бы взял пустую. А?.. Чтобы только не издохнуть...

— Нет, милый. Какие огороды! Какие лошади! Здесь сенаторы садятся за пять центов в общественный вагон рядом с последним оборванцем...

— Ну, прошу прощения... А где же?..

И, не окончив, Матвей торопливо выбежал на крыльцо, чтобы не потерять из виду Джона.

XVI

На крыльце неприятного молодого человека уже не было, но кто-то мелькнул за углом. Матвей побежал туда, хотя ему и показалось, что это в другой стороне. Повернув еще за угол, он догнал шедшего человека, но в этой стороне люди, как и дома, похожи друг на друга. На незнакомце был такой же котелок на голове, такая же тросточка в руках, такая же походка, как и у Джона, но лицо человека, повернувшегося к Матвею, было совсем чужое, удивленное и незнакомое. Матвей остолбенел и провожал взглядом уходившего незнакомца; а на Матвея с обеих сторон улицы глядели занавешенные окна домов, похожих друг на друга, как две капли воды.

Матвей попробовал вернуться. Он еще не понимал хорошенько, что такое с ним случилось, но сердце у него застучало в груди, а потом начало как будто падать. Улица, на которой он стоял, была точь-в-точь такая, как и та, где был дом старой барыни. Только занавески в окнах были опущены на правой стороне, а тени от домов тянулись на левой. Он прошел квартал, постоял у другого угла, оглянувшись, вернулся опять и начал тихо удаляться, все оглядываясь, точно его тянуло к месту или на ногах у него были пудовые гири.

А в это время молодого Джона зазрила совесть,

что он так невежливо бросил Матвея. Он быстро вернулся, позвонил и довольно сердито попросил выслать Лозинского, потому что ему некогда ждать: время — деньги.

Старая барыня посмотрела на него с удивлением, Анна, которая успела уже снести свой узел в кухню и, поддержув подол юбки, принималась за мытье пола, покинутого барыней, — наскоро оправившись, тоже выбежала к Джону. Все трое стояли на крыльце и смотрели и направо и налево. Никого не было видно, похожего на Матвея, на тихой улице.

— Ну, он, верно, пошел на станцию другой дорогой, — сказал Джон.

Анна недоверчиво покачала головой.

— Нет, — сказала она, — он не знает здесь никакой дороги.

Она посмотрела на улицу, на ряды однообразных домов, и на глазах у нее появились слезы.

— Ну, милая, — сказала барыня, — глядеть теперь нечего... Ничего не высмотришь... Да и не за тем я взяла тебя... Там пол стоит неумытый.

— Может быть... он вернется? — сказала Анна.

— Что же! Ты так и будешь стоять тут до вечера? — спросила барыня, уже немного раздражаясь.

— Он у меня один только близкий человек в этой стороне, — произнесла Анна тихо.

— Ну, и слава богу, что только один, — ответила барыня. — Для молодой девушки и одного слишком много.

Анна кинула последний взгляд на улицу. За углом мелькнула фигура Джона, расспрашивавшего какого-то прохожего. Потом и он исчез. Улица опустела. Анна вспомнила, что она не оставила себе даже адреса мистера Борка и что она теперь так же потеряна здесь, как и Матвей.

Вскоре дверь за нею захлопнулась, и дом старой барыни, недавно еще встревоженный, стоявший с открытою дверью и с людьми на крыльце, которые останавливали расспросами прохожих, — опять стал в ряд других, ничем не отличаясь от соседей; та же дверь с матовым стеклом и черный номер: 1235.

Между тем недалеко в переулке один из прохожих, которого расспрашивал Джон, наткнулся на странного человека, который шел, точно тащил на плечах невидимую тяжесть, и все озирался. Американец ласково взял его за рукав, подвел к углу и указал вдоль улицы.

— Тэрти-файф, тэрти-файф (тридцать пятый), — сказал он ласково, и после этого, вполне уверенный, что с таким точным указанием нельзя уже сбиться, побежал по своему спешному делу, а Матвей подумал, оглянулся и, подойдя к ближайшему дому, позвонил. Дверь открыла незнакомая женщина с лицом в морщинах и с черными буклями по бокам головы. Она что-то сердито спросила — и захлопнула дверь.

То же случилось в следующем доме, то же в третьем. На углу он подумал, что надо повернуть, и он повернул, опять повернул и, увидя фонтан, мимо которого, как ему казалось, они проходили час назад, повернул еще раз. Перед ним вновь была такая же улица, только тени опять перебросились на правую сторону, а солнце прямо било в занавески на левой... Издали, точно где-то за горой, храпел поезд... Матвей остановился на середине улицы, как барка, которую сорвало с причала и несет куда-то по течению, и, без надежды найти жилье старой барыни, пошел туда, откуда слышался шум. А в это время по улице, через которую только что прошел лозищанин, опять пробежал молодой Джон, совсем встревоженный и огорченный. № 1235 опять отворился, и опять на крыльце стояли две женщины с молодым человеком, советуясь и озираясь кругом. У Анны на глазах стояли слезы, Джон сконфуженно пожимал плечами.

Поздно вечером, заплаканная и грустная, Анна кончила работу своего первого дня на службе. Работы было много, так как более двух недель уже барыня обходилась без прислуги. Вдобавок в этот день у барыни обыкновенно вечером играли в карты жильцы ее и гости. Засиделись далеко за полночь, и Анна, усталая и печальная, ждала в соседней комнате, чтобы быть готовой на первый зов.

Расходясь, гости благодарили хозяйку за приятный вечер.

— А! Право, только у вас и почувствуешь себя иной раз точно на родине, — сказал один из гостей, целуя у хозяйки руку. — И как вы это все умеете устроить?

— О, она у меня истинная волшебница! — сказал с гордостью муж старой барыни, человек круглый, седой, с пробритой в середине бородкой и торчавшими по бокам седыми баками. — А заметили вы новую горшечную?

— Как не заметить. Наверное, из наших стран. Такие хорошие, покорные глаза. О, наш народ еще не испорчен.

— Скажите лучше: не весь еще испорчен. Есть уже и у нас эти карикатуры на господ. Даже в деревню уже проникает пиджак, заменяя живописные костюмы простого народа.

— Да! А девушка действительно приятная; нет этого вызывающего нахальства, этого... как бы сказать... Ну, одним словом, приятно, когда видишь человека, занимающего свое место.

— Надолго ли только! — вздохнула барыня. — Портится все это здесь необыкновенно скоро. И не знаешь просто откуда.

— В воздухе, в воздухе... вроде эпидемии, — сказал один из жильцов, весело засмеявшись... И, проходя в свою комнату, он благосклонно уцепил Анну за подбородок...

А в бординг-гоузе * мистера Борка в этот вечер долго стоял шум. Несмотря на то, что у Дымы испортился характер, ему теперь было очень совестно и жалко Матвея, и он чувствовал себя виноватым. Отправляясь на чужую сторону, они сговорились жить или пропадать вместе. Голова — Дымы; сила, руки и ноги — Матвея. Теперь ноги одни ходили по свету в то время, как голова путалась с чужими людьми. Совість Дымы проснулась, Дыма кричал, Дыма проклинал Джона, себя и своих приятелей и даже толкнул Падди, когда тот сунулся с какой-то шуткой. Падди обиделся и вызвал Дыму на едино-

борство. Дыма сначала послал его к черту; но Падди пустил ему немного крови из носа. — тогда он сам стал совать руками, куда попало... Чувствуя, однако, что и голове приходится плохо без сильной руки то-варища, он схватил стул, стал кричать, что ему на-плевать на все правила, и сильно уронил себя во мнении Падди... Ночью он вскакивал с постели и даже плакал.

Но это, конечно, не помогло. Приятель потонул в огромном городе, точно иголка на пыльном проез-жем шляху...

XVII

Впоследствии, по причинам, которые мы изложим дальше, Матвей Лозинский из Лозиншей стал на не-сколько дней самым знаменитым человеком города Нью-Йорка, и каждый шаг его в эти дни был про-слежен очень точно. Прежде всего человека в стран-ной белой одежде видели идущим на 4 avenue¹, по-том он долго шел пешком под настилкой воздушной дороги, к Бруклинскому мосту. Казалось, его тянуло туда, где люднее и гуще. На углу Бродвея и какого-то переулка он вошел в булочную и, указав на огром-ный кусок белого хлеба, протянул руку с деньгами на ладони. Он говорил что-то продавцу-немцу и да-же, когда тот отдавал сдачу, старался схватить его за руку и тянулся к ней губами. Немец вырвал руки и занялся другими покупателями. Человек постоял, посмотрел на булочника грустными глазами, пытался еще говорить что-то и вышел на улицу.

Это был час выхода вечерних газет. На небольшой площадке, неслдалеке от огромного здания газеты «Тribune», странный человек зачерпнул воды у фонтана и стал ее с большой жадностью, не обращая внимания на то, что в грязном водоеме два маленьких оборванца плавали и ныряли за никелевыми и мед-ными монетками, которые им на потеху кидали про-хожие. Бесчисленное количество газетных мальчишек,

¹ Проспект (англ.). — Прим. ред.

ожидавших выхода номера и развлекавшихся пока чем попало, разделили свое внимание между этими водолазами и странно одетым человеком, которого они засыпали целой тучей звонких острот. В это время через площадку проходил газетный репортер-иллюстратор и наскоро набросал эту сцену в своей книжке. Без сомнения, если бы этот джентльмен мог провидеть будущее, он постарался бы сделать свой рисунок как можно точнее. Но, во-первых, он очень торопился, и ему пришлось поэтому заканчивать набросок с памяти, а во-вторых, он был введен в заблуждение присутствием нырявших мальчишек, которых причислил к семейству незнакомца. Наконец, он не знал, на что, собственно, может пригодиться его эскиз, так как странный незнакомец не мог ответить ничего на самые обыкновенные вопросы.

— Your nation? — спросил репортер, желая узнать, какой Матвей нации.

— Как мне найти мистера Борка? — ответил тот.

— Your name (ваше имя)?

— Он тут где-то... имеет помещение. Наш... могилевский жид.

— How do you like this country? — Это значило, что репортер желал знать, как Матвею понравилась эта страна, — вопрос, который, по наблюдениям репортеров, обязаны понимать решительно все иностранцы...

Но незнакомец не ответил, только глядел на газетного джентльмена с такою грустью, что ему стало неловко. Он прекратил расспросы, ободрительно хлопал Матвея по плечу и сказал:

— Very well! Это очень хорошо для вас, что вы сюда приехали: Америка — лучшая страна в мире. Нью-Йорк — лучший город в Америке. Ваши милые дети станут здесь когда-нибудь образованными людьми. Я должен только заметить, что полиция не любит, чтобы детей купали в городских бассейнах.

Затем, с «талантом, отличающим карандаш этого джентльмена», он украсил на рисунке свитку лозинанина несколькими фантастическими узорами, из его волос, буйных, нестриженных и слипшихся, сде-

лал одно целое вместе с бараньей шапкой и, наконец, всю эту странную прическу, по внезапному и слишком торопливому вдохновению, перевязал тесьмой или лентой. Рост Матвея он прибавил еще на четверть аршина, а у его ног, в водоеме, поместил двух младенцев, напоминавших чертами предполагаемого родителя.

Все это он наскоро снабдил надписью: *«Дикарь, купающий своих детей в водоеме на Бродвее»*, и затем, сунув книжку в карман и оставляя до будущего времени вопрос о том, можно ли сделать что-либо полезное из такого фантастического сюжета, — он торопливо отправился в редакцию.

Как раз в эту минуту вышло вечернее прибавление, и все внимание площадки и прилегающих переулков обратилось к небольшому балкону, висевшему над улицей, на стене Tribune-building (дом газеты «Трибуна»). На этот балкончик выходили люди с кипами газет, брали у толпившихся внизу мальчишек, запрудивших весь переулок, их марки, а взамен кидали им кипы газет. Минут в двадцать все было кончено. Сотни мальчишек мчали во все стороны десятки тысяч номеров, и их звонкие крики разносились с этого места по огромному городу.

На площадке остался только лозншанин, да два оборванца вылавливали в водоеме последние монеты. Вскоре туда же подошел еще высокий господин в партикулярном платье*, в серой большой шляпе в виде шлема и с короткою палкой в руке, вроде гетманской булавы, украшенной цветным шнурком и кистями. Это был полисмен Гопкинс, лицо, хорошо известное всему Нью-Йорку. Полисмен Гопкинс, как сообщалось в тех же газетных заметках, из которых я узнал эту часть моей достоверной истории, был прежде довольно искусным боксером, на которого ставились значительные пари. Однако в последние годы ему пришлось испытать несколько крупных превратностей, связанных с этой профессией, а одна из них сопровождалась даже раздроблением носовых хрящей, потребовавших серьезного лечения. Это побудило мистера Гопкинса к перемене рода занятий.

Физические данные и любовь к сильным ощущениям решили его выбор, и он предложил свои услуги директору полиции в качестве полисмена. Само собою разумеется, что услуги были охотно приняты, так как времена наступали довольно бурные: участились стачки и митинги безработных («которыми, — как писала одна благомыслящая газета, — эта цветущая страна обязана коварной агитации завистливых иностранцев»), и все это открывало новое поле природным талантам мистера Гопкинса и его склонности к физическим упражнениям более или менее рискованного свойства. Увесистый «клуб» из ясеня или дуба дает вдобавок решительное преимущество полисмену перед любым боксером, и имя мистера Гопкинса опять стало часто мелькать в хронике газет. «Полисмен Гопкинс, известный неумеренным употреблением клуба», — писали о нем рабочие газеты. Зато другие отмечали с восторгом, что «клуб полисмена Гопкинса, как всегда, отбивал барабанную дробь на головах анархистов».

Случай пожелал, чтобы дороги знаменитого полисмена и бедного лозингшанина встретились два раза. В первый раз это произошло именно у описанного фонтана. Мистер Гопкинс шел мимо, как всегда величаво и важно, играя на ходу своим клубом, и его внимательный взгляд остановился на странной фигуре неизвестного иностранца. «Не видя, однако, законных причин для какого бы то ни было личного воздействия», — так рассказывал впоследствии Гопкинс газетным интервьюерам, — он решил только подойти поближе для внимательного осмотра. Но тут незнакомец удивил его своим непонятным поведением: «Сняв с головы свой странный головной убор (по-видимому, из бараньего меха), он согнул стан таким образом, что голова его пришлась вровень с поясом Гопкинса, и, внезапно поймав одной рукой его руку, потянулся к ней губами с неизвестною целью. Гопкинс не может сказать наверное, что незнакомец хотел укусить его за руку, но не может и отрицать этого».

Вопрос остался невыясненным, так как в это

мгновение над поверхностью водоема появились внезапно головы двух водолазов. Они нырнули при появлении Гопкинса и теперь опять вынырнули в надежде, что он уже прошел. Это было уже явное нарушение правил благочиния. Полисмен тотчас же взял обоих мальчишек за шивороты, поднял их высоко над землей и стал встряхивать, точно две мокрые тряпички. Вид у него в это время был величавый и грозный, и как раз в эту же минуту через площадь пробежал прежний торопливый репортер. Он остановился, быстро набросал около прежней фигуры лозичанина фигуру мистера Гопкинса с двумя дикаренками в руках и прибавил надпись:

«Полисмен Гопкинс объясняет дикарю, что купание детей в городских водоемах не согласно с законами этой страны».

Затем, сунув книжку в карман, он ринулся со всех ног к вагону канатной дороги, чтобы поспеть на пожар. В его голове мелькал уже план целой заметки: «Известно, что наш город, величайший в мире, привлекает к себе пришельцев из отдаленнейших частей света. На днях мы имели случай наблюдать, как один из этих дикарей...»

Вагон канатной дороги умчал талантливого человека вместе с этим началом, а мистер Гопкинс поставил мальчишек на мостовую, дал им по легонькому шлепку при одобрительном смехе проходящих и затем повернулся к незнакомцу. Очень может быть, что мистеру Гопкинсу удалось бы лучше выяснить национальность незнакомца, а также и то, «как ему нравится эта страна»... Может быть, даже Матвей в тот же вечер попал бы в объятия Дымы, который весь день бегал с Падди по городу, — если бы... в то время, пока Гопкинс возился с мальчишками, лозичанин не скрылся...

По всему поведению Гопкинса он понял, что это полицейский и даже, по-видимому, не из последних. А эта мысль тотчас же привела за собой другую: Матвей вспомнил, что его паспорт остался в квартире Борка... А так как он не знал, что в этой стране даже не понимают хорошенько, что такое паспорт,

то его подрало по спине. Сначала он попятился немного назад, потом еще, а потом, — как у нас говорится, — взял ноги за пояс и пошел, не оглядываясь, прочь. С тяжелой мыслью в голове, что вот он теперь, вдобавок ко всему, стал в этой стороне бес-✓паспортным бродягой, он смешался с густой толпой на Бродвее.

XVIII

Тут еще раз лозищанина приласкала надежда. Когда он шел по людной улице, кто-то тронул его за рукав тихо и ласково. Рядом с ним стоял негр и что-то говорил ему, указывая рукою на стул, который стоял тут же, на панели. Черное, лоснящееся лицо, красные губы, сверкающие белки и выющиеся волосы негра показались Матвею как будто знакомыми. Он даже подумал, не один ли это из тех бездельников, которые приставали к нему на улице в первый день приезда. Но что же ему нужно теперь? А может быть, он узнал Матвея, может быть, он знает Борка и Дыму, может быть, он видел, что они ищут его по всему городу, и предлагает подождать здесь, а сам пошлет кого-нибудь за приятелями Матвея?

Действительно, сажая Матвея на стул, негр сказал что-то своему мальчишке, и тот внезапно куда-то провалился. Очевидно, побежал за Дымой или Борком. Матвей радостно сел и кивнул негру головой. Лицо черного человека теперь ему очень понравилось: глаза грустные и ласковые, губы добрые. Правда, некрасив и черен, зато приветлив и услужлив. Он тоже кивнул Матвею головой, присел у его ног и вздумал пока что почистить Матвею сапоги. Матвей сначала противился, а потом подумал, что всякие есть обычаи на свете, пожалуй, как бы негр не обиделся. И он согласился исполнить желание доброго человека, тем более, что действительно сапоги совсем порыжели за дорогу. Негр все так же ласково стал тереть ноги Матвея щетками, мазал сапоги ваксой, плевал, дышал и опять тер. Минут через пять сапоги Матвея стали как зеркало. Матвей кивнул головой и опять уселся на стул поудобнее, но негр взял его за рукав

и показал большим пальцем на ладонь. Матвей понял, что негр просит «на водку», сошел со стула и полез в карман.

— И стоит, — сказал он громко. — Верно, что стоит. За такую услугу не знаю, чего бы человек не отдал.

И он вынул из кармана две монеты. Негр взял лишь одну.

— Бери еще, — сказал Матвей добродушно.

Негр покачал головой. «Вот ведь какой честный народ», — подумал Матвей и опять хотел взгромоздиться на стул, но в это время какой-то господин сел раньше его, а прибежавший мальчишка принес негру кружку пива. Негр стал пить пиво, а мальчишка принялся ваксить сапоги новоприбывшего американца. Волосы у Матвея стали подыматься под шапкой.

— А Дыма, а Борк? — спросил он, обращаясь к старшему негру.

Тот повернулся, поглядел на Матвея, потом указал на его сапоги и сказал:

— Уэлл (хорошо).

— Уэлл, — вспомнил Матвей объяснение Дымы. — Это значит «очень хорошо». Что же тут хорошего? А, проклятый! Он говорит, что хорошо вычистил мои сапоги. Ему только этого и было нужно...

«Собака ты, черная собака, — подумал он с горечью. — Человек на тебя надеялся, как на друга, как на брата... как на родного отца! Ты мне казался небесным ангелом. А вместо всего — ты только вычистил мои сапоги...»

И бедный человек пошел дальше. Сапоги его блестели, как зеркало, но на душе стало еще темнее...

ХІХ

Так вышел он на берег залива. Круглая площадка, на ней — небольшой садик, над головами прохожих вьется по столбам дорога, по дороге пробежал поезд, изогнулся над самым заливом и побежал дальше берегом, скрывшись за углом серого дома и ки-

нувши на воду клуб черного дыма. Матвей сел на скамью и стал смотреть на залив. Вода колыбалась, искрилась, сверкала. Невдалеке свистнул пароход и отбежал от берега, нагруженный народом. Глаза Матвея побежали невольно за ним. Пароходик бежал прямо к острову, на котором стояла знакомая медная женщина. Мимо острова в это самое время тихо проплывал гигантский корабль, такой же, как и тот, на котором приехали лозищане. Распущенный флаг плескался по ветру и, казалось, стлался у ног медной женщины, которая держала над ним свой факел... Матвей смотрел, как европейский корабль тихо расталкивает свою грудь волны, и на глаза его просились слезы... Как недавно еще он с такого же корабля глядел до самого рассвета на эту статую, пока на ней угасли огни и лучи солнца начинали золотить ее голову... А Анна тихо спала, склонясь на свой узел...

Невдалеке от этого места стоит круглое невысокое здание, вроде цирка. Теперь это здание уже заколочено, а прежде, еще недавно, здесь получали приют эмигранты из Европы, приезжавшие на эмигрантских пароходах. Если бы Матвей знал это, то, наверное, подошел бы поближе. А если бы подошел, то мог бы увидеть, как из ворот, веселая и нарядная, выходила его сестра Катерина об руку с Осипом Лозинским. Осип одет, как господин, так же, как оделся Дыма, только на Осипе все уже облежалось и не торчит, как на корове седло. Они вышли и пошли берегом, направо, к пристаням, в надежде, что, может быть, Матвей и Дыма приехали на том эмигрантском корабле из Германии, который только что проплыл мимо «Свободы». А в это время Матвей поднялся и пошел налево, вдоль берега, за убежавшим поездом.

Часа в четыре странного человека видели опять у моста. Только что прошел мостовой поезд, локомотив делал поворот по кругу, с лестницы сходила целая толпа приехавших с той стороны американцев — и они обратили внимание на странного человека, который, стоя в середине этого людского потока, кричал:

— Кто в бога верует, спасите!

Но, разумеется, никто его не понял. Если бы так крикнул кто теперь в большом американском городе, то, наверное, ему отозвался бы кто-нибудь из толпы, потому что в последние годы корабль за кораблем привозит множество наших: поляков, духоборов, евреев. Они расходятся отсюда по всему побережью, пробуют пахать землю в колониях, занимаются в приказчики, работают на фабриках. Иным удастся, иные богатеют, иные пристраиваются к земле, и тогда через несколько лет уже не узнаешь еврейских мальчиков, вырастающих в здоровых фермерских работниках. Но многие также терпят неудачи; тогда, обедневшие и испуганные, они опять кидаются в города, цепляются за прежнюю жизнь. Кто разложит на тележке плохие ножки и замочки, кто торгует с рук разной мелочью, кто носит книжки с картинками Нью-Йорка, Ниагары, великой дороги, кто бегаёт на побегушках у своей братии и приезжих. Идет такой бедняга с дрянным товаром, порой со спичками, только бы прикрыть чем-нибудь свое нищенство, идет лохматый, оборванный и грязный, с потускневшими и грустными глазами, и по всему сразу узнаешь нашего еврея, только еще более несчастного на чужой стороне, где жизнь дороже, а удача встречает не всех.

Но тогда их было еще не так много, и на несчастье Матвея ему не встретилось ни одного, когда он стоял среди толпы и кричал, как человек, который тонет. Американцы останавливались, взглядывали с удивлением на странного человека и шли дальше... А когда опять к этому месту стал подходить полисмен, то Лозинский опять быстро пошел от него и скрылся на мосту...

За мостом он пошел все прямо по улицам Бруклина. Он ждал, что за рекой кончится этот проклятый город и начнутся поля, но ему пришлось идти часа три, пока, наконец, дома стали меньше и между ними, на больших расстояниях, потянулись деревья.

Лозинский вздохнул полной грудью и стал жадными глазами искать полей с желтыми хлебами или лугов с зеленой травой. Он рассчитал, что, по-нашему,

теперь травы уже поспели для косьбы, а хлеба должны наливаться, и думал про себя:

«А! Подойду к первому, возьму косу из рук, взмахну раз-другой, так тут уже и без языка поймут, с каким человеком имеют дело... Да и народ, работающий около земли, должен быть проще, а паспорта навсрное не спросят в деревне. Только когда, наконец, кончится этот проклятый город?..»

Теперь по бокам дороги пошли уже скромные коттеджи в один и два этажа, на иных висели скромные вывески, как на наших лавках,—по дверям и в окнах. Сады становились все чаще, дома все те же, мощеная дорога лежала прямо, точно разостланная на земле холстина, над которой с обеих сторон склонились зеленые деревья. Порой на дороге показывался вагон, как темная коробочка, мелькал в солнечных пятнах, вырастал и прокатывался мимо, и вдали появлялся другой... Порой казалось, что вот-вот сейчас все это кончится и откроется даль с шоссейной дорогой, которая бежит по полям, с одним рядом телеграфных столбов, с одинокой почтовой тележкой и с морем спелых хлебов по сторонам, до самого горизонта. А там светлая речка, мостик, лужок — и приветливый деревенский народ на работе...

Но вместо этого внезапно целая куча домов опять выступала из-за зелени, и Матвей опять попадал как будто в новый город; порой даже среди скромных коттеджей опять подымались гордые дома в шесть и семь этажей, а через несколько минут опять маленькие домики и такая же дорога, как будто этот город не может кончиться, как будто он занял уже весь свет...

И все здесь было незнакомо, все не наше. Кое-где в садах стояла странная зелень, что-то вилось по тычинкам, связанным дугами, — и, приглядевшись, Матвей увидел кисти винограда...

Наконец в стороне мелькнул меж ветвей кусок черной, как бархат, пашни. Матвей быстро кинулся туда и стал смотреть с дороги из-за деревьев...

Но то, что он здесь увидел, облило кровью его сердце. Это был кусок плоского поля, десятин в пятнадцать, огороженного не плетнем, не тыном, не жер-

дями, а железной проволокой с колючками. На одном краю этого поля дымилась труба завода, закопченно-го и черного. На другом стоял локомотив — красивая и сверкающая машина на колесах. Маховое колесо быстро вертелось, суетливо стучали поршни, белый пар вырывался тоненькой, хлопотливой и прерывистой струйкой. Тут же, мерно волнуясь, плыл в воздухе приводной канат. Проследив его глазом, Матвей увидел, что с другого конца пашни, как животное, сердито взрывая землю, ползет железная машина и грызет, и роет, и отваливает широкую борозду чернозема.

Матвей перекрестился. Всякое дыхание да хвалит господу! На что же теперь может пригодиться в этой стороне деревенский человек, вот такой пахарь, как Матвей Лозинский, на что нужна умная лошадь, почтенный вол, твердая рука, верный глаз и споровка? И что же он станет делать в этой стороне, если здесь так пашут землю?

Несколько человек следили за этой работой. Может быть, они пробовали машину, а может быть, обрабатывали поле, но только ни один не был похож на нашего пахаря. Матвей пошел от них в другую сторону, где сквозь зелень блеснула вода...

Он жадно наклонился к ней, но вода была соленая. Это уже было взморье — два-три паруса виднелись между берегом и островом. А там, где остров кончался, над линией воды тянулся чуть видный дымок парохода. Матвей упал на землю, на береговом откосе, на самом краю американской земли, и жадными, воспаленными, сухими глазами смотрел туда, где за морем осталась вся его жизнь. А дымок парохода тихонько таял, таял и, наконец, исчез...

Между тем за островом село солнце. Волна за волной тихо набегала на берег, и пена их становилась белее, а волны темнели. Матвею казалось, что он спит, что это во сне плещутся эти странные волны, угасает заря, полный месяц, большой и задумчивый, повис в вечерней мгле, лиловой, прозрачной и легкой... Волны все бежали и плескались, а на их верхушках, закругленных и зыбких, играли то белая пена, то пе-

релизы глубокого синего неба, то серебристые отблески месяца, то, наконец, красные огни фонарей, которые какой-то человек, сновавший по воде в легкой лодке, зажигал зачем-то в разных местах над морем...

Потом, опять будто во сне, послышались голоса, крики, звонкий смех. Несколько мужчин, женщин и девушек, в странных костюмах, с обнаженными руками и ногами до колен, появились из маленьких деревянных будок, построенных на берегу, и, взявшись за руки, кинулись со смехом в волны, расплескивая воду, которая брызгала у них из-под ног тяжелыми каплями, точно расплавленное золото. Еще сильнее закачались зыбкие гребни, еще быстрее запрыгали в воде огни, перемешиваясь с цветными клочками неба и месяца, а лодки под фонарями, черные, точно из цельного угля, забились и запрыгали на вершушках...

Матвею все казалось, что он спит или грезит. Чужое небо, незнакомая красота чужой природы чужое, непонятное веселье, чужой закат и чужое море — все это расслабляло его усталую душу...

— Господи Иисусе, святая дева... Всякое дыхание... Помилуй меня грешного.

Потихоньку бормотание странного человека стихало.

Он действительно спал, откинувшись на спину, на откосе...

XX

Проснулся он внезапно, точно кто толкнул его в бок, вскочил и, не отдавая себе отчета, куда и зачем, пошел опять по дороге. Море совсем угасло, на берегу никого не было, дорога тоже была пуста. Коттеджи спали, освещаемые месяцем сверху, спали также высокие незнакомые деревья с густой, тяжелой зеленью, спало недопаханное квадратное поле, огороженное проволокой, спала прямая дорога, белевшая и искрившаяся бледною полоской...

Послышался звон. Вагон вынырнул на свет из тени

деревьев и, вздрагивая, позванивая, гудя, как ночной жук, пробежал мимо. Матвей посмотрел ему вслед. Лошадей не было, не было ни трубы, ни дыма, ни пара. Только наверху, откинувшись спереди назад, точно щупальце этого странного животного из стекла, железа и дерева, торчал железный стержень с утолщением на конце. Он как будто хватался вверху за тонкую проволоку, чуть видную в темном воздухе, и всякий раз, как ему встречался узел, на его вершухе вспыхивала яркая, синеватая искра.

Вагон уменьшался, стихал его гудящий звон, и искорки бледнели и угасали вдаль, а из тени уже подходил другой, также гудя и позванивая.

Это, должно быть, был уже последний и шел почти пустой. Полусонный кондуктор, заметив одинокую фигуру на дороге, позвонил; вагон задрожал, заскрежетал на рельсах и замедлил ход. Кондуктор наклонился, взял Лозинского под локоть и посадил на скамью. Лозинский подал монету, раздался металлический звонок счетчика, и вагон опять покатился, а мимо убегали назад коттеджи, сады, переулки, улицы. Сначала все это спало или засыпало. Потом как будто пробуждалось, гремело, говорило, светилось. На небе разливалось зарево. Замелькали окна, уходя все выше и выше к небу.

— Бридж (мост), — сказал кондуктор. Матвей вышел, сожалея, что нельзя ехать таким образом вечно. Перед ним зияло опять, точно пещера, устье Бруклинского моста. Вверху, пыхтя опять завернулся локомотив и подхватил поезд. В левой стороне вкатывались вагоны канатной дороги, справа выбегали другие, а рядом въезжали фургоны и шли редкие пешеходы...

Дойдя до половины моста, Матвей остановился. В ушах у него шумело, в голове что-то ворочалось. Мимо бежали поезда, вагоны, коляски, мост гудел, и было страшно слушать тонкие свистки пароходов, долетавшие снизу, — так они казались далеко и глубоко, в какой-то бездне, переполненной снующими огоньками... А в небо уходили два гигантских пролета, с которых спускались канаты невиданной толщины.

Целая сеть железных стержней, которые казались Матвею с корабля такой красивой паутинкой, тянулась от канатов, поддерживая мост на весу. Из-за них едва можно было разглядеть реку, сливавшуюся с заливом в одно серебристое сияние, в котором утопали и из которого виднелись опять огни пароходов. И дальше тысячи огней, как звезды, висели над водой, уходя вдаль, туда, где новые огни горели в Нью-Джерси. И среди всего этого моря огня, вдалеке, острые глаза Матвея едва различили круглую огненную диадему и факел «Свободы». Ему казалось, что он видит в синеватом свете и голову медной женщины и поднятую руку. Но это уже светилось слабо, чуть-чуть мерцая, как недавние дни с мечтами о счастье на чужой стороне...

В черной громаде пролета, точно нора, светилось оконце мостового сторожа, и сам он, как ничтожный светляк, выполз из этой норы с фонарем. Он тотчас же увидел на мосту иностранца, а это всегда нравится американцу. Сторож похлопал Матвея по плечу и сказал несколько одобрительных слов.

— Нельзя ли у тебя переночевать? — спросил Матвей усталым голосом.

— О уэлл! — ответил тот по-своему и стал объяснять Матвею, что Америка больше всего остального света, — это известно. Нью-Йорк — самый большой город Америки, а этот мост — самый большой в Нью-Йорке. Из этого Матвей, если бы понимал слова сторожа, мог бы заключить, чего стоят остальные мостишки перед этим.

Потом сторож поглядел в глаза странного человека, прочел в них тоску вместо удивления, и мысли его приняли другое направление... Конечно, если уже человеку жизнь не мила, то, пожалуй, лестно кинуться с самого большого моста в свете, но, во-первых, это трудно: не перелезешь через эту сеть проволок и канатов, а во-вторых, мост построен совсем не для того. Все это сторож объявил Матвею, а затем довольно решительно повернул его и стал провожать, поталкивая сзади. Впрочем, странный человек пошел покорно, как заведенная машина, туда, где над городом

стояло зарево и, точно венец, плавало в воздухе кольцо электрических огней над зданием газетного дома...

За мостом он уже без приглашения кондуктора взобрался в вагон, на котором стояла надпись: «Central park». Спокойное сидение и ровный бег вагона манили невольно бесприютного человека, а куда ехать, ему было теперь все равно. Только бы ехать, чем дальше, тем лучше, не думая ни о чем, давая отдых усталым ногам, пока дремота налетает вместе с ровным постукиванием колес...

Ему было очень неприятно, когда постукивание вдруг прекратилось, и перед ним стал кондуктор, взявший его за рукав. Он опять вынул деньги, но кондуктор сказал: «No», — и показал рукой, что надо выйти.

Матвей вышел, а пустой вагон как-то радостно закатился по кругу. Кондуктор гасил на ходу огни, окна вагона точно замуривались, и скоро Матвей увидел, как он вкатился во двор станции и стал под навесом, где, покрытые тенью, отдыхали другие такие же вагоны...

Здесь было довольно тихо. Луна стала совсем маленькой, и синяя ночь была довольно темна, хотя на небе виднелись звезды, и большая, еще не застроенная площадь около Центрального парка смутно белела под серебристыми лучами... Далекие дома перемещались с пустырями и заборами, и только в одном месте какой-то гордый человек вывел дом этажей в шестнадцать, высившийся черною громадой, весь обставленный еще лесами... Эта вавилонская башня резко рисовалась на зареве от освещенного города...

До ушей Матвея донесся шум деревьев. Лес всегда тянет к себе бесприютного бродягу, а Матвей Лозинский чувствовал себя настоящим бродягой.

Поэтому он быстро повернулся и пошел к парку. Если бы кто смотрел на него в это время с площади, то мог бы видеть, как белая одежда то теряется в тени деревьев, то мелькает опять на месячном свете.

Он шел так несколько минут и вдруг остановился. Перед ним поднималась в чаще огромная клетка из тонкой проволоки, точно колпаком покрывшая дерево. На ветвях и перекладинах сидели и тихо дремали

птицы, казавшиеся какими-то серыми комками. Когда Матвей подошел поближе, большой коршун поднял голову, сверкнул глазами и лениво расправил крылья. Потом опять уселся и втянул голову между плеч.

Матвей отошел, боясь, чтобы птицы не подняли возню. Он ступал тихо и оглядывался, ища себе приюта. Вскоре перед ним забелело продолговатое здание. Половина его была темная, и Матвею показалось, что это какой-нибудь сарай, где можно свернуться и заснуть до утра. Но, подойдя, он опять увидел железную решетку, от которой отскочил в испуге. Из-за нее сверкнули на него огнем два глаза. Большой серый волк стоял над спящей волчицей и зорко следил за подозрительным человеком в белой одежде, который бродит неизвестно зачем ночью около звериного жилья.

В то же время откуда-то из тени человеческий голос сказал что-то по-английски резко и сердито. Матвею этот окрик показался хуже ворчания лесного зверя. Он вздрогнул и пугливо пошел опять к опушке. Тут он остановился и погрозил кулаком. Кому? Неизвестно, но человек без языка чувствовал, что и в нем просыпается что-то волчье... ✓

XXI

Легкое журчание воды потянуло его дальше. Это струился в бассейн неплотно запертый фонтан. Вода сочилась кверху, будто сонная, и, то поднимаясь, то падая совсем низко, струйка звенела и плескалась. Матвей склонился к водоему и стал жадно пить. Потом он снял шапку и перекрестился, решившись лечь тут же в кустах. Издалека в тишине ночи до него донесся свисток... Ему показался он звуком из какого-то другого мира. Он сам когда-то тоже приехал на пароходе... Может быть, это еще такой же пароход из старой Европы, на котором люди приехали искать в этой Америке своего счастья, — и теперь смотрят на огромную статую с поднятой рукой, в которой чуть не под облаками светится факел... Только те- ✓

✓ перь лозищаннну казалось, что он освещает вход в огромную могилу.

С сокрушением сняв шапку и глядя в звездное небо, он стал молиться готовыми словами вечерних молитв. Небо тихо горело своими огнями в бездонной синеве и казалось ему чужим и далеким. Он вздохнул, бережно положил около себя кусок хлеба, с которым все не расставался, и лег в кусты. Все стихло, все погасло, все заснуло на площади, около зверинца и в парке. Только плескалась струйка воды, да где-то вскрикивала в клетке ночная птица, да в кустах шевелилось что-то белое, и порой человек бормотал во сне что-то печальное и сердитое, может быть, молитву, или жалобы, или проклятия.

Ночь продолжала тихий бег над землей. Поплыли в высоком небе белые облака, совсем похожие на наши. Луна закатилась за деревья; становилось свежее, и как будто светлело. От земли чувствовалась сырость...

✓ Тут с Матвеем случилось небольшое происшествие, которого он не забыл во всю свою последующую жизнь, и хотя он не мог считать себя виноватым, но все же оно камнем лежало на его совести.

Он начинал дремать, как вдруг раздвинулись кусты, и какой-то человек остановился над ним, заглядывая в его ночное убежище.

Час был серый, сумеречный. Матвей плохо видел лицо незнакомца. Впоследствии ему припоминалось, что лицо было бледно, а большие глаза смотрели страдающе и грустно...

Очевидно, это был тоже ночной бродяга, какой-нибудь несчастливец, которому, видно, не повезло в этот день, а может, не везло уже много дней и теперь не было нескольких центов, чтобы заплатить за ночлег. Может быть, это был тоже человек без языка, какой-нибудь бедняга-итальянец, один из тех, что идут сюда целыми стадами из своей благословенной страны, бедные, темные, как и наши, и с такой же тоской о покинутой родине, о родной беде, под родным небом... Один из безработных, выкинутых этим огромным потоком, который лишь ненадолго затих

там, в той стороне, где высились эти камешные вавилонские башни и зарево огней тихо догорало, как будто и оно засыпало перед рассветом. Может быть, и этого человека грызла тоска; может быть, его уже не носили ноги; может быть, его сердце уже переполнилось тоской одиночества; может быть, его просто томил голод, и он рад бы был куску хлеба, которым мог бы с ним поделиться Лозинский. Может быть, и он мог бы указать лозищанину какой-нибудь выход...

Может быть... Мало ли что может быть! Может быть, эти два человека нашли бы друг в друге братьев до конца своей жизни, если бы они обменялись несколькими братскими словами в эту теплую, сумрачную, тихую и печальную ночь на чужбине...

Но человек без языка шевельнулся на земле так, как недавно шевельнулся ему навстречу волк в своей клетке. Он подумал, что это тот, чей голос он слышал недавно, такой резкий и враждебный. А если и не тот самый, то, может быть, садовый сторож, который прогонит его отсюда...

Он поднял голову с враждой на душе, и четыре человеческих глаза встретились с выражением недоверия и испуга.

— Джермен? — спросил незнакомец глухим голосом... — Френч? Тэдеско, итальяно?.. (германец? француз? итальянец?)

— Что тебе нужно? — ответил Матвей. — Неужели и здесь не дашь человеку минутку покоя?..

Они еще обменялись несколькими фразами. Голоса обоих звучали сердито и враждебно...

Незнакомец тихо выпустил ветку, кусты сдвинулись, и он исчез.

Он исчез, и шаги его стали стихать... Матвей быстро приподнялся на локте с каким-то испугом. «Уходит, — подумал он. — А что же будет дальше...» И ему захотелось вернуть этого человека. Но потом он подумал, что вернуть нельзя, да и незачем. Все равно — не поймет ни слова.

Он слушал, как шаги стихали, потом стихли, и только деревья что-то шептали перед рассветом

в сгустившейся темноте... Потом с моря надвинулась мгlistая туча и пошел тихий дождь, недолгий и теплый, покрывший весь парк шорохом капель по листьям.

Сначала этот шорох слышали два человека в Центральном парке, а потом только один...

Другого наутро ранняя зоря застала висющим на одном из шептавших деревьев, с страшным, посиневшим лицом и застывшим стеклянным взглядом.

Это был тот, что подходил к кустам, заглядывая на лежавшего лозничанина. Человек без языка увидел его первый, поднявшись с земли от холода, от сырости, от тоски, которая гнала его с места. Он остановился перед ним как вкопанный, невольно перекрестился и быстро побежал по дорожке, с лицом бледным, как полотно, с испуганными сумасшедшими глазами... Может быть, ему было жалко, а может быть, также... он боялся попасть в свидетели... Что он скажет, он, человек без языка, без паспорта, судьей этой проклятой стороны?..

В это время его увидал сторож, который, зевая, потягивался под своим навесом. Он подивился на странную одежду огромного человека, вспомнил, что как будто видел его ночью около волчьей клетки, и потом с удивлением рассматривал огромные следы огромных сапог лозничанина на сырой песчаной дорожке...

XXII

В это утро безработные города Нью-Йорка решили устроить митинг. Час был назначен ранний, так, чтобы шествие обратило внимание всех, кто сам спешит на работу в конторы, на фабрики и в мастерской.

О предстоящем митинге уже за неделю писали в газетах, сообщая его программу и имена ораторов. Предвидели, что толпа может «выйти из порядка», интервьюировали директора полиции и вожakov рабочего движения. Газеты биржевиков и Тамани-холла громили «агитаторов», утверждая, что только ино-

странцы да еще лентяи и пьяницы остаются без работы в этой свободной стране. Рабочие газеты возражали, но тоже призывали к достоинству, порядку и уважению к законам. «Не давайте противникам повода обвинять вас в некультурности», — писали известные вожаки рабочего движения.

Газета «Sun», одна из наиболее распространенных, обещала самое подробное описание митинга в нескольких его фазах, для чего каждые полчаса должно было появляться специальное прибавление. Один из репортеров был поэтому командирован ранним утром, чтобы дать заметку: «Центральный парк перед началом митинга».

Ему очень повезло. Прежде всего, обегая все закоулки парка, он наткнулся на Матвея и тотчас же нацелился на него своим фотографическим аппаратом. И хотя Матвей быстро от него удалился, но он успел сделать моментальный снимок, к которому намеревался прибавить подпись: «Первый из безработных, явившийся на митинг». Он представлял себе, как подхватят эту фигуру газеты, враждебные рабочему движению: «Первым явился какой-то дикарь в фантастическом костюме. Наша страна существует не для таких субъектов...»

Затем зоркий глаз репортера заметил в чаще висящее тело. Надо отдать справедливость этому газетному джентльмену: первой его мыслью было, — что, может быть, несчастный еще жив. Поэтому, подбежав к трупу, он вынул из кармана свой ножик, чтобы обрезать веревку. Но, пощупав совершенно охладевшую руку, — спокойно отошел на несколько шагов и, выбрав точку, — набросал снимок в альбом... Это должно было тоже произвести впечатление, — хотя уже с другой стороны. Это подхватят рабочие газеты... «Человек, который явился на митинг еще ранее... Еще одна жертва нужды в богатейшей стране мира...» Во всяком случае заметка вызовет общую сенсацию, и редакция будет довольна.

Действительно, и заметка, и изображение мертвого тела появились в газете ранее, чем о происшествии стало известно полиции. По странной оплошности

(«что, впрочем, может случиться даже с отличной полицией», — писали впоследствии в некоторых газетах) толпа уже стала собираться и тоже заметила тело, а полиция все еще не знала о происшествии...

Матвей Лозинский, ничего, конечно, не читавший о митинге, увидел, что к парку с разных сторон стекается народ. По площади, из улиц и переулков шли кучами какие-то люди в пиджаках, правда довольно потертых, в сюртуках, правда довольно засаленных, в шляпах, правда довольно измятых, в крахмальных, правда довольно грязных рубашках. Общий вид этой толпы, изможденные, порой бородатые лица производили на Лозинского успокоительное впечатление. Он чувствовал что-то как будто родственное и симпатичное. Все они собирались к фонтану, затем узнали о самоубийстве и, как муравьи, толпились около этого места, сумрачные, озлобленные, печальные.

Лозинский теперь смелее вышел на площадку, около которой расположилась группа черномазых и густоволосых людей, еще более оборванных, чем остальные. Глаза у них были, как сливы, лица смуглые, порой остроконечные шляпы с широкими полями, а язык звучал, как музыка, — мягко и мелодично. Это были итальянцы. Они напомнили Матвею словаков, заходивших в Лозици из Карпат, и он доверчиво попытался заговорить с ними. Но и тут его никто не понял. Итальянцы лениво поворачивали к нему головы; один подошел, пощупал его белую свиту и с удивлением щелкнул языком. Потом он с удовольствием ощупал мускулы его рук и сказал что-то товарищам, которые выразили свое одобрение шумными криками... Но больше ничего от них Матвей не добился... Он заметил только, что глаза у них сверкают, как огонь, а у иных, под куртками у поясов, висят небольшие ножи.

Вскоре толпа залила уже всю площадку. Над ней стояла тонкая пыль, залегавшая, как туман, между зеленью, и сплошной гул голосов носился над людскими головами...

Около дерева, где висел человек, началось движение. Суровые и важные, туда прошли полисмены

в своих серых шляпах. Над ними смеялись, их закидали враждебными криками и остротами, показывая номер газеты, но они не обращали на это внимания. Только около самого дерева произошло какое-то замешательство, — серые каски как-то странно толкались между черными, рыжими и пестрыми шляпенками, потом подымались кверху и опускались деревянные палки, и что-то суетливо топталось и шарахалось. Потом мертвое тело колыхнулось, голова мертвеца вдруг выступила из тени в светлое пятно, потом поникла, а тело, будто произвольно, тихо опустилось вровень с толпой.

Матвей снял шапку и перекрестился. А в это время с другой стороны, с площадки, послышались вдруг звуки музыки. Повернув туда голову, лозицанин увидел, что из переулка, на той стороне площади, около большой постройки, выкатился клуб золотистой пыли и покатился к парку. Точно гнали стадо или шло большое войско. А из облака неслись звуки музыки, то стихая — и тогда слышался как будто один только гулкий топот тысячи ног, — то вдруг вылетая вперед визгом кларнетов и медных труб, стуком барабанов и звоном литавров. Впереди бежали двумя рядами уличные мальчишки, и высокий тамбур-мажор *шагал, отмахивая такт большим жезлом. За ним двигались музыканты с раздутыми и красными щеками. в касках с перьями, в цветных мундирах, с огромными эполетами на плечах, расшитые и изукрашенные до такой степени, что, кажется, не оставалось на них ни клочка, чем-нибудь не расцвеченного, не завешанного каким-нибудь галуном или позументом.

Матвей думал, что далее он увидит отряд войска. Но, когда пыль стала ближе и прозрачнее, он увидел, что за музыкой идут сначала рядами, а потом как попало, в беспорядке — все такие же пиджаки, такие же мятые шляпы, такие же пыльные и полинялые фигуры. А впереди всей этой пестрой толпы, высоко над ее головами, плывет и колыхается знамя, укрепленное на высокой платформе на колесах. Кругом знамени, точно стража, с десяток людей двигались вместе с толпой...

Гремя, стуча, колыхаясь, под яркие звуки марша, под неистовые крики и свист ожидавшего народа, знамя подошло к фонтану и стало. Складки его колыхнулись и упали, только ленты шевелились по ветру, да порой полотнище плескалось, и на нем струились золотые буквы...

Тогда в толпе поднялся настоящий шабаш. Одни звали новоприбывших к дереву, где недавно висел самоубийца, другие хотели остаться на заранее назначенном месте. Знамя опять колыхнулось, платформа поплыла за толпой, но скоро вернулась назад, отраженная плотно сомкнувшимся у дерева отрядом полиции.

Когда пыль, поднятую этой толкотней, пронесло дальше, к площади, знамя опять стояло неподвижно, а под знаменем встал человек с открытой головой, длинными, откинутыми назад волосами и черными сверкающими глазами южанина. Он был невелик ростом, но возвышался над всею толпой на своей платформе, и у него был удивительный голос, сразу покрывший говор толпы. Это был мистер Чарльз Гомперс, знаменитый оратор рабочего союза.

Толпа вся стихла, когда, протянув руку к дереву, где еще недавно висел самоубийца, он сказал негромко, но с какой-то особенной торжественной внятностью:

— Прежде всего отдадим почет одному из наших товарищей, который еще этой ночью изнемог в трудной борьбе.

Над многотысячной толпой точно пронесся ветер, и бесчисленные шляпы внезапно замелькали в воздухе. Головы обнажились. Складки знамени рванулись и заплескались среди гробовой тишины печально и глухо. Потом Гомперс начал опять свою речь.

В груди у Матвея что-то дрогнуло. Он понял, что этот человек говорит о нем, о том, кто ходил этой ночью по парку, несчастный и бесприютный, как и он, Лозинский, как и все эти люди с истомленными лицами. О том, кого, как и их всех, выкинул сюда этот безжалостный город, о том, кто недавно спрашивал у него о чем-то глухим голосом... О том, кто бродил

здесь со своей глубокой тоской и кого теперь уже нет на этом свете.

Было слышно, как ветер тихо шелестит листьями, было слышно, как порой тряхнется и гулко ударит по ветру своими складками огромное полотнище знамени... А речь человека, стоявшего выше всех с обнаженной головой, продолжалась плавная, задушевная и печальная...

Потом он повернулся и протянул руку к городу гневно и угрожающе.

И в толпе будто стукнуло что-то разом во все сердца — произошло внезапное движение. Все глаза повернулись туда же, а итальянцы приподнимались на цыпочках, сжимая свои грязные загорелые кулаки, вытягивая свои жилистые руки.

А город, объятый тонкою мглой собственных испарений, стоял спокойно, будто тихо дыша и продолжая жить своею обычною, ничем не возмутимую жизнью. По площади тянулись и грохотали вагоны, пыхтел где-то в туннеле быстрый поезд... Ветер нес над площадью пыльное облако. Облако это, точно лента, пронизанная солнцем, повисло в половине огромного недостроенного дома, напоминавшего вавилонскую башню. Вверху среди лесов и настилок копошились, как муравьи, занятые постройкой рабочие, а снизу то и дело подымались огромные тяжести... Подымались, исчезали в облаке пыли и опять плыли сверху, между тем как внизу гигантские краны бесшумно ворочались на своих основаниях, подхватывая все новые платформы с глыбами кирпичей и гранита...

И на все это светило яркое солнце веселого ясного дня.

В груди лозишанина подымалось что-то незнакомое, неиспытанное, сильное. В первый еще раз на американской земле он стоял в толпе людей, чувство которых ему было понятно, было в то же время и его собственным чувством. Это нравилось ему, это его как-то странно шекотало, это его подмывало на что-то. Ему захотелось еще большего, ему захотелось, чтобы и его увидели, чтобы узнали и его историю, чтобы эти люди поняли, что и он их понимает, чтобы они

оказали ему участие, которое он чувствует теперь к ним. Ему хотелось еще чего-то необычного, опьяняющего, ему казалось, что сейчас будет что-то, от чего станет лучше всем и ему, лозищанину, затерявшемуся, точно иголка, на чужой стороне. Он не знал, куда он хочет идти, что он хочет делать, он забыл, что у него нет языка и паспорта, что он бродяга в этой стране. Он все забыл и, ожидая чего-то, проталкивался вперед, опьяненный после одиночества сознанием своего единения с этой огромной массой в каком-то общем чувстве, которое билось и трепетало здесь, как море в крутых берегах. Он как-то кротко улыбнулся, говорил что-то тихо, но быстро, и все проталкивался вперед, туда, где под знаменем стоял человек, так хорошо понимавший все чувства, так умело колыхавший их своим глубоким, проникавшим голосом...

XXIII

Совершенно неизвестно, что сделал бы Матпей Лозицкий, если бы ему удалось подойти к самой платформе, и чем бы он выразил оратору, мистеру Гомперсу, волновавшие его чувства. В той местности, откуда он был родом, люди, носящие сермяжные свиты, имеют обыкновение выражать свою любовь и уважение к людям в сюртуках посредством низких, почти до земли, поклонов и целования руки. Очень может быть, что мистер Гомперс получил бы это проявление удивления к своему ораторскому искусству, если бы роковой случай не устроил это дело иначе, а именно так, что ранее мистера Гомперса, председателя рабочих ассоциаций и искусного оратора, на пути лозищанина оказался мистер Гопкинс, бывший боксер и полисмен. Мистер Гопкинс наряду с другими людьми в серых касках и с клобами в руках стоял неподвижно, как статуя, и, разумеется, не был тронут красноречием мистера Гомперса. Нью-йоркская полиция отлично знала этого популярного джентльмена и действие его красноречия оценивала с своей точки зрения. Она знала, что мистер Гомперс человек очень

искусный и никогда в своих речах не «выйдет из порядка». Но зато — таково было обычное действие его слова — слушатели выходили из порядка слишком часто. Безработные всегда склонны к этому в особенности, а сегодня вдобавок от этого проклятого дерева, на котором полиция прозевала повесившегося беднягу и позволила ему висеть «вне всякого порядка» слишком долго, на толпу веяло чем-то особенным. Между тем давно уже не бывало митинга такого многочисленного, и каждому полисмену, в случае свалки, приходилось бы иметь дело одному на сто.

В таких случаях полиция держится крепко и надежно, следя особенно за иностранцами. Пока все в порядке, — а в порядке все, пока дело ограничивается словами, хотя бы и самыми страшными, и жестами, хотя бы очень драматическими, — до тех пор полисмены стоят в своих серых шляпах, позволяя себе порой даже знаки одобрения в особенно удачных местах речи. Но лишь только в какой-нибудь части толпы явится стремление перейти к делу и «выйти из порядка» — полиция тотчас же занимает выгодную позицию нападающей стороны. И клобы пускаются в ход быстро, решительно, с ошеломляющей неожиданностью. И толпа порой тысяч в двадцать отступает перед сотнею-другою палок, причем задние бегут, закрывая на всякий случай головы руками.

Матвей Лозинский, разумеется, не знал еще, к своему несчастью, местных обычаев. Он только шел вперед, с раскрытым сердцем, с какими-то словами на устах, с надеждой в душе. И когда к нему внезапно повернулся высокий господин в серой шляпе, когда он увидел, что это опять вчерашний полицейский, он излил на него все то чувство, которое его теперь переполняло: чувство огорчения и обиды, беспомощности и надежды на чью-то помощь. Одним словом, он наклонился и хотел поймать руку мистера Гопкинса своими губами.

Мистер Гопкинс отскочил шаг назад и — клоб свистнул в воздухе... В толпе резко прозвучал первый удар...

Лозищанин внезапно поднялся, как разъяренный

медведь... По лицу его текла кровь, шапка свалилась, глаза стали дикие. Он был страшнее, чем в тот раз в комнате Борка. Только теперь не было уже человеческой силы, которая была бы в состоянии сдерживать его. Неожиданное оскорбление и боль переполнили чашу терпения в душе большого, сильного и кроткого человека. В этом ударе для него вдруг сосредоточилось все то, что он пережил, перечувствовал, перестрадал за это время, вся ненависть и гнев бродяги, которого, наконец, затравили, как дикого зверя.

Неизвестно, знал ли мистер Гопкинс индейский удар, как Падди, во всяком случае и он не успел применить его вовремя. Перед ним поднялось что-то огромное и дикое, поднялось, навалилось — и полисмен Гопкинс упал на землю среди толпы, которая вся уже волновалась и кипела... За Гопкинсом последовал его ближайший товарищ, а через несколько секунд огромный человек в невиданной одежде, лохматый и свирепый, один опрокинул ближайшую цепь полицейских города Нью-Йорка... За ним с громкими криками и горящими глазами первые кинулись итальянцы. Американцы оставались около знамени, где мистер Гомперс напрасно надрывал грудь призывами к порядку, указывая в то же время на одну из надписей: «Порядок, достоинство, дисциплина!»

Через минуту вся полиция была смята, и толпа кинулась на площадь...

Была одна минута, когда, казалось, город дрогнул под влиянием того, что происходило около Central park'a... Уезжавшие вагоны затормозились, встречные остановились в нерешимости, перестали вертеться краны, и люди на постройке перестали ползать взад и вперед... Рабочие смотрели с любопытством и сочувствием на толпу, опрокинувшую полицию и готовую ринуться через площадь на ближайшие здания и улицы.

Но это была только минута. Площадь была во власти толпы, но толпа совершенно не знала, что ей делать с этой площадью. Между тем большинство осталось около знамени, и понемногу голова толпы, которая, точно змея, потянулась было по направле-

нию к городу, опять притянулась к туловищу. Затем, после короткого размышления, вожаки решили, что митинг сорван, и, составив часкоро резолюцию, протестующую против действий полиции, они двинулись обратно. Впереди, как ни в чем не бывало, опять выстроился наемный оркестр, и облако пыли опять покатилося вместе с музыкой через площадь. А за ним сомкнутым строем шли оправившиеся полицейские, ободрительно помахивая клобами и поощряя отставших.

Через полчаса парк опустел; подъемные краны опять двигались на своих основаниях, рабочие опять сновали чуть не под облаками на постройке, опять мерно прокатывались вагоны, и проезжавшие в них люди только из газет узнали о том, что было полчаса назад на этом месте. Только сторожа ходили около фонтана, качая головами и ругаясь за помятые газоны...

XXIV

Несколько дней газеты города Нью-Йорка благодаря лозиншанину Матвею работали очень бойко. В его честь типографские машины сделали сотни тысяч лишних оборотов, сотни репортеров сновали за известиями о нем по всему городу, а на площадках, перед огромными зданиями газет «World», «Tribune», «Sun», «Herald» — толпились лишние сотни газетных мальчишек. На одном из этих зданий Дыма, все еще рыскавший по городу в надежде встретиться с товарищем, увидел экран, на котором висело объявление:

ДИКАРЬ В НЬЮ-ИОРКЕ

Происшествие на митинге безработных.

Кафр, патагонец или славянин?

Сильнее полисмена Гопкинса.

УГРОЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Оскорбление законов этой страны!

*Мы дадим портрет дикаря,
убившего полисмена Гопкинса.*

«Чарли Гомперс, ораторскому таланту которого нельзя не отдать должной дани удивления, прекрасно использовал данное положение. Едва прибыв на место в сопровождении прекрасного хора м-ра Ивэнса (Second avenue¹, № 300), и узнав об утреннем происшествии, он начал свою речь блестящей импровизацией, в которой в самых мрачных красках изобразил положение лишенных работы и судьбу, ожидающую, быть может, в близком будущем многих из этих несчастливцев. Вслед за этим он воспользовался контрастами, которые на всяком шагу развертывает этот город, как известно, самый большой и самый богатый в мире. Эта речь Чарли Гомперса, имевшая целью пригласить безработных к петиции на имя городского мэра, а также пропагандировавшая идею рабочих ассоциаций, вызвала, по-видимому, самые дурные страсти. Правда, англичане и американцы (которых, впрочем, было очень немного), даже большинство ирландцев и немцы, остались в порядке. Но наименее цивилизованные элементы толпы — в лице итальянцев, отчасти русских евреев и в особенности какого-то дикого человека неизвестной нации, — вспыхнули при этом, как порох от спички».

«МНЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИИ СЕНАТОРА РОБИНЗОНА»

«Мистер Робинзон, любезно принявший у себя нашего репортера, находит, что в этом происшествии с особенной яркостью выразилась сила законного порядка этой страны. «Сэр, — сказал мистер Робинзон нашему репортеру, — что вы видите в данном случае? Мятежники, побуждаемые опасными демагогами, опрокинули полицию. Препграда между ними и цивилизацией в лице бравого Гопкинса и его товарищей рушилась. И что же, — мятежники не падают ничего лучшего, как вернуться самопроизвольно к порядку. Я позволил бы себе, однако, предложить мистеру Гомперсу и в его лице всем подобным ему агитаторам один вопрос, который, надеюсь, поставил бы их

¹ Второй проспект (англ.). — *Прим. ред.*



К рассказу «Без языка».



в немалое затруднение: зачем вы, сэр, возбуждаете страсти и подстрекаете толпу на дело, самый успех которого не можете ни в коем случае обратить в свою пользу?»

«В следующем номере, — прибавляла редакция, — мы надеемся дать читателям ответ мистера Гомперса на уничтожающий вопрос почтенного сенатора».

Наутро газета исполнила свое обещание. Она дала, во-первых, портрет мистера Гомперса, а затем подробное изложение беседы его с репортером. При этом мистер Гомперс в изображении репортера рисовался столь же благожелательными красками, как и сенатор Робинзон. «Мистер Гомперс в личной жизни — человек привлекательный и симпатичный, его обращение с репортером было необыкновенно приветливо и любезно, но его отзывы о деле — очень горячи и энергичны. Мистер Гомперс винит во всем несдержанность полиции этого города. Сам он был «в порядке». Правда, как это совершенно справедливо было отмечено нашим репортером, он «был горек» в своей речи. Он этого не отрицает. Но с каких же это пор для американца в этой стране считается обязательным произносить только сладкие речи?! Кому не нравится сравнение этого города с блудницей, тот не должен слушать по воскресеньям проповеди, хотя бы, например, достопочтенного реверенд-Джонса *, так как это его любимое сравнение. И, однако, никто не обвиняет за это священников в возбуждении дурных страстей или в оскорблении страны. Надо думать, что Тамани-ринг, которого, как известно, мистер Робинзон является деятельным членом, еще не в силах ограничить в этой стране свободу слова, завещанную великими творцами ее конституции! (Здесь репортер выражает сожаление, что он не в силах передать ни великолепного жеста, ни возвышенного пафоса, с каким мистер Гомперс произнес последнюю фразу. Он констатирует, однако, что они сделали бы честь первым ораторам страны). Мистер Гомперс очень жалеет о том, что случилось, но пострадавшими в этом деле считает себя и своих друзей, так как митинг оказался сорванным и право собраний

грубо нарушено в их лице. Как началась свалка, он не видел. Он далек также от мысли заподозреть добросовестность талантливого джентльмена, давшего изображение дикаря. Однако и наружность и костюм этого дикаря кажутся ему достаточно маскардными, чтобы быть изобретением полиции. Что касается до обращенного к нему вопроса, то удовлетворить любопытство distinguished сенатора гораздо легче, чем осветить некоторые проделки Таманиринга. Как уже ясно из предыдущего, он не подстрекал никого к нападению на полицию, так же, как не подстрекал полицейских к слишком усердному употреблению клобов. Но он убежден, что великий вопрос о богатстве и бедности должен быть решен на почве свободы слова и союзов. Что же касается до плодов агитации, то они видны уже и теперь. Два года назад ассоциация рабочих, которой он имеет честь быть председателем, считала ровно вдвое меньшее число членов, чем имеет в настоящее время. Таковы плоды непосредственные. Что же касается дальнейших, то мистер Робинзон, сенатор и крупный фабрикант, может сказать кое-что по этому поводу, так как на его собственной фабрике с прошлого года рабочие часы сокращены без сокращения платы. «И мы с гордостью предвидим, — прибавил мистер Гомперс с неподражаемой иронией, — тот день, когда мистеру Робинзону придется еще поднять плату без увеличения рабочего дня...» Наконец мистер Гомперс сообщил, что он намерен начать процесс перед судьей штата о нарушении неприкосновенности собраний. Как известно, — сказал он, — ученым этой страны до сих пор не удалось выяснить вопроса о национальности загадочного дикаря. Мистер Гомперс не теряет, однако, надежды, что суду это удастся и что директору полиции (которому он отказывает, впрочем, в должном уважении) уже и теперь известно кое-что по этому поводу».

«Одним словом, — так заканчивалась заметка, — если оставить в стороне некоторые щекотливые вопросы, вызывающие (быть может, и справедливое) осуждение, мистер Гомперс оказался не только

превосходным оратором и тонким политиком, но и очень приятным собеседником, которому нельзя отказать в искреннем пафосе и возвышенном образе мыслей. Сам мистер Гомперс убежден, что он и его единомышленники оказывают истинную услугу стране, внося организацию, порядок, сознательность и надежду в среду, бедствия, отчаяние и справедливое негодование которой легко могли бы сделать ее добычей анархии...»

Несколько дней еще происшествие в Центральном парке не сходило со столбцов нью-йоркских газет. Репортеры обегали весь город, и в редакции являлись разные лица, видевшие в разных местах странных людей, навлекавших подозрение в тождественности с загадочным дикарем. Дикарей в Нью-Йорке оказалось достаточно. Исходя из первого изображения, некоторые более или менее ученые джентльмены высказывали свое мнение о его национальности. Отзывы были весьма различны, но по мере того, как сведения становились многочисленнее и точнее, заключения ученых джентльменов начинали вращаться в круге, все более ограниченном. Первый приблизился к истине некто мистер Аткинсон, взявший исходным пунктом «разрушительные тенденции незнакомца и его беспредельную ненависть к цивилизации и культуре». Судя по этим признакам, он причислял его к славянскому племени... К сожалению, пустившись в дальнейшие гипотезы, мистер Аткинсон отнес к славянскому племени также «кавказских черкесов и самоедов, живущих в глубинах снежной Сибири».

Круг около загадочной личности смыкался все более. В заметках, становившихся все более краткими, но зато и более точными, появлялись все новые места и лица, так или иначе прикосновенные к личности «дикаря». Негр Сам, чистильщик сапог в Бродвее, мостовой сторож, подозревавший незнакомца в каком-нибудь покушении на целостность Бруклинского моста, кондуктор вагона, в котором Матвей прибыл вечером к Central park'у, другой кондуктор, который подвергал свою жизнь опасности, оставаясь

с глазу на глаз с дикарем в электрическом вагоне, в пустынных предместьях Бруклина, наконец, старая барыня с буклями на висках, к которой таинственный дикарь огромного роста и ужасающего вида позвонился однажды с неизвестными, но, очевидно, недобрыми целями, когда она была одна в своем доме... К счастью, престарелая леди успела захлопнуть свою дверь как раз вовремя для спасения своей жизни.

XXV

О другой старой барыне, из дома № 1235, в газетах не упоминалось. Не упоминалось также и об Анне, которая только вздыхала порой при воспоминании о пропавшем без вести Матвее. Человек канул, точно в воду, а сама она попала, как лодка, в тихую заводь. Каждый день, когда муж и жильцы старой барыни уходили, она, точно невидимая фея, являлась в оставленные комнаты, убирала постели, подметала полы, а раз в неделю перетирала стекла и чистила газовые рожки. Каждый день выносила сор на улицу в корзину, откуда его убирали городские мусорщики, и готовила обед для господ и для двух джентльменов, обедавших с ними. Два раза в месяц она ходила в церковь вместе с барыней... Вообще все для нее в этом уголке было так, как на родине. Все было, как на родине, в такой степени, что девушке становилось до боли грустно: зачем же она ехала сюда, зачем мечтала, надеялась и ждала, зачем встретилась с этим высоким человеком, задумчивым и странным, который говорил: «Моя доля будет и твоя доля, малютка». Молодой Джон и Дыма не являлись. Жизнь ее истекала скучными днями, как две капли воды похожими друг на друга... Она нашла здесь родину, ту самую, о которой так вздыхал Лозинский, — и не раз она горько плакала об этом по ночам в своей кухоньке, в подвальном этаже, низком и тесном... И не раз ей хотелось вернуться к той минуте, когда она послушалась Матвея вместо того, чтобы послушать молодую еврейку... Вернуться и

начать жить здесь по-иному, искать иной доли, может быть, дурной, да иной...

Однажды почтальон, к ее великому удивлению, подал ей письмо. На конверте совершенно точно стоял ее адрес, написанный по-английски, а наверху печатный штамп: «Соединенное общество лиц, занятых домашними услугами». Не понимая по-английски, она обратилась к старой барыне с просьбой прочесть письмо. Барыня подозрительно посмотрела на нее и сказала:

— Поздравляю! Ты уже заводишь шашни с этими бунтовщиками!

— Я ничего не знаю, — ответила Анна.

В письме был только печатный бланк с приглашением поступить в члены общества. Сообщался адрес и размер членского взноса. Цифра этого взноса поразила Анну, когда барыня иронически перевела приглашение... Однако девушка спрятала письмо и порой выпимала его по вечерам и смотрела с задумчивым удивлением: кто же это мог заметить ее в этой стране и так правильно написать на конверте ее имя и фамилию?

Это было вскоре после ее поступления на службу. А еще через несколько дней старая барыня с суровым видом сообщила ей новость:

— Хорошие дела, нечего сказать, наделал этот твой... Матвей, что ли! — сказала она. — Вот и верь после этого наружности. Казался таким почтительным и смирным.

— Что такое? — спросила Анна с тревогой.

— Убил полицейского, ни более, ни менее.

— Не может быть! — вскрикнула девушка невольно.

Старая барыня показала ей кучку газет, которые принес ей муж, когда уже личность Матвея стала выясняться. В фантастическом изображении трудно было признать добродушную фигуру лозишанина, хотя все же сохранились некоторые черты и оклад бороды. Затем в следующих номерах был приведен портрет Дымы, на этот раз в свите и бараньей шапке, — как соотечественника исчезнувшей знаменито-

сти. Старая барыня, надев очки, целый день читала газеты, сообщая от времени до времени вычитанные сведения и Анне. Сама она была искренно удивлена, узнав, что Матвей попал на митинг и оказался предводителем банды итальянцев, опрокинувших полицию и побуждавших толпу безработных ограбить ближайшие магазины.

— А ведь каким казался почтительным и тихим, — сказала барыня в раздумье, вспоминая покорную фигуру Матвея, его кроткие глаза и убежденное поддакивание на все ее мнения... — Да, да! Верь после этого наружности.

Она подозрительно покосилась даже на Анну, готовая видеть в ней сообщницу страшного человека, но открытый взгляд девушки рассеял ее опасения.

— Он очень вспыльчив, — сказала Анна грустно, вспоминая страшную минуту во время столкновения с Падди. — И... и... знаете что... Как это там написано: потянулся губами к руке... Ведь это он... прошу вас... хотел, верно, поцеловать у него руку...

— Хотел поцеловать?.. и убил?.. Что-то все это странно, — сказала барыня. — Во всяком случае, если его поймают, то непременно повесят... Видишь, до чего здесь доводят эти... общества разные... Я бы этих Гомперсов!.. Смотри, вот они и тебя хотят завлечь в свои сети...

Анна видела, что барыня говорит совершенно искренно, а происшествие с Матвеем придавало ее словам еще большее значение. Однако, когда, в отсутствии барыни, опять пришло письмо на ее имя с тем же штемпелем, она обратилась за прочтением не к ней, а к одному из жильцов. Это был человек молчаливый и суровый, не участвовавший в карточных вечерах у хозяев и не сказавший никогда с Анной лишнего слова. Он все сидел в своей комнате, целые дни писал что-то и делал какие-то выкладки. В доме говорили, что он «считает себя изобретателем». Почему-то Анна питала к суровому человеку безотчетное доверие и уважение.

Он взял из ее рук письмо и добросовестно перевел слово в слово. Содержание письма очень уди-

вило Анну: в нем писали, что комитету общества стало известно, что мисс Анна служит на таких условиях, которые, во-первых, унижительны для человеческого достоинства своей неопределенностью, а во-вторых, понижают общий уровень вознаграждения. Десять долларов в месяц и один свободный день в неделю — это минимальные требования, принятые в одном из собраний «соединенного общества лиц, занятых домашними услугами». Ввиду этого ей опять предлагают поступить в члены общества и предъявить повышенные требования своей хозяйке, иначе ее сотоварищи вынуждены будут считать ее «врагом своего класса».

Анна выслушала с испугом это странное обращение.

— Что же мне будет? — спросила она, глядя на чтеца совсем округлившимися глазами и не понимая хорошенько, кто это пишет и по какому праву.

— Ну, я в эти дела не мешаюсь, — ответил сурово молчаливый жилец и опять повернулся к своим бумагам. Но между глазами и бумагой ему почудилось испуганное лицо миловидной девушки, растерявшейся и беспомощной, и он опять с неудовольствием повернулся, подымая привычным движением свои очки на лоб.

— Ты еще здесь? — сказал он, глядя в упор на Анну своими близорукими глазами, устремленными как бы в пространство или видевшими что-то за ней. — Странно: твое лицо мне мешает... Ты спрашивала мое мнение?... Ну, так вот: по моему мнению, все это глупости! Когда-то и я верил в эти бирюльки и увлекался, пока не понял, что только наука способна изменить все человеческие отношения. Понимаешь: наука! Вопрос решается не на улице, а в кабинете ученого... Вот здесь (он положил руку на бумаги) решение всех этих вопросов. Скоро все узнают... и ты в том числе. Ну, а пока — иди с богом. Твое лицо мне мешает... А мое дело и для тебя важнее всей этой сутолоки.

И он опять наклонился над чертежами и выкладками, махая Анне левой рукой, чтобы она уходила.

Анна пошла в кухню, думая о том, что все-таки не все здесь похоже на наше и что она никогда еще не видела такого странного господина, который бы так торжественно произносил такие непонятные слова.

Она захотела посоветоваться еще с Дымой и Розой. В церковь она ходила мимо Борка и уже знала дорогу. Однажды, когда барыня осталась дома и она одна пошла в церковь, девушка забежала в знакомую квартиру. Розы и Джона не было, а Борг был очень занят. От него она узнала только, что Дыма уехал, так как письмо его, наконец, дошло, и Лозинские его увезли в Миннесоту. Это было для него очень кстати, так как приятели ирландцы разбегались, Тамани-холл не нуждался более в его голосе, а работы все не находилось... Временная знаменитость и появление его портрета в газетах плохо утешали Дыму в потере приятеля. Впрочем, в это время публика перестала уже интересоваться инцидентом в Центральном парке, в особенности после того, как оказалось вдобавок, что и здоровье мистера Гопкинса, вовсе не убитого, приведено в надлежащее состояние.

История дикаря отступала все далее и далее на четвертую, пятую, шестую страницы, а на первых, за отсутствием других предметов сенсации, красовались через несколько дней портреты мисс Лиззи и мистера Фрэда, двух еще совсем молодых особ, которые, обвенчавшись самовольно в Балтиморе, устроили своим родителям, известным миллионерам города Нью-Йорка, «неожиданный сюрприз». И веселая кудрявая головка мисс Лиззи с лукавыми черными глазками глядела на читателя с того самого места и даже нарисованная тем самым карандашом, который изображал недавно нашего земляка.

Из этого следует, как легко стать знаменитым в этой стране и как это бывает ненадолго...

И только Дыма да Лозинские читали, что могли, о Матвее, думая о том, как им теперь разыскать беднягу, опять потонувшего без следа в людском океане...

А сам виновник волнения публики в день знаменитого митинга под вечер ехал в экстренном поезде на Детройт, на Бэффало, на Ниагару и на Чикаго...

Как он попал в этот поезд, он помнил потом очень смутно. Когда толпа остановилась, когда он понял, что более уже ничего не будет, да и быть более уже нечему, кроме самого плохого, когда, наконец, он увидел Гопкинса лежащим на том месте, где он упал, с белым, как у трупа, лицом и закрытыми глазами, он остановился, дико озираясь вокруг и чувствуя, что его в этом городе настигнет, наконец, настоящая гибель. С этой минуты он стал опять точно беспомощный ребенок и покорно побежал за каким-то долговязым итальянцем, который схватил его за руку и увлек за собой.

Через площадь они пробежали вместе с другими, потом вбежали в переулок, потом спустились в какой-то подвал, где было еще с десяток беглецов, частью мрачных, частью, по-видимому, довольных сегодняшним днем. Мрачны были старики, довольны молодые бобыли и в том числе долговязый спаситель Матвея. Это был тот самый молодой человек, который утром, перед митингом, хлопал Матвея по плечу и щупал его мускулы. Веселому малому, кажется, очень понравилась манера обращения Матвея с полицией. Он и несколько его товарищей кинулись вслед за Матвеем, расчистившим дорогу, но затем, когда толпа остановилась, не зная, что делать дальше, он сообразил, что теперь остается только скрыться, так как дело принимало оборот очень серьезный. И он счел своей обязанностью позаботиться также о странном незнакомце.

Из переулка Матвея ввели в какое-то помещение, длинное, узкое и довольно темное. Здесь столпилось десятка два человек разных национальностей, которые, чувствуя себя в безопасности, обсуждали события дня. Они горячо спорили при этом: одни находили, что митинг сорван напрасно, другие доказывали, что, наоборот, все вышло хорошо, и факт

прямого столкновения с полицией произведет впечатление даже сильнее «слишком умеренных» речей Гомперса. Все это привело, наконец, споривших к вопросу: что же им делать с странным незнакомцем?

Они приступили к Матвею с расспросами на разных языках, но он только глядел на них своими синими глазами, в которых виднелась щемящая тоска, и повторял: «Миннесота... Дыма... Лозинский...»

Наконец долговязый юноша пришел к заключению, что не остается ничего другого, как переодеть Матвея и отправить его по железной дороге в Миннесоту. Достали одежду, которая сразу затрещала по швам, когда ее напялили на Матвея, а затем привели парикмахера из членов того же общества. Сначала Матвей оказал было сопротивление, но когда молодой верзила очень красноречивым жестом показал на шею, как бы охватывая ее петлей, Матвей понял и покорно отдался своей судьбе. Через десять минут в небольшое зеркальце на Матвея глядело чужое, незнакомое лицо с подстриженными усами и небольшой лопаткой вместо бороды.

Молодой человек похлопал его по плечу. Лозишанин понял, что эти люди заботятся о нем, хотя его удивляло, что этот беспечный народ относился к его печальному положению с каким-то непонятным всесельем. Как бы то ни было, под вечер, совершенно преображенный, он покорно последовал за молодыми людьми на станцию железной дороги. Здесь у него взяли деньги, отсчитали, сколько было нужно, остальное (не очень много) отдали ему вместе с билетом, который продели за ленту шляпы. Перед самым отходом поезда долговязый принес еще две бутылки сидра, большой белый хлеб и несколько фруктов. Все это было уложено в корзине. Это до глубины души тронуло Матвея, который крепко обнял своего благодетеля.

— Ты мне все равно, как родной, — сказал Матвей. — Никогда тебя не забуду... — Долговязый похлопал его по плечу, и вся компания, весело кивая и смеясь, проводила взглядами поезд, который понес Матвея по туннелям, по улицам, по насыпям и кое-

где, кажется, по крышам, все время звоня мерно и печально. Некоторое время в окнах вагона еще мелькали дома проклятого города, потом засинела у самой насыпи вода, потом потянулись зеленые горы с дачами среди деревьев, кудрявые острова на большой реке, синее небо, облака... потом большая луна, как вчера на взморье, всплыла и повисла в голубоватой мгле над речною гладью...

Корзина с провизией склонилась в руках ослабевшего человека, сидевшего в углу вагона, и груши из нее посыпались на пол. Ближайший сосед поднял их, тихо взял корзину из рук спящего и поставил ее рядом с ним. Потом вошел кондуктор, не будя Матвея, вынул билет из-за ленты его шляпы и на место билета положил туда же белую картонную марку с номером. Огромный человек крепко спал сидя, и на лице его бродила печальная судорога, а порой губы сводило, точно от испуга...

А поезд летел, и звон, мерный, печальный, оглашал то спящие ущелья, то долины, то улицы небольших городов, то станции, где рельсы скрещивались, как паутина, где, шумя, как ветер в непогоду, пролетали такие же поезда по всем направлениям, с таким же звоном, ровным и печальным.

XXVII

Впоследствии Матвею случалось ездить тою же дорогой, но впоследствии все в Америке казалось ему уже другим, чем в эти печальные дни, когда поезд мчал его от Нью-Йорка, а куда — неизвестно. Он проспал чудные берега Гудзона и проснулся на время лишь в Сиракузах, где в окнах засветилось что-то снаружи зловещим красным светом. Это были громадные литейные заводы. Расплавленный чугун огненным озером лежал на земле, кругом стояли черные здания, черные люди бродили, как нечистые духи, черный дым уходил в темное мглистое небо, и колокола паровозов все звонили среди ночи однообразно и тревожно... Затем Бэффало, весь тоже во

мгле и дыму. Потом, уже на заре, в вагоне застучали отодвигаемые окна; повеяло утренней свежестью, американцы высунулись в окна, глядя куда-то с видимым любопытством.

— Найагара, Найагара-фолл, — сказал кондуктор, торопливо проходя вдоль поезда, и тронул лозичанина за рукав, с удивлением глядя на человека, который один сидит в своем углу и не смотрит Ниагару.

Матвей поднялся и заглянул в окно. Было еще темно, поезд как-то робко вползал на мост, висевший над клубящейся далеко внизу быстрой рекой. Мост вздрагивал и напрягался под тяжестью, как туго натянутая струна, а другой такой же мост, кинутый с берега на берег, на страшной высоте, казался тонкой полоской кружева, сквозившей во мгле. Внизу шумело пенистое течение реки, на скалах дремали здания городка, а под ними из камней струилась и падала книзу вода тонкими белыми лентами. Дальше пена реки сливалась с беловатым туманом, который клубился и волновался точно в гигантском котле, закрывая зрелище самого водопада. Только глухой шум, неустанный, ровный и какой-то безнадежный, рвался оттуда, наполняя трепетом и дрожанием сырой воздух мгlistой ночи. Будто в тумане ворочалось и kloкотало что-то огромное и глухо стояло, жалуясь, что нет ему покоя от века до века...

Поезд продолжал боязливо ползти над бездной, мост все напрягался и вздрагивал, туман клубился, как дым огромного пожара, и, подымаясь к небу, сливался там с грядой дальних облаков. Потом вагон пошел спокойнее, под колесами зазвучала твердая земля, поезд сошел с моста и потянулся, прибавляя ход, вдоль берега. Тогда стало вдруг светлее, из-за облака, которое стояло над всем пространством огромного водопада, приглушая его грохот, выглянула луна, и водопад оставался сзади, а над водопадом все стояла мгlistая туча, соединявшая небо и землю... Казалось, какое-то летучее чудовище припало в этом месте к реке и впилося в нее среди ночи, и ворчит, и роется, и kloкочет...

Детройт остался у Матвея в памяти только тем, что железная дорога как будто вся целиком отделилась от земли и вместе с рельсами и поездом поплыла по воде. Это было уже следующей ночью, и на другом берегу реки, на огромном расстоянии разлегся город и тихо пламенел и сверкал синими, белыми, желтыми огнями. Потом поезд пронесся утром мимо Чикаго. На правой стороне чуть не в самые рельсы ударяла синяя волна Мичигана — огромного, как море, и пароход, шедший прямо к берегу, выплывал из-за водного горизонта, большой и странный, точно он взбирался на водяную гору... Еще несколько часов вдоль берега, потом Мильвоки — и дорога отклонилась к западу...

Города становились меньше и проще, пошли леса и речки, потянулись поля и плантации кукурузы... И по мере того, как местность изменялась, как в окна врывался вольный ветер полей и лесов, Матвей подходил к окнам все чаще, все внимательнее присматривался к этой стране, развертывавшей перед ним, торопливо и мимолетно, мирные картины знакомой лозичанину жизни.

И вместе с тем, понемногу и незаметно, застывшая во вражде душа оскорбленного и загнанного человека начинала как будто таять. В одном месте он чуть не до половины высунулся из окна, провожая взглядом быстро промелькнувшую пашню, на которой мужчины и женщины вязали снопы пшеницы. В другом, опершись на сапы и кирки, смотрели на пробегающий поезд крепкие загорелые люди, корчевавшие пни поваленного леса. Матвею была знакома эта работа — и ему хотелось бы выскочить из вагона, взять в руки топор или кирку и показать этим людям, что он, Матвей Лозинский, может сделать с самым здоровым пнищем.

Но поезд все звонил и летел, сменяя картину за картиной. Грустные дни чередовались с еще более грустными ночами. И по мере того, как природа становилась доступнее, понятнее и проще; по мере того, как душа лозичанина все более оттаивала и смягчалась, раскрываясь навстречу спокойной красоте мир-

ной и понятной ему жизни; по мере того, как в нем, на месте тупой вражды, вставало сначала любопытство, а потом удивление и тихое смирение, — по мере всего этого и наряду со всем этим его тоска становилась все острее и глубже. Теперь он чувствовал, что и ему нашлось бы место в этой жизни, если бы он не отвернулся сразу от этой страны, от ее людей, от ее города, если бы он оказал более внимания к ее языку и обычаю, если бы он не осудил в ней сразу, заодно, и дурное и хорошее... А теперь между ним и этой жизнью встало бродяжество и даже, может быть, преступление...

И люди, хотя часто походили с виду на Падди, начинали все-таки представляться лозищанину в другом свете. Пока он ехал, переходя с поезда на поезд, не раз сменилась и публика и кондукторская бригада. Но сменявшиеся пассажиры обращали внимание новых на огромного человека, чувствовавшего себя как будто неловко в своей одежде, робкого, застенчивого и беспомощного, как ребенок. Никто его не тревожил, никто не надоедал никакими расспросами, но каждый раз, как приходилось менять вагон или пересаживаться на другой поезд, к Матвею подходил или кондуктор, или кто-нибудь из соседей, брал его за руку и вел за собою на новое место: Большой человек покорно следовал в таких случаях за ними и глядел на провожавшего застенчивыми, но благодарными глазами.

Кроме того, здесь, в глубине страны, люди не казались уже до такой степени похожими друг на друга, как в том огромном городе, где Матвей испытал столько горестных приключений. В поезд то и дело садились рослые фермеры, загорелые, широкоплечие, в широких сюртуках и с бородами, которые могли бы и на них навлечь остроты нью-йоркских уличных бездельников. Порой суровый квакер* в застегнутом до шеи сюртуке, порой степной торговец скотом или охотник из Канады в живописном кожаном костюме, увешанном бахромой и кистями, выделялись среди остальной публики, привлекая невольное внимание. А один раз у костра сидела в ожидании своего поез-

да группа бронзовых индейцев, возвращавшихся из Вашингтона, завернувших в свои одеяла и равнодушно куривших трубки под взглядами любопытной толпы, высыпавшей на это зрелище из поезда...

На одной станции у небольшого города, здания которого виднелись над рекой, под лесом, в вагон, где сидел Матвей, вошел новый пассажир. Это был старик с худощавым лицом, сильно впавшими щеками, тонкими губами и острым пронизательным взглядом. Человек вида странного, пожалуй даже смешного, тем более, что одет он был совсем оборванцем, а между тем держал себя уверенно и даже гордо. Его одежда, когда-то, вероятно, черная, теперь стала серой от солнца, едкой белой пыли и многочисленных ржавых пятен. Его штаны были коротки, точно наде-ты с ребенка, и сапоги порыжели еще более, чем у Матвея, у которого они хранили все-таки следы цеток негра Сама на Бродвее. Но на голове незна-комца был надет новенький лоснящийся цилиндр, а во рту торчала большая сигара, наполнявшая вагон тонким ароматом. Матвей удивлялся уже ранее, что здесь, по-видимому, нет особых вагонов для «просто-го народа», а теперь подумал, что такого молодца в таких штанах да еще с сигарой, едва ли потер-пят рядом с собой остальные пассажиры, несмотря даже на его новый цилиндр, как будто украденный. Но, к его удивлению, старика почтительно провожали со станции какой-то господин, очень щеголеватый, и кузнец, видимо только что отошедший от горна. Оба они пожимали ему руки на платформе, а когда он вошел в вагон, ближайший молодой человек, тоже одетый весьма старательно, приветливо посторонил-ся, очищая место возле себя... Старик кивнул головой, вынул сигару, сплюнул и протянул молодому чело-веку руку в щегольской перчатке.

Между тем поезд опять мчался дальше. Теплый вечер спускался на поля, на леса, на равнины, заку-тывая все легким сумраком, который становился все синее и гуще. Мерное позванивание локомотива огла-шало леса, молчаливо лежавшие по обе стороны до-роги. И всякий раз при этом где-нибудь на полянке

мелькал огонь, порой горел костер, вокруг которого расположились дровосеки, порой светились окна домов... В одном месте семья садилась за ужин на открытом воздухе. В отворенных настежь дверях стояла женщина с ребенком, и даже пламя свечей не колебалось в тихом лесном затишье.

Матвей глядел на все это с смешанным чувством: чем-то родственным веяло на него от этого простора, где как будто еще только закипала первая борьба человека с природой, и ему становилось грустно: так же вот где-нибудь живут теперь Осип и Катерина, а он... что будет с ним в неведомом месте после всего, что он наделал?

Ему стало так горько, что он решил лучше заснуть... И вскоре он действительно спал, сидя и закинув голову назад. А по лицу его, при свете электрического фонаря, проходили тени грустных снов, губы подергивались, и брови сдвигались, как будто от внутренней боли...

XXVIII

Сон не всегда приходит к нам вовремя. Если бы на этот раз Матвей не спал, то мог бы услышать много любопытного, и его похождения кончились бы благополучно и скоро.

Но он спал, когда поезд остановился на довольно продолжительное время у небольшой станции. Недалеке от вокзала, среди вырубки, виднелись здания из свежесрубленного леса. На платформе царствовало необычайное оживление: выгружали земледельческие машины и камень, слышалась беготня и громкие крики на странном горловом жаргоне. Пассажиры американцы с любопытством выглядывали в окна, находя, по-видимому, что эти люди суетятся гораздо больше, чем бы следовало при данных обстоятельствах.

— Простите, сэр, — спросил пассажир, ехавший в поезде из Мильвоки, — что это за народ?

— Русские евреи, — ответил спрошенный. — Они основали колоннию около Дэблтуна...

В это время у открытой боковой двери вагона остановились две фигуры, и слышались звуки русской речи.

— Слушай, Евгений, — говорил один высоким тенором, с легким гортанным акцентом. — Еще раз: оставайся с нами.

— Нет, не могу, — ответил другой грудным баритоном. — Тянет, понимаешь... Эти последние известия...

— Такая же иллюзия, как и прежде!.. И из-за этих фантазий ты отворачиваешься от настоящего, хорошего, живого дела: дать новую родину тысячам людей, произвести социальный опыт...

— Все это так и, при других условиях... Повторяю тебе: тянет. А что касается фантазий, то... во-первых, Самуил, только в этих фантазиях и жизнь... будущего! А во-вторых, ты сам со своим делом...

— All right (готово)! — крикнул кто-то на платформе.

— Please in the cars (прошу в вагоны)! — раздались приглашения кондукторов. Два приятеля крепко обнялись, и один из них вскочил в вагон уже на ходу.

Это был высокий, молодой еще человек с неправильными, но выразительными чертами лица, в запыленной одежде и обуви, как будто ему пришлось в этот день много ходить пешком. Он положил небольшой узелок на полку, над головой Матвея, и затем его взгляд упал на лицо спящего. В это время Матвей, быть может под влиянием этого взгляда, раскрыл глаза, сонные и печальные. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Но затем голова Матвея опять откинулась назад и из его широкой груди вырвался глубокий вздох... Он опять спал.

Пришелец еще несколько секунд смотрел в это лицо... Несмотря на то, что Матвей был теперь переодет и гладко выбрит, что на нем был американский пиджак и шляпа, было все-таки что-то в этой фигуре, пробуждавшее воспоминания о далекой родине. Молодому человеку вдруг вспомнилась равнина, покрытая глубоким мягким снегом, звон колокольчика, высокий бор по сторонам дороги и люди

с такими же глазами, торопливо сворачивающие свои сани перед скачущей тройкой...

Может быть, и Матвею вспомнилось что-нибудь в этом роде. Губы его шевелились и бормотали что-то, и на лице виднелось выражение покорной просьбы.

Всю эту короткую молчаливую сцену наблюдал серый господин в цилиндре своими рысьими глазками, в которых светилось странное выражение — какого-то насмешливого доброжелательства.

— How do you do (здравствуйте), mister Nilof, — окликнул он, видя, что русский его не замечает. Тот вздрогнул и живо повернулся.

— А! Здравствуйте, судья Дикинсон, — ответил он на чистом английском языке, протягивая судьбе руку. — Простите, я вас не заметил.

— О, это ничего. Вы заинтересовались этим пассажиром?.. Меня он тоже интересует... Он едет, по-видимому, издалека.

— Из Мильвоки, — сказал один из пассажиров.

— О, нет, — вмешался другой. — Я еду из Мильвоки и уже застал его в поезде. Он, кажется, сел в Чикаго, а может быть, и в Нью-Йорке. Он не говорит ни слова по-английски и беспомощен, как ребенок.

— Очевидно, иностранец, — сказал судья Дикинсон, меряя спящего Матвея испытующим, внимательным взглядом. — Атлетическое сложение!.. А вы, мистер Нилов, кажется, были у ваших земляков? Как их дела? Я видел: они выписали хорошие машины: лучшая марка в Америке.

— Да... теперь им еще трудно. Но они надеются.

— Читали вы извлечение из отчетов эмиграционного комитета?.. Цифра переселенцев из России растет.

— Да, — кратко ответил Нилов.

— А кстати: в том же номере «Дэблтоунского курьера» есть продолжение истории нью-йоркского дикаря. И знаете: оказывается, что он тоже русский.

— В таком случае, сэр, он не дикарь, — сказал Нилов сухо.

— Гм... да... Извините, мистер Нилов... Я, конечно, не говорю о культурной части нации. Но... до известной степени все-таки... человек, который кусается...

— Без сомнения, он не кусается, сэр. Не все газетные известия верны.

— Однако... его поступок с полисменом Гопкинсом?..

— Полисмен Гопкинс, судя даже по газетам, первый ударил его по голове кlobом... Считаете вы его дикарем?

Серый джентльмен засмеялся и сказал:

— О! Но это немного другое дело... Полицейские этой страны снабжаются кlobами для известного употребления... И раз иностранец нарушает порядок...

— Мне очень жаль это слышать от судьи, — сказал Нилов холодно.

Серый джентльмен несколько выпрямился, видимо задетый, и сказал:

— Судью Дикинсона еще никто не упрекал за опрометчивые суждения... в его камере *. Здесь мы имеем дело с фактами, как они изложены в газетах... Я вас обидел чем-нибудь, мистер Нилов?

— Вы меня не обидели. Но если вы знаете полицейских вашей страны, то я знаю людей моей родины. И я считаю оскорбительной нелепостью газетные толки о том, что они кусаются. Вполне ли вы уверены, что ваши полицейские не злоупотребляют кlobами без причины?

Серый господин вынул изо рта сигару и некоторое время смотрел на собеседника, как будто удивленный неожиданным оборотом разговора.

— Гм... да, — сказал он. — Если взглянуть на дело с этой точки зрения... По совести, я в этом далеко не уверен... И поступи это дело ко мне, я потребовал бы разъяснения... По-видимому, у вас есть идея всего события?

— Да, у меня есть идея события... Я думаю, что мой земляк попал на митинг случайно... И случайно встретился с Гопкинсом.

— Ну, а зачем он наклонился и старался схватить

его... гм... одним словом... как это изложено в газетах?

— Правда состоит, вероятно, в том, что он наклонился... К сожалению, сэр, на моей родине люди действительно кланяются иногда слишком низко...

— Вы думаете? Ха! Это кажется невероятным. Намерение укубить и именно за руку... Это по меньшей мере требовало бы доказательств...

— А если на приветствие последовал хороший удар по голове...

— Ха-ха! Это, конечно, затемняет рассудок и освобождает страсти! Положительно, я считаю дело почти выясненным. Вы были бы отличным адвокатом. О, да! Вы могли бы стать лучшим адвокатом нашего города!.. И если вы все-таки предпочитаете работать на моей лесопилке...

Он стряхнул пепел с своей сигары и впился в лицо Нилова своими живыми, острыми глазками. Затем, оглянувшись на других пассажиров и желая придать разговору больше интимности, он пересел на скамью рядом с Ниловым, положил ему руку на колено и сказал, понизив голос:

— Извините меня, мистер Нилов... Дик Дикинсон человек любопытный. Позвольте вы мне предложить вам несколько вопросов, так сказать... личного свойства?

— Сделайте одолжение. Если они будут неудобны, я не отвечу.

— О, конечно, конечно! — засмеялся Дикинсон. — Видите ли: вы третий русский джентльмен, которого я встречаю... Скажите — много американцев видели вы у себя на родине?

— Встречал, хотя... очень немного.

— И, наверно, они меняли свое среднее положение на лучшие условия у вас?..

— Пожалуй...

— Скажите теперь... Может быть, я ошибаюсь, но... Мне кажется... вы лично не поступили ли наоборот?.. И здесь вы уже несколько раз имели случай скинуть рабочую блузу и сделать лучшую карьеру...

Нилов бросил взгляд на невероятный костюм старого джентльмена и ответил, улыбнувшись:

— Я вижу на вас, судья Дикинсон, ваш рабочий костюм!

— О, это немного другое дело, — ответил Дикинсон. — Да, я *был* каменщиком. И я поклялся надевать доспехи каменщика во всех торжественных случаях... Сегодня я был на открытии банка в N. Я был приглашен учредителями. А кто приглашает Дика Дикинсона, тот приглашает и его старую рабочую куртку. Им это было известно.

— Я очень уважаю эту черту, сэр, — сказал серьезно Нилов. — Но...

— Но, повторяю, это другое дело. Я надеваю старое рабочее платье и лучшие перчатки из Нью-Йорка. Это напоминает мне, чем я был и чем стал, то есть чем именно я обязан моим старым доспехам. Это мое прошлое и мое настоящее...

Он замолк, пожевал сигару своими тонкими ироническими губами и, пристально глядя на молодого человека, прибавил:

— Вы, кажется, идете обратным путем, и в старости вам, пожалуй, захочется надеть ваш фрак.

— Надеюсь, что нет, — ответил Нилов. — Однако, кажется, поезд останавливается. Это лесопилка, и я здесь сойду. До свидания, сэр!

— До свидания. Я оставляю еще за собой свои вопросы...

Нилов, снимая свой узел, еще раз пристально и как будто в нерешимости посмотрел на Матвея, но, заметив острый взгляд Дикинсона, взял узел и попрощался с судьей. В эту самую минуту Матвей открыл глаза, и они с удивлением остановились на Нилове, стоявшем к нему в профиль. На лице проснувшегося проступило как будто изумление. Но, пока он протирает глаза, поезд, как всегда в Америке, резко остановился, и Нилов вышел на платформу. Через минуту поезд несясь дальше.

Дикинсон пересел на свое место, и американцы стали говорить об ушедшем.

— Да, — сказал судья, — это третий русский

джентльмен, которого я встречаю, и третий человек, которого я не могу понять...

— Быть может... из секты Лео Толстого, — предположил один из собеседников.

— Не знаю... Но он, видимо, получил прекрасное образование, — продолжал Дикинсон задумчиво. — И уже несколько раз, на моих глазах, пропускает прекрасные шансы... Когда я исполнил свой первый небольшой подряд, мистер Дэглас, инженер, сказал мне: «Я вами доволен, Дик Дикинсон. Скажите мне, в чем ваша амбиция». Я усмехнулся и сказал: «Для первого случая я не прочь попасть в президенты». Мистер Дэглас засмеялся тоже и ответил: «Верно, Дик! Не могу поручиться, что вы станете президентом, но вы постройте целый город и станете в нем головой...»

— И это оправдалось, — сказал почтительно самый юный из пассажиров.

— Да, — продолжал Дикинсон. — Понять человека — значит узнать, чего он добивается. Когда я заметил этого русского джентльмена, работавшего на моей лесопилке, я тоже спросил у него: «What is your ambition?». И знаете, что он мне ответил? «Я надеюсь, что приготовлю вам фанеры не хуже любого из ваших рабочих...»

— Да, все это странно, — сказал один из собеседников.

Между тем Матвей, который опять задремал в поезде после ухода Нилова, вздрогнул и забормotal во сне.

— Вот тоже человек, которого трудно понять, — засмеялся один из американцев.

— Я не встречал никого, кто мог бы так много спать в таком неудобном положении.

Судья Дикинсон внимательно посмотрел на Матвея и потом сказал:

— Я готов биться об заклад: на душе этого человека... неспокойно. Я не знаю, куда он едет, но предпочел бы, чтобы он миновал наш город. О! у меня на этот счет верный глаз...

Звон раздавался чаще, поезд замедлял ход, кондуктор вошел в вагон и отобрал билеты у серого старика и у его молодого соседа. Потом он подошел к спавшему Матвею и, тронув его за рукав, сказал:

— Дэблтоун, Дэблтоун, сэр...

Матвей проснулся, раскрыл глаза, понял и вздрогнул всем телом. Дэблтоун! Он слышал это слово каждый раз, как новый кондуктор брал билет из-за его шляпы, и каждый раз это слово будило в нем неприятное ощущение. Дэблтоун, поезд замедлил ход, берут билет, значит, конец пути, значит, придется выйти из вагона... А что же дальше, что его ждет в этом Дэблтоуне, куда ему взяли билет, потому что до этого места хватило денег...

В окнах вагона замелькали снаружи огни, точно бриллиантовые булавки, воткнутые в темноту гор и лесов. Потом эти огни сбежали далеко вниз, отразились в каком-то клочке воды, потом совсем исчезли, и мимо окна, шипя и гудя, пробежала гранитная скала так близко, что на ней ясно отражался желтый свет из окон вагона... Затем под поездом загудел мост, опять появились далекие огни над рекой, но теперь они взбирались все выше, подбегали все ближе, заглядывая в вагон вплотную и быстро исчезая назад. На паровозе звонили без перерыва, потому что поезд, едва замедливший ход, мчался теперь по главной улице города Дэблтоуна...

— Видели ли вы, сэр, как этот незнакомец вздрогнул? — спросил молодой человек, очевидно, заискивавший у судьи Дикинсона.

— Я все видел, — ответил старик. — Дик Дикинсон примет свои меры.

Через минуту двери домов в Дэблтоуне раскрылись, и жители выходили на встречу своих приезжих. Вагон опустел. Молодой человек еще долго кланялся мистеру Дикинсону и напоминал о поклоне мисс Люси. Потом он отправился в город и посеял там некоторое беспокойство и тревогу.

Город Дэблтоун был молодой город молодого

штата. Прошло не более восьми лет с тех пор, как были расплачиваемы его улицы у линии новой железной дороги, и с тех пор городок жил тихою жизнью американского захолустья. Совершенно понятно, что среди однотонной рабочей жизни город Дэблтоун жадно поглотил известие, что с последним поездом прибыл человек, который не сказал никому ни слова, который вздрагивал от прикосновения, который, наконец, возбудил сильные подозрения в судьбе Дикинсона, самом эксцентричном, но и самом уважаемом человеке Дэблтоуна.

Сойдя с поезда, судья Дикинсон тотчас же подошел к единственному дэблтоунскому полицмену и, указав на фигуру Матвея, нерешительно стоявшего на залитой электрическим светом платформе, сказал:

— Посмотрите, Джон, куда отправится этот приезжий. Надо узнать намерения этого молодца. Боюсь, что нам не придется узнать ничего особенно хорошего.

Полицмен Джон Келли отошел и скрылся под тенью какого-то сарая, гордясь тем, что, наконец, и ему выпало на долю исполнять некоторое довольно тонкое поручение...

Однако Джону Келли скоро стало казаться, что у незнакомца не было никаких намерений. Он просто вышел на платформу, без всякого багажа, только с корзиной в руке, даже, по-видимому, без всякого плана действий, и тупо смотрел, как удаляется поезд. Раздался звон, зашипели колеса, поезд пролетел по улице, мелькнул в полосе электрического света около аптеки, а затем потонул в темноте, и только еще красный фонарик сзади несколько времени посылал прощальный привет из глубины ночи...

Ложишанин вздохнул, оглянулся и сел на скамью под забором, около опустевшего вокзала. Луна поднялась на середину неба, фигура полицмена Джона Келли стала выступать из сократившейся тени, а незнакомец все сидел, ничем не обнаруживая своих намерений по отношению к засыпавшему городу Дэблтоуну.

Тогда Джон Келли вышел из засады и согласно уговору постучался в окно к судье Дикинсону.

Судья Дикинсон высунул голову с выражением человека, который знал вперед все то, что ему пришли теперь сообщить.

— Ну что, Джон? Куда направился этот молодец?

— Он никуда не отправился, сэр. Он все сидит на том же месте.

— Он все сидит... Хорошо. Обнаружил он чем-нибудь свои намерения?

— Я думаю, сэр, что у него нет никаких намерений.

— У всякого человека есть намерения, Джон, — сказал Дикинсон с улыбкой сожаления к наивности дэблтоунского стража. — Поверьте мне, у всякого человека непременно есть какие-нибудь намерения. Если я, например, иду в булочную, значит я намерен купить белого хлеба, это ясно, Джон. Если я ложусь в постель, очевидно я намерен заснуть. Не так ли?

— Совершенно справедливо, сэр.

— Ну, а если бы... (тут лицо старого джентльмена приняло лукавое выражение), если бы вы увидели, что я хожу в полночь около железнодорожного склада, осматривая замки и двери... Понимаете вы меня, Джон?

— Как нельзя лучше, сэр... Однако... Если человек только сидит на скамье и вздыхает...

— Уэлл! Это, конечно, не так определенно. Он имеет право, как и всякий другой, сидеть на скамье и вздыхать хоть до утра. Посмотрите только, не станет ли он делать чего-нибудь похуже. Дэблтоун полагается на вашу бдительность, сэр! Не пойдет ли незнакомец к реке, нет ли у него сообщников на барках, не ждет ли он случая, чтобы ограбить железнодорожный поезд, как это было недавно около Мадисона... Постойте еще, Джон.

Дик Дикинсон прислушался: к станции подходил поезд. Судья посмотрел на Джона своими острыми глазками и сказал:

— Джон!

— Слушаю, сэр!

— Я сильно ошибаюсь, если вы найдете его на месте. Он хотел обмануть вашу бдительность и достиг этого. Он, вероятно, сделал свое дело и теперь готовится сесть в поезд. Поспешите.

Окно Дикинсона захлопнулось, а Джон Келли бегом отправился на вокзал. Человек без намерений все сидел на прежнем месте, низко опустив голову. Джон Келли стал искать тени подлиннее и погуще, чтобы пристроить к ней свою долговязую фигуру. Так как это не удавалось, то Келли решил, что ему необходимо присесть у стены склада. А затем голова Джона Келли сама собой прислонилась к стене, и он сладко заснул. Судья Дикинсон подождал еще некоторое время, но, видя, что полисмен не возвращается, решил, что человек без намерений оказался на месте. Он хотел уже тушить свою лампу, когда ему доложили, что с поезда явился к нему человек по экстренному делу.

Действительно, в его комнату вошел торопливый походкой человек довольно неопределенного вида, в котором, однако, опытный глаз судьи различил некоторые специфические черты детектива (сыщика).

— Вы здешний судья? — спросил незнакомец, поклонившись.

— Судья города Дэблтоуна, — ответил Дикинсон важно.

— Мне необходим приказ об аресте, сэр.

— А! Я так и думал... Человек высокого роста, атлетического сложения?.. Прибыл с предыдущим поездом?..

Сыщик посмотрел с удивлением на проницательного судью и сказал:

— Как? Вам уже известно, что нью-йоркский дикарь?..

Судья Дикинсон быстро взглянул на сыщика и сказал:

— Ваши полномочия?

Новоприбывший потупился.

— Я так спешно отправился по следам, что не

успел запастись специальными приказами. Но история так известна... Дикарь, убивший Гопкинса...

— По последним телеграммам, — сказал холодно судья, — здоровье полисмена Гопкинса находится в отличном состоянии. Я спрашиваю ваши полномочия?

— Я уже сказал вам, сэр... Дело очень важно, и притом — он иностранец.

— Иначе сказать, вы часто облегчаете себе задачу с иностранцами. Я не дам приказа.

— Но, сэр... это опасный субъект.

— Полиция города Дэблтоуна исполнит свой долг, сэр, — сказал судья Дикинсон надменно. — Я не допущу, чтобы впоследствии писали в газетах, что в городе Дэблтоуне арестовали человека без достаточных оснований.

Незнакомец вышел, пожав плечами, и отправился прежде всего на телеграф, а судья Дикинсон лег спать, совершенно уверенный, что теперь у полиции города Дэблтоуна есть хорошая помощь по надзору за человеком без намерений. Но прежде чем лечь, он послал еще телеграмму, вызывавшую на завтра мистера Евгения Нилова...

xxx

Наутро Джон Келли явился к судье.

— Ну, что скажете, Джон? — спросил у него Дикинсон.

— Все в порядке, сэр. Только... Там за ним следит еще кто-то.

— Знаю. Человек небольшого роста, в сером костюме.

Джон Келли с благоговением посмотрел на всезнающего судью и продолжал:

— Он все сидит, сэр, опустив голову на руки. Когда поутру проходил железнодорожный сторож, он только посмотрел на него. «Как больная собака», — сказал Виллиамс.

— И ничего больше?

— Около незнакомца собирается толпа... Вся площадка и сквер около вокзала заняты народом, сэр.

— Что им нужно, Джон?

— Они, вероятно, тоже хотят узнать его намерения... И притом разнесся слух, будто это дикарь, убивший полисмена в Нью-Йорке...

Донесение Джона было совершенно справедливо. За ночь слухи о том, что с поездом прибыл странный незнакомец, намерения которого возбудили подозрительность мистера Дикинсона, успели вырасти, и наутро, когда оказалось, что у незнакомца нет никаких намерений и что он просидел всю ночь без движения, — город Дэблтоун пришел в понятное волнение. Около странного человека сгали собираться кучки любопытных, сначала мальчики и подростки, шедшие в школы, потом приказчики, потом дэблтоунские дамы, возвращавшиеся из лавок и с базаров, — одним словом, весь Дэблтоун, постепенно просыпавшийся и принимавшийся за свои обыденные дела, перемывал на площадке городского сквера у железнодорожной станции, стараясь, конечно, проникнуть в намерения незнакомца...

Но это было очень трудно, так как незнакомец все сидел на месте, вздыхал, глядел на проходящих и порой отвечал на вопросы непонятными словами. А между тем у Матвея к этому времени уже было намерение. Рассмотрев внимательно свое положение в эту долгую ночь, пока город спал, а невдалеке сновали тени полицейского Келли и приезжего сыщика, он пришел к заключению, что от судьбы не уйдешь, судьба же представлялась ему, человеку без языка и без паспорта, в виде неизбежной тюрьмы... Он долго думал об этом и решил, что, раньше или позже, а без знакомства с американской кутузкой дело обойтись не может. Так пусть уж лучше раньше, чем позже. Он покажет знаками, что ничего не понимает, а об истории в Нью-Йорке здесь, конечно, никто не знает... Поэтому он даже вздохнул с облегчением и с радостной доверчивостью поднялся навстречу добродушному Джону Келли, который шел к нему, расталкивая толпу.

Судья Дикинсон вышел в свою камеру, когда шум и говор раздались у его дома и в камеру ввалилась толпа. Незнакомый великан кротко стоял посередине, а Джон Келли сиял торжеством.

— Он обнаружил намерение, господин судья, — сказал полисмен, выступая вперед.

— Хорошо, Джон. Я знал, что вы оправдаете доверие города... Какое же именно намерение он обнаружил?

— Он хотел укусить меня за руку.

Мистер Дикинсон даже откинулся на своем кресле.

— Укусить за руку?.. Так это все-таки правда! Уверены ли вы в этом, Джон Келли?

— У меня есть свидетели.

— Хорошо. Мы спросим свидетелей. Случай требует внимательного расследования. Не пришел еще мистер Нилов?..

Нилова еще не было. Матвей глядел на все происходившее с удивлением и неудовольствием. Он решил идти навстречу неизбежности, но ему казалось, что и это делается здесь как-то не по-людски. Он представлял себе это дело гораздо проще. У человека спрашивают паспорт, паспорта нет. Человека берут, и полицейский с книгой под мышкой ведет его куда следует. А там уж, что будет, то есть, как решит начальство.

Но здесь и это простое дело не умеют сделать как следует. Собралась зачем-то толпа, точно на зверя, все валят в камеру, и здесь сидит на первом месте вчерашний оборванец, правда, теперь одетый совершенно прилично, хотя без всяких знаков начальственного звания... Матвей стал озираться по сторонам с признаками негодования.

Между тем судья Дикинсон приступил к допросу.

— Прежде всего установим национальность и имя, — сказал он. — Your name (ваше имя)?

Матвей молчал.

— Your nation (ваша национальность)? — И, не получая ответа, судья посмотрел на публику. — Нет ли здесь кого-нибудь, знающего хоть несколько слов

по-русски? Миссис Брайс! Кажется, ваш отец был родом из России?..

Из толпы вышла женщина лет сорока, небольшого роста, с голубыми, как и у Матвея, хотя и значительно выцветшими глазами. Она стала против Матвея и как будто начала припоминать что-то.

В камере водворилось молчание. Женщина смотрела на лозишанина, Матвей впился глазами в ее глаза, тусклые и светлые, как лед, но в которых пробивалось что-то, как будто старое воспоминание. Это была дочь поляка-эмигранта. Ее мать умерла рано, отец спился где-то в Калифорнии, и ее воспитали американцы. Теперь какие-то смутные воспоминания шевелились в ее голове. Она давно забыла свой язык, но в ее памяти еще шевелились слова песни, которой мать забавляла когда-то ее, малого ребенка. Вдруг глаза ее засветились, и она приподняла над головой руку, шелкнула пальцами, повернулась и запела по-польски, как-то странно, точно говорящая машина:

Наша мат-ка... ку-ропат-ка...
Рада бить дет-ей...

Матвей вздрогнул, рванулся к ней и заговорил быстро и возбужденно. Звуки славянского языка дали ему надежду на спасение, на то, что его, наконец, поймут, что ему найдется какой-нибудь выход...

Но глаза женщины уже потухли. Она помнила только слова песни, но и в ней не понимала ни слова. Потом поклонилась судье, сказала что-то по-английски и отошла...

Матвей кинулся за ней, крича что-то, почти в иступлении, но немец и Келли загородили ему дорогу. Может быть, они боялись, что он искушает эту женщину, как хотел укусить полисмена.

Тогда Матвей схватился за ручку скамейки и пошатнулся. Глаза его были широко открыты, как у человека, которому представилось страшное видение. И действительно, ему, голодному, истерзанному и потрясенному, первый раз в жизни привиделся сон наяву. Ему представилось совершенно ясно, что

он еще на корабле, стоит на самой корме, что голова у него кружится, что он падает в воду. Это снилось ему не раз во время путешествия, и он думал после этого, что чувствуют эти бедняки с разбитых кораблей, одни, без надежды, среди этого бездушного, бесконечного и грозного океана...

Теперь этот самый сон проносился перед его широко открытыми глазами. Вместо судьи Дикинсона, вместо полицейского Келли, вместо всех этих людей, вместо камеры, — перед ним ясно ходили волны, пенные, широкие, холодные, без конца, без края... Они ходят, грохочут, плещут, поднимаются, топят... Он напрасно старается вынырнуть, крикнуть, позвать, схватиться, удержаться на поверхности... Что-то тянет его книзу. В ушах шумит, перед глазами зеленая глубина, таинственная и страшная. И вдруг к нему склоняется человеческое лицо с светлыми застывшими глазами. Он оживает, надеется, он ждет помощи. Но глаза тусклы, лицо бледно. Это лицо мертвеца, который утонул уже раньше...

Вся эта картина мелькнула на одно мгновение, но так ясно, что его сердце сжалось ужасом. Он глубоко вздохнул и схватился за голову... «Господи боже, святая дева, — бормотал он, — помогите несчастному человеку. Кажется, что в голове у меня неладно...»

Он протер глаза кулаком и опять стал искать надежду на лицах этих людей.

А в это время полицейский Джон объяснил судье Дикинсону, при каких обстоятельствах обнаружили намерения незнакомца. Он рассказал, что, когда он подошел к нему, тот взял его руку вот так (Джон взял руку судьи), потом наклонился вот этак...

И полицейский Джон, наклонившись к руке судьи, для большей живости оскалил свои белые зубы, придав всему лицу выражение дикой свирепости.

Эта демонстрация произвела сильное впечатление на публику, но впечатление, произведенное ею на Матвея, было еще сильнее. Этот язык был и ему понятен. При виде маневра Келли, ему стало сразу ясно очень многое: и то, почему Келли так резко отдернул свою руку, и даже за что он, Матвей, получил

удар в Центральном парке... И ему стало так обидно и горько, что он забыл все.

— Неправда, — крикнул он, — не верьте этому подлому человеку...

И, возмущенный до глубины души клеветой, он кинулся к столу, чтобы показать судье, что именно он хотел сделать с рукой полисмена Келли...

Судья Дикинсон вскочил со своего места и наступил при этом на свою новую шляпу. Какой-то дюжий немец, Келли и еще несколько человек схватили Матвея сзади, чтобы он не искушал судью, выбранного народом Дэблтоуна; в камере водворилось волнение, небывалое в летописях города. Ближайшие к дверям кинулись к выходу, толпились, падали и кричали, а внутри происходило что-то непонятное и страшное...

Измученный, голодный, оскорбленный, доведенный до иступления, лозичанин раскидал всех вцепившихся в него американцев, и только дюжий, как и он сам, немец еще держал его сзади за локти, упираясь ногами... А он рвался вперед, с глазами, налившимися кровью, и чувствуя, что он действительно начинает сходить с ума, что ему действительно хочется кинуться на этих людей, бить и, пожалуй, кусаться...

Неизвестно, что было бы дальше. Но в это время в камеру быстро вошел Нилов. Он протолкался к Матвею, стал перед ним и спросил с участием, по-русски:

— Эй, земляк! Что это вы тут натворили?

При первых звуках этого голоса Матвей рванулся и, припав к руке новопришедшего, стал целовать ее, рыдая, как ребенок...

Через четверть часа камера мистера Дикинсона опять стала наполняться обывателями города Дэблтоуна, узнавшими, что по обстоятельствам дела намерение незнакомца разъяснилось в самом удовлетворительном смысле. В лице русского джентльмена, работающего на лесопилке, он нашел земляка и адвоката, которому не стоило много труда опровергнуть обвинение. Судья Дикинсон получил вполне удовлетворительные ответы на вопросы: «Your пате?»,



К рассказу «Без языка».



«Your nation?» и на все другие, вытекавшие из обстоятельств дела. Гордый полным успехом, увенчавшим его разбирательство, он великодушно забыл даже о новой шляпе и, быстро покончив с официальными отношениями, протянул обвиняемому руку, выразив при этом уверенность, что выбор именно Дэблтоуна из всех городов союза делает величайшую честь его проницательности... В заключение он предложил Матвею партикулярный вопрос:

— Гоу до ю лайк днс кэунтри, сэр?

— Он хочет знать, как вам понравилась Америка? — перевел Нилов.

Матвей, который все еще дышал довольно тяжело, махнул рукой.

— А! чтоб ей провалиться, — сказал он искренно.

— Что сказал джентльмен о нашей стране? — с любопытством переспросил судья Дикинсон, одновременно возбуждив великое любопытство в остальных присутствующих.

— Он говорит, что ему нужно время, чтобы оценить все достоинства этой страны, сэр...

— Вэри уэлл! Ответ, совершенно достойный благоразумного джентльмена! — сказал Дикинсон тоном полного удовлетворения.

XXXI

На следующий день газета города Дэблтоуна вышла в увеличенном формате. На первой странице ее красовался портрет мистера Мэтью, нового обитателя славного города, а в тексте, снабженном достаточным количеством весьма громких заглавий, редактор ее обращался ко всей остальной Америке вообще и к городу Нью-Йорку в особенности. «Отныне, — писал он, — город Дэблтоун может гордиться тем обстоятельством, что его судья, мистер Дикинсон, удачно разрешил вопрос, над которым тщетно ломали головы лучшие ученые этнографы Нью-Йорка. Знаменитый дикарь, виновник инцидента в Central park'e, известие о котором обошло всю Америку в столь

искаженном виде, в настоящее время является гостем нашего города. После весьма искусного расследования, произведенного чрезвычайно сведущим в своем деле судьей, мистером Дикинсоном, он оказался русским, уроженцем Лозизианской губернии (одной из лучших и самых просвещенных в этой великой и дружелюбной стране), христианином и — добавим от себя — очень кротким человеком, весьма приятным в обращении и совершенно лояльным. Он обнаружил истинно христианскую радость, узнав о том, что здоровье полисмента Гопкинса, считавшегося убитым, находится в вожделенном состоянии и что этот полисмен уже приступил к исполнению своих обычных обязанностей. Тем лучше для полисмента Гопкинса, но, смеем прибавить, основываясь на мнении лучших юристов нашего города, что в этом вопросе является заинтересованным лицом единственно лишь сам полисмен Гопкинс, так как он сам виновен в постигшем его несчастии. Да, повторяем, он сам виновен, так как первый ударил кlobом по голове мирного иностранца, обратившегося к нему с выражением любви и доверия. Если судьи города Нью-Йорка думают иначе, если адвокат этого штата пожелает доказывать противное или сам полисмен Гопкинс вознамерится искать убытки, то они будут иметь дело с лучшими юристами Дэблтоуна, выразившими готовность защищать обвиняемого безвозмездно. Едва ли, однако, в этом представится надобность после того, как мы разоблачим на этих столбах еще одну клевету, которой наши нью-йоркские собратья по перу, без достаточной проверки, очернили репутацию Мэтью Лозинского, нашего уважаемого гостя и, надеемся — будущего согражданина. Дело в том, что он *вовсе не кусается*. Движение, которое полисмен Гопкинс истолковал в этом позорном смысле (что *вовсе не* делает чести проникательности нью-йоркской полиции), имеет, наоборот, значение самого горячего привета и почтения, которым в Лозизианской губернии обмениваются взаимно люди самого лучшего круга. Он просто наклонился, чтобы поцеловать у Гопкинса руку. То же движение мы имели

случай наблюдать с его стороны по отношению к судье Дикинсону, полисмену Джону Келли, а также к одному из его соотечественников, занимающему ныне очень скромное положение на лесопилке мистера Дикинсона, но которому его таланты и образование, без сомнения, откроют широкую дорогу в этой стране. Нет сомнения, что если бы и у нас на это выражение высшей деликатности последовал грубый ответ по голове кlobом, то полисмен города Дэблтоуна испытал бы горькую судьбу полисмана города Нью-Йорка, так как русский джентльмен обладает необыкновенной физической силой. Но Дэблтоун — гордим это с гордостью, — не только разрешил этнографическую загадку, оказавшуюся не по силам кипчивому Нью-Йорку, но еще подал сказанному городу пример истинно христианского обращения с иностранцем, — обращения, которое, надеемся, изгладит в его душе горестные воспоминания, порожденные пребыванием в Нью-Йорке.

Из судебной камеры мистер Нилов — русский джентльмен, о котором сказано выше, — увел соотечественника в свое жилище, находящееся в небольшом рабочем поселке, около лесопилки. Значительная часть населения города Дэблтоуна, состоявшая преимущественно из юных джентльменов и леди, провожала их до самого дома одобрительными криками, и даже после того, как дверь за ними закрылась, народ не расходился, пока мистер Нилов не вышел вновь и не произнес небольшого спича на тему о будущем процветании славного города... Он закончил просьбой дать отдых его скромному соотечественнику, не привыкшему к столь шумным изъяснениям общественной симпатии».

Разумеется, автор красноречивой статьи не знал, что, когда граждане города Дэблтоуна разошлись, Матвей вздохнул с облегчением и сказал:

— Что?.. совсем ушли?

— Да, — ответил Нилов, принявшийся готовить кофе на керосинке.

— А, чтоб их всех взяла холера!.. — от души сказал Матвей и как-то весь опустился.

спустя недели две, он работал уже рядом с Ниловым, подавая лес на зубчатые колеса, где Нилов резал его на тонкие фанеры. К вечеру, оба засыпанные опилками, они возвращались домой.

Матвей нанял комнату рядом с Ниловым, обедать они ходили вместе в ресторан. Матвей не говорил ничего, но ему казалось, что обедать в ресторане — чистое безумие, и он все подумывал о том, что он устроится со временем поскромнее. Когда пришел первый расчет, он удивился, увидя, что за расходами у него осталось еще довольно денег. Он их припрятал, купив только смену белья.

Еще через неделю Нилов сказал ему, что они отправятся вместе в Дэблтоун, где он, Нилов, будет читать лекцию. Они пришли в большой зал, весь набитый народом, который встретил их криками и свистом (в Америке это выражение одобрения). Затем все стихло, судья Дикинсон сказал несколько слов, указывая то на Матвея, то на Нилова, а затем последний стал долго и свободно рассказывать что-то, по временам показывая места на большой карте. Публика, состоявшая в большинстве из рабочих людей, слушала с напряженным вниманием и в конце опять устроила им овацию...

Когда после этого они пришли домой, Нилов вынул кучку денег и, разделив ее на две половинны, одну отдал Матвею.

— Это мы с вами заработали сегодня, — сказал он. — Это плата за лекцию. Я говорил им о нашей родине и о ваших похождениях. По справедливости, половина принадлежит вам.

Матвей пробовал было отказаться, но потом принял деньги. За это время его отношение к Нилову сильно изменилось, и хотя он не все понимал, однако совершенно отбросил мысль о блудном сыне. Получив деньги, он сконфуженно смотрел на Нилова... Ему хотелось бы выразить как-нибудь свою благодарность и почтение... Губы его тянулись к руке Нилова, колени подгибались для земного поклона... Но в лице Нилова, а может быть, и в тех неделях, которые они уже провели вместе, было что-то удер-

жавшее Матвея от этого излияния. Поэтому он взял деньги и, положив их около себя, сказал:

— А что... извините и не подумайте чего худого... Тут очень много денег?

— Не очень много, но достаточно, чтобы сделать себе хорошую пару платья, — ответил Нилов. — Вы ходите в одном и на работу и в праздник.

— А! — сказал Матвей, махнув рукой. — Я простой человек, работник.

— Здесь все простые люди, и работники считают себя не хуже других и не хотят ничем отличаться по внешности. Я советую вам обзавестись бельем и платьем.

Матвей потупился.

— Простите меня, — сказал он. — Я не то, чтобы там... не слушался вас или что... Но... скажите: можно здесь работой скопить на дорогу?

— Куда?

— Назад, на родину!.. — сказал Матвей страстно. — Видите ли, дома я продал и избу, и коня, и поле... А теперь готов работать, как вол, чтобы вернуться и стать хоть последним работником там, у себя на родной стороне...

Нилов прошелся по комнате, о чем-то думая, и потом, остановившись против Лозинского, сказал:

— Слушайте, Лозинский. Заработать столько можно. Можно со временем и вернуться. Но... всякий человек должен знать, что он делает. Зачем вы ехали сюда?

— А! — ответил Матвей, махнув рукой. — Мало ли что приходит человеку в голову.

— Постарайтесь вспомнить, что вам приходило в голову.

Матвей наморщил лоб и сам удивился тому, как трудно идут из головы слова и мысли.

— А! Хотелось человеку, конечно... клок вольной земли, чтобы было где разойтись плугом... Ну там... пару волов, хорошего коня... корову... крепкую телегу...

— А еще?

Матвей чувствовал, что за всеми перечисленными

предметами в душе остается еще что-то, какой-то неясный осадок... Мелькнуло лицо Анны...

— Ну, потом... — продолжал он с усилием, — человек уже в возрасте. Своя хата, значит, уже и своя жена.

— И еще что-нибудь?

— Еще... если бы можно было молиться по-старому в своей церкви...

В голове его мелькнули еще разговоры о свободе, но это было уже так неясно и неопределенно, что он не сказал об этом ни слова.

Нилов подождал еще. Лицо его было серьезно и несколько взволнованно.

— Все это вы можете найти здесь! — сказал он решительно и резко, — все, что вы искали. Зачем же вам уезжать?

И, видя, что Матвей несколько огорчен его резким тоном, он прибавил:

— Вы пережили самое трудное: первые шаги, на которых многие здесь гибнут. Теперь вы уже на дороге. Поживите здесь, узнайте страну и людей... И если все-таки вас потянет и после этого... Потянет так, что никто не в состоянии будет удержать... Ну, тогда...

В голосе Нилова звучало какое-то страстное возбуждение. Матвей заметил это и сказал:

— А вы сами... извините... ведь вы хотите уехать. Лицо Нилова опять слегка омрачилось.

— Да, — ответил он. — У меня свои причины...

— Значит... вы не нашли для себя то, чего искали?

Нилов распахнул окно и некоторое время смотрел в него, подставляя лицо ласковому ветру. В окно глядела тихая ночь, сияли звезды, невдалеке мигали огни Дэблтоуна, трубы заводов начинали куриться: на завтра разводили пары после праздничного отдыха.

— Здесь есть то, чего я искал, — ответил Нилов, повернув от окна взволнованное и покрасневшее лицо. — Но... слушайте, Лозинский. Мы до сих пор с вами играли в прятки... Ведь вы меня узнали?

— Я узнал вас, — смущенно сказал Матвей.

— И я вас узнал также. Не знаю, поймете ли вы меня, но... за то одно, что мы здесь встретились с вами... и с другими, как равные... как братья, а не как враги... За это одно я буду вечно благодарен этой стране...

Матвей слушал с усилием и напряжением, не вполне понимая, но испытывая странное волнение...

— А если я все-таки еду обратно, — продолжал Нилов, — то... видите ли... Здесь есть многое, чего я искал, но... этого не увезешь с собою... Я уже раз уезжал и вернулся... Есть такая болезнь... Ну, все равно. Не знаю, поймете ли вы меня теперь. Может, когда-нибудь поймете. На родине мне хочется того, что есть здесь... Свободы, своей, понимаете? Не чужой... А здесь... Здесь мне хочется родины...

Нилов смолк, и после этого оба они долго еще смотрели в окно на ночное небо, на тихую, ласковую ночь чужой стороны. Нилов думал о том, что скоро он покинет все это и оставит позади целую полосу своей жизни. А Матвею почему-то вспомнилось море и его глубина, загадочная, таинственная, непонятная... Так же непонятно казалось ему теперь многое в жизни и так же манило еще смутную мысль... И, вспоминая недавний разговор, он чувствовал, что не знал хорошо себя самого и что за всем, что он сказал Нилову, — за коровой, и хатой, и полем, и даже за чертами Анны — чудится еще что-то, что манило его и манит, но что это такое — он решительно не мог бы ни сказать, ни определить в собственной мысли... Но было это глубоко, как море, и заманчиво, как дали просыпающейся жизни...

XXXIII

Наша правдивая история близится к концу. Через некоторое время, когда Матвей несколько узнал язык, он перешел работать на ферму к дюжему немцу, который, сам страшный силач, ценил и в Матвее его силу. Здесь Матвей ознакомился с машинами, и уже на следующую весну Нилов, перед своим отъездом,

пристроил его в еврейской колонии инструктором. Сам Нилов уехал, обещав написать Матвею после приезда.

О жизни Матвея в колонии, а также историю американской жизни Нилова мы, быть может, расскажем в другой раз. А теперь нам придется досказать немного.

Статья «Дэблтоунского курьера» об окончании походов «дикаря» была перепечатана в нескольких газетах преимущественно провинциальных городов, недовольных «кичливостью» нью-йоркцев, впадших в данном случае в такую грубую ошибку. Нью-Йоркские газеты обмолвились о ней лишь краткими и довольно сухими извлечениями фактического свойства, так как в это время на поверхности политической жизни страны появился один из крупных вопросов, поднявших из глубины взволнованного общества все принципы американской политики... нечто вроде бури, точно вихрем унесшей и портреты «дикаря», и веселое личико мисс Лиззи, устроившей родителям сюрприз, и многое множество других знаменитостей, которые, как мотыльки, летают на солнышке газетного дня, пока их не развеет появление на горизонте первой тучи.

О Матвее и его истории скоро забыли, и ни Дыма, ни Анна не узнали, что он очутился в Дэблтоуне и потом перешел в колонию, что здесь он был приписан к штату и подавал свой голос после мучительных колебаний и сомнений (ему все вспоминалась история Дымы в Нью-Йорке). И понемногу даже лицо его изменялось, менялся взгляд, выражение лица, вся фигура. А в душе всплывали новые мысли о людях, о порядках, о вере, о жизни, о боге, которому поклоняются, хотя и разное, по всему лицу земли, о многом, что никогда не приходило в голову в Лозницах. И некоторые из этих мыслей становились все яснее и ближе...

А Анна все жила в том же доме под № 1235, только барыня становилась все менее довольна ею. Она два раза уже сама прибавляла ей плату, но «благодарности» как-то не видела. Наоборот, у Анны все

больше портился характер, являлась беспредметная раздражительность и недостаток почтительности.

— Что делать... правду говорят, что это здесь в воздухе, — говорил муж старой барыни, а изобретатель, все сидевший над чертежами и к которому старая барыня обращалась иногда с жалобами, зная его влияние на Анну, — только пожимал плечами.

— Я теперь далек от всего этого, — говорил он, — но когда-то... одним словом, я думаю, что ей просто хотелось бы... собственной своей жизни... Понимаете ли вы: собственной своей жизни...

— Скажите, пожалуйста, — отвечала барыня с искренним изумлением. — Не обязана ли я ей доставлять, кроме десяти долларов, еще собственную жизнь...

— Ну, это теперь меня не касается, — отвечал старый господин. — Все это разрешит наука. Все: и ее, и вас, и всех... Дело, видите ли, в том, что...

Ученый повернулся на стуле и сказал серьезным тоном:

— Человек изобретает нужную ему машину... Это мы все отлично знаем. А думали ли вы когда-нибудь о том, что и машина, в свою очередь, изобретает... вернее сказать, вырабатывает нужного ей человека... Вы удивлены?.. А между тем это можно доказать с математической точностью. Стоит усвоить эту великую истину, и все решено: вся задача сводится к тому, чтобы изобрести такую универсальную машину, которой нужен только свободный человек, понимаете? Тогда и только тогда разрешатся все эти мучительные вопросы... В этом будущем строе не будет уже ни господ, ни прислуги, ни рабовладельцев с их смешными притязаниями, ни рабов с их завистью и враждой... Понимаете вы меня?..

Старый господин приподнял очки и простодушно-радостным взглядом посмотрел в лицо хозяйки. Но на этом лице виднелось лишь негодование.

— Благодарю покорно! — сказала она. — Хорош ваш будущий строй... без прислуги! Я лучше согласна остаться при старом...

А дело с Анной шло все хуже и хуже...

Через два года после начала этого рассказа два че-

ловека сошли с воздушного поезда на углу 4 avenue и пошли по одной из перпендикулярных улиц, разыскивая дом № 1235. Один из них был высокий блондин с бородой и голубыми глазами, другой — брюнет, небольшой, но очень юркий, с бритым подбородком и франтовски подвитыми усами. Последний вбежал на лестницу и хотел позвонить, но высокий товарищ остановил его.

Он взошел на площадку и оглянулся вдоль улицы. Все здесь было такое же, как и два года назад. Так же дома, точно близнецы, ходили друг на друга, так же солнце освещало на одной стороне опущенные занавески, так же лежала на другой тень от домов...

Глаза его с волнением видели здесь следы прошлого. Вот за углом как будто мелькнула чья-то фигура. Вот она появляется из-за угла, ступая так тяжело, точно на ногах у нее пудовые гири, и человек идет, с тоской оглядывая незнакомые дома, как две капли воды похожие друг на друга... «Все здесь такое же, — думал про себя Лозинский, — только... нет уже того человека, который блуждал по этой улице два года назад, а есть другой...»

Звонок затрещал, дверь открылась, из-за нее выглянуло лицо Анны, и дверь опять захлопнулась, заглушив испуганный крик девушки, точно она увидела призрак. Потом она опять выглянула в шелку и сказала:

— Вы?.. Неужели это вы?

Старая барыня тоже с большим удивлением встретила этого человека и с трудом узнавала в нем простодушного лозиншанина в белой свите и грубых сапогах, когда-то так почтительно поддерживавшего ее взгляды на американскую жизнь и на основы общечеловечности. Она внимательно присматривалась к нему сквозь свои очки и искренно находила, что он стал гораздо хуже. Правда, в нем не было вызывающей резкости и задора молодого Джона, но не было также ласковой и застенчивой покорности прежнего Матвея, которая так приятно ласкала глаз старой барыни. Кроме того, она находила, что черный сюртук сидел на нем, «как на корове седло».

— Садитесь, пожалуйста, — сказала она с легким оттенком иронии. Но она чувствовала с некоторой досадой, что ей все-таки неловко было бы оставить стоять этого человека.

В сущности, она была человек недурной, и, когда Анна заявила ей об отказе от службы, она поняла, что теперь у Анны есть уважительная причина...

— Ну, вот — она нашла себе «свою собственную жизнь», — сказала она с оттенком горечи ученому господину, когда Анна попрощалась с ним. — Теперь посмотрим, что вы скажете: пока еще явится ваш будущий строй, а сейчас вот... некому даже убрать комнату.

— Гм... да... — задумчиво ответил изобретатель... — Надо признать, что в этом есть доля неприятности. Конечно, со временем все это устроится несомненно... Но... действительно, трудно будет придумать машину, которая бы делала это так приятно и ловко, как эта милая девушка...

Несколько дней после этого ученый чувствовал себя не в своей тарелке и находил, что даже выкладки даются ему как-то труднее.

— Гм... да... я должен признаться, — говорил он старой барыне. — Мне недостает ее лица и ее добрых синих глаз... Конечно, со временем все заменят машины...

Но тут он оборвал фразу под упорным ироническим взглядом старой барыни, которая процедила сквозь зубы:

— Даже синие глаза? Ну, это-то уж едва ли...

Перед отъездом из Нью-Йорка Матвей и Анна отправились на пристань — смотреть, как подходят корабли из Европы. И они видели, как, рассекая грудью волны залива, подошел морской гигант, и как его опять подвели к пристани, и по мосткам шли десятки и сотни людей, неся сюда и свое горе, и свои надежды, и ожидания...

Сколько из них погибнет здесь, в этом страшном людском океане?..

Матвею становилось грустно. Он смотрел вдаль, где за синею дымкой легкого тумана двигались на

горизонте океанские валы, а за ними мысль, как чайка, летела дальше на старую родину... Он чувствовал, что сердце его сжимается сильною, жгучею печалью...

И он понимал, что это оттого, что в нем родилось что-то новое, а старое умерло или еще умирает. И ему до боли жаль было многого в этом умирающем старом; и невольно вспоминался разговор с Ниловым и его вопросы. Матвей сознавал, что вот у него есть клочок земли, есть дом, и телки, и коровы... Скоро будет жена... Но он забыл еще что-то, и теперь это что-то плачет и тоскует в его душе...

Уехать... туда... назад... где его родина, где теперь Нилов со своими вечными исканиями!.. Нет, этого не будет: все порвано, многое умерло и не оживет вновь, а в Лозищах, в его хате живут чужие. А тут у него будут дети, а дети детей уже забудут даже родной язык, как та женщина в Дэблтоуне...

Он крепко вздохнул и посмотрел в последний раз на океан. Солнце село. Туманная дымка сгущалась, закрывая бесконечные дали. Над протянутой рукой «Свободы» вспыхнули огни...

Пароход опустел. Две чайки снялись с мачт и, качаясь в воздухе, понеслись по ветру в широкую туманную даль...

Как те, которые когда-то, так же отрываясь от мачт корабля, неслись туда... назад... к Европе, унося с собой из Нового Света тоску по старой родине...



ФАБРИКА СМЕРТИ

Эскиз

I

Я открыл как-то окно в своей комнате, в Чикаго, на Rhodes avenue. Комната быстро наполнилась особенным, тяжеловатым и чрезвычайно неприятным запахом.

— Заприте окно, — ветер от Stock-yard'a, — сказал мне Виктор Павлович, один из моих гостей-соотечественников.

— Это что такое? — спросил я.

— Как?.. Неужели вы еще не видели Сток-ярда? Напрасно: Пульмановский городок, где пьют кровь из людей, и Stock-yard, где убивают фабричным способом животных, — две great attractions¹ Чикаго даже и не в выставочное время. Разве вы не знаете, что на свиной туше основано все величие Чикаго?

Виктор Павлович был человек желчный и не мог решить в течение долгих странствований, где хуже: у нас, или в Америке, или еще где-нибудь на белом свете.. Мы решили в этот день вместо выставки отправиться маленькой компанией к Stock-yard'у.

Ехать пришлось долго, и я начал было сомневаться, возможно ли вправду влияние столь отдаленного

¹ Знаменитые достопримечательности (англ.). — Прим. ред.

учреждения на атмосферу моей комнаты в Rhodes avenue. Но вот вагон, повертывая из улицы в улицу, несет нас чем-то вроде предместья: дома ниже, шире площади, много дыма, больше грязи на неровных мостовых, кое-где деревянные тротуары, стоптанные и с провалившимися досками. Еще далее наш вагон бежит, неизвестно уже как выбирая свою дорогу, по целой сети рельсов, искрестивших широкие площади и улицы, точно паутина.

Мы останавливаемся... Поперек нашего пути идет поезд, весь нагруженный скотом. Головы, головы, головы... Быки солидно смотрят на суетливую картину грязного города, сменившую для них простор родных прерий. В другом месте глупо толкуются овцы... Свины нервно возятся и обнаруживают беспокойство... Вагоны, вагоны, еще вагоны, без конца... Начинает накрапывать дождик, с утра уже разводящий на улицах тонкую, липкую грязь.

Последний вагон прошел, обвеяв нас полосой острого скотского запаха. Мы трогаемся далее... Дождик сильнее, грязь гуще, небо застилает каким-то особенным дымом, тяжелым и вязким. Вагон то и дело подпрыгивает на стыках. Три степных пастуха, в кожаных одеждах, покачиваясь на высоких седлах, тихонько едут под дождем и ведут о чем-то спокойную беседу. Они, вероятно, сдали уже свои партии. Теперь, может быть, считают барыши и с удовольствием думают о чистом воздухе и просторе прерий, где на зеленой траве пятнами бродят стада...

Чувствуется близость бойни. Сырой воздух пропитан угнетающим запахом, тем самым, от которого пришлось закрывать окна за несколько верст отсюда.

— Stock-yard! — выкрикивает кондуктор...

Перед нами целый городок сумрачно-мургух зданий с широкими дворами, обвеянных клубами пара и дыма... Грязно, сурово и уныло. Stock-yard неряшлив, серьезен и несколько циничен. Он грязен, некрасив, он нехорошо пахнет, и порой гости Чикаго, съехавшиеся со всего мира на его выставку, вынуждены затыкать носы... Что делать! Городу приходится выносить эти неприятные черты в характере Stock-

yard'a: ведь город сделал блестящую карьеру, он может принимать у себя блестящее общество главным образом благодаря своему некрасивому дедушке, Сток-ярду... А дедушка не торопится скинуть для гостей грязный халат...

Мы пробираемся по плохим мосткам между паутинною рельсов; на широком дворе — грязные загородки, ограждающие еще более грязные загоны, затоптанные пригоняемой скотиной... Множество лошадей коу-бойсов, с оригинальными седлами, стоят у этих загоронок. Это — все пастухи, быть может еще сегодня пригнавшие табуны или приехавшие с ними в поездах. Скот — частью в загородках, частью же в огромных зданиях, мимо которых мы проходим. Я заглядываю в запотелое, грязное окно: коровы тупо и равнодушно пережевывают жвачку; в другом месте овцы сбились в кучу, как будто над ними носится ощущение смерти. Их уже не кормят, потому что дело идет здесь быстро, и пока cow-boy получает расчет и садится на коня, чтобы двинуться в обратный путь, — его стадо уже выходит с другого конца Stock-yard'a в виде туш, полстей и консервов... Скотская смерть густо нависла всюду, ею насыщена атмосфера, и я положительно уверен, что видел смертельную тоску в глазах этих сотен и тысяч живых существ, сбитых в кучу и ожидающих своего часа.

Stock-yard охотно принимает любопытных посетителей. Мы входим в дверь office'a¹, становимся на площадку щегольского лифта, и в несколько секунд мы уже наверху, в конторе. Не успели мы даже объяснить нашего желания, как навстречу нам вышел изящно одетый джентльмен и привычными движениями автомата роздал всем прибывшим по карточке. На моей карточке было напечатано:

Армор, Свифти К^о, год 1892.

Число убитого рогатого скота	1 189 498
» убитых свиней	1 134 692
» » овец	1 013 527

¹ Контора (англ.). — Прим. ред.

И т. д. Общая цифра — девяносто миллионов голов.

Затем Свифт и К^о считают излишним сообщить для сведения посетителей, что по плану города Чикаго их здания занимают 40 акров земли. Поверхность всех полов в этих зданиях 60 акров, крыши 29 акров...

И это лишь одна из компаний Сток-ярда, который весь состоит из таких же учреждений...

Джентльмен попросил нас присесть, а сам ушел в контору, где множество молодых людей и девушек считали что-то и шелкали клавишами ремингтоновских машин... Вероятно, он внес нас в свою статистику посетителей. Весь воздух конторы был заполнен этим шелканьем и жужжанием... Девяносто миллионов голов, — думалось невольно, — каждый из этих звуков отмечает одну смерть из числа этих девяноста миллионов... Характерная бухгалтерия Сток-ярда!

II

Через минуту мальчик в ливрее Свифта и К^о явился за нами. Он только что отпустил такую же партию посетителей и теперь привычным жестом пригласил нас за собой... Рядом со мной в приемной сидела дама, державшая за руку девочку лет пяти. Она тоже взяла карточку с извещением о том, сколько Свифт и К^о убили голов в 1892 году, но я думал сначала, что это недоразумение: дама, вероятно, пришла навестить кого-нибудь в конторе. Однако оказалось через минуту, что мы стоим рядом с этой дамой и с этой девочкой на галерее-помосте, висящем над обширной бойней.

Свет проникает сюда с двух сторон. Рассеянные лучи бродят и скользят в воздухе, точно на картинах фламандских мастеров, изображающих мирные сцены большого скотного двора. Только здесь совсем не идиллия... Внизу под нами вдоль всего здания тянутся ряды стойл. Их много. В эту минуту все они открыты, и в них, точно по команде, неохотно, но с ту-

пою покорностью входят рядами огромные красавцы быки с крутыми рогами. Стойла задвигаются загородами, и стук этих загоронок сливается в один продолжительный треск, проносющийся из конца в конец огромного помещения... Потом короткая тишина... На узеньком помосте, вдоль стойл, над каждым быком стоит по человеку... Когда стойла задвинуты, ряд железных молотов на длинных рукоятках разом поднимаются в воздух... И вдруг стук грузных тупых ударов проносится по всему зданию, сливаясь в частую, короткую, глухую дробь...

Дело редко кончается с одного удара... Я вижу, что ближайший от меня бык упал на колени, полежал, потом поднялся и стал мотать рогатой головой, как будто отгоняя какое-то назойливое насекомое. А молот уже опять подымается над его головой...

Бык не видит... Мы сверху видим и ждем...

Дама стоит в двух шагах от меня, красиво облокотившись на перила, а ближе пятилетняя девочка просовывает личико в промежутки перил и с бессознательной детски недоумелой жадностью приглядывается к непонятному еще зрелищу смерти.

— Так и надо, — говорит Виктор Павлович. — Янки народ последовательный. Они не отворачиваются от того, что делают...

III

Первый акт кончен. Юный джентльмен в ливрее приглашает нас далее... Каждой партии посетителей показывается вся операция над партией введенных при них животных. Дама с девочкой и несколько мужчин пошли за провожатым, но мы все, кучка русских, как будто по уговору, свернули к выходу, откуда спускались рабочие. Это — задний ход Стокярда. Грязная площадка, грязный лифт, сам похожий на стойла. Блоки скрипят, пол качается и задевает за стенки, все сооружение кряхтит, стучит и встряхивается при остановке. Это далеко не похоже на

шегольской лифт, которым любезные гг. Свифт и К^о вводят своих посетителей с парадного хода. Но... мы сами отступили от программы...

Мы опять на дворе, под мелким дождем, среди грязных зданий... Мутный дождь разводит какое-то месиво на грязной земле, и грязные люди в тяжелых сапогах выпускают грязный дым из труб в грязный, насыщенный жирными испарениями воздух.

Очутившись на панели, мы с недоумением посмотрели друг на друга: как это случилось, что мы вдруг очутились здесь, точно нас выкинула посторонняя сила, тогда как мы не осмотрели еще и десятой доли того, что нам готовы показать Армор, Свифт и К^о.

— Российское слабодушне, — сказал желчный Виктор Павлович. — Кушать бычка можно, а смотреть, как его убивают, мы не согласны... Природный аристократизм и лицемерие чувства... По мне так вот, как эта американка, — привела ребенка и показала... вот, милая, что для тебя готовят эти добрые дяди... Это умнее и честнее. Нет, господа, пойдем уж далее...

IV

Мы были рядом с входом в другое здание... К нему по рельсам подкатился вагон, и огромное стадо свиней, подгоняемых палками, высыпало на широкий помост, который вел кверху. Это очень остроумно: живая свинья должна доставить себя наверх, а уже оттуда ее с комфортом спустят вниз через разные отделения. Мы посмотрели на этот поток живых существ, идущих в жерло смерти, и еще раз вошли внутрь здания по скользкому коридору, на скользкую лестницу.

Мы в коридоре второго этажа. Мимо нас быстро прокатываются тачки с потрохами, десятки, сотни, без остановки. Приходится сторониться, но посторо- ниться некуда: стены обилили, с потолка каплет что-то, стоящее на полу клейкой грязью. Здесь еще грязнее, чем на бойне быков. Может быть, можно было

бы при таких оборотах сделать все это чище и приличнее... Но гг. Армор и Свифт не думают придавать более привлекательный вид своему доходному делу

Еще лестница. Атмосфера еще тяжелее, люди по-дуобнаженные. Мне кажется, что я прямо осязую этот воздух, плотный от густых осадков крови и жира. В нем ходит теплый пар, что-то глухо шумит, откуда-то несется заглушенный стенами визг... Окрик сзади... Мы сторонимся: это с конца коридора в клубах тумана несутся свиные туши, подвязанные за ноги к рельсам под потолком; они скользят мимо нас, уже ободранные от шерсти... не более пяти минут назад все это еще жило, барахталось и страдало. Навстречу им открываются с грохотом и визгом железные дверки... Клубы горячего пара вырываются из печей, и туши одна за другой опускаются туда по рельсам... Пока они спустятся в следующий этаж, горячий пар обожжет на них остатки шерсти... На потолок, на стены садятся жирные осадки, и среди тяжелой мглы, как привидения, несутся по коридору новые ряды белых туш...

Еще поворот, еще подъем. Что-то клокочет. Тесно, суeta, визг сильнее... Люди почти совсем голые, с скользкими, неприятно белыми телами; один из них указывает почти вертикальную лесенку, всю облипшую грязью. Мы всходим по ней и оказываемся в главном отделении. Дальше идти уже некуда: те самые свиньи, которых мы видели у входа, теперь поднялись к своему последнему этапу. Толкаясь, упираясь, визжа, они всходят на верхнюю площадку. Их подгоняют ударами дубин, и меня поражает необыкновенная жестокость этих ударов. Как будто в самом положении «обреченных» есть что-то пробуждающее по отношению к ним инстинкты жестокости в душах людей... Животные мечутся, жмутся друг к другу и визгливо, пронзительно жалуются... Напрасно. В самой свалке, наверху подъема стоят два человека, очень ловко накидывающие петли на правую заднюю ногу животного. Минута... веревка натягивается, животное опрокидывается, виснет в воздухе, нервно визжит,

а блок, к которому привязана его нога, начинает тихо скатываться вниз вправо и влево по наклонным рельсам, проведенным под потолком коридоров. Наклон очень незначителен... Механизм передвижения рассчитан на эти судорожные вздрагивания...

А вот и главные герои Сток-ярда...

Невдалеке от подъема, почти голый, весь скользкий, белотелый и равнодушный, стоит человек с узким ножом в руке. Когда животное прокатывается мимо него, он делает привычное движение сверху вниз. Визг, предсмертное хрипение, волна алой крови из разреза... А блок катится по рельсу далее, и к полуголому человеку неотвратно подвигается другое животное... Вся работа этого человека состоит лишь в одном этом движении ножа сверху вниз. От пяти до десяти секунд — на одну жизнь, шесть жизней в минуту, тридцать шесть в час, триста шестьдесят в десять часов, а на бойнях работают по двенадцати и тринадцати часов... Рабочие на бойнях — самые неразвитые и тупые из всех рабочих: они еще не участвуют в союзах и не умеют отстаивать свои интересы. Около пятисот убийств в день, пятнадцать тысяч в месяц, и в этом вся жизнь полуголого человека с ножом...

Я с некоторым ужасом смотрел на этого мастера смерти... А он, полыснув по горлу очередную жертву, нашел еще время в промежутке толкнуть меня локтем и быстро поставить руку. Я торопливо вынул монету и сунул ему. И тут же подумал: за что?.. Мне представилось неволью, что если бы по ошибке моя нога запуталась в петлю, и я подкатился бы к нему по рельсу, — едва ли он остановил бы из-за этого привычное движение привычной руки.

В нескольких шагах от этого места веревка блока внезапно ослабляется, животное, еще быющее в судороге, попадает в резервуар с грязно-кровавым кипятком... Не проходит и полминуты, как оно уже ошпарено, ободрано на вращающемся железном зубчатом барабане, опять поднято на блок и тихо катится по коридору вниз, к паровой печи... Визг, клочкотанье, шипение, стук... И обнаженные люди среди скользких

стен, на залитом кровью полу, в липком воздухе продолжают работу смерти...

Когда мы сошли вниз, к выходу, то на тачках мимо нас катились шары белого жира, груды совершенно готовых окороков... и коробки, коробки, коробки... Армор и Свифт работают отчетливо и быстро. Очень вероятно, что это, в закупоренных и запаянных жестяных коробках, уходили те самые животные, которые вошли сюда одновременно с нами.

V

На этот раз с нас было довольно: мы видели главное, и мне казалось, что я знаю остальное: бык умирает спокойно и тупо, но величаво, — и только в глазах видна тоска, глубокая и сознательная. Овца валится безропотно и глупо, свинья нервничает, мечется и проклинает судьбу... А фабрика работает без остановки, и целые поезда кидают сюда все новые и новые тысячи жертв...

Мы торопливо выбрались из Сток-ярда, торопливо миновали загоны и хлевы, прошли мимо коновязей с оседланными лошадьми cow-boys'ов... Умные животные стояли задумчиво и смирно. Понимают ли они, в каком соседстве находятся, содрогается ли сердце животного от сочувственного ужаса... Наверное, понимают... Кучка пастухов вышла из какой-то конторы и села в седла. Лошади внезапно оживились и как-то особенно нервно побежали прочь, вздрагивая и отряхиваясь...

Stock-yard остался назади, застилаясь пеленой своей мглы, пара и дыма; вагон опять громыхал на стыках, то и дело останавливаясь, чтобы пропустить поезд, из которых опять тупо глядели овцы, быки, коровы.

Уже далеко на длинной улице, все еще пронизываемой то и дело веянием Stock-yard'a, нас обогнал шегольской возок-ящик, на котором по красному полю белыми буквами стояла надпись: Armor, Swift и K°, а затем следовало длинное перечисление предметов

производства. Я посмотрел на этот красный фургончик с неприятным чувством... С таким невольным содроганием мы встречаем в толпе нное приличное, но почему-то зловещее лицо... Фургончик ожидал вместе с нами, пока пройдет новый поезд, — и мне казалось, что это соседство наносит мне какое-то личное оскорбление. Я вздохнул с облегчением, когда последний поезд прошел и щегольская тележка с белыми буквами по красному полю быстро умчалась, утопая в тумане.

— О чем это вы задумались? — спросил у меня Виктор Павлович...

— Фабрика смерти! — сказал я, формулируя свои впечатления от Сток-ярда.

— Да, фабрика... И все итоги подведены! Общая цифра — девяносто миллионов в год. Заметили вы этих молодцов? Замечательные психологи!

— Кто это?

— А эти рабочие-бойцы... Здесь уже нигде не дают на чай, даже ресторанной прислуге. Обидаются... А эти молодцы собирают дань со всех проходящих. Знает, каналья, что ему стоит толкнуть тебя локтем, и рука невольного лезет в карман за деньгами. Вот вы... За что вы ему дали десять центов?

— Черт его знает, в самом деле, за что я ему дал десять центов?

— Да, просто, вы его боялись и питали к нему отвращение. Это как раз то чувство, которое можно питать к сообщнику давно забытого преступления... Вы живете спокойною жизнью уважаемого джентльмена. И вдруг он является и уверенно протягивает вам руку: пожалуйста нечто старому товарищу, сэр... Ведь это я оказываю вам маленькие услуги...

— Вы вегетарианец? — спросил я.

— Такой же, как и вы! Впрочем, в данную минуту... Пожалуй — да. Армор и Свифт хоть на время делают людей вегетарианцами...

— А потом?..

— Я взялся быть вашим гидом только по Сток-яр-

ду... Вот мы и вышли... А дальше... Спросите лучше у Егорова. Он все это знает...

Егоров сидел на скамье вагона, задумавшись, и не слышал нашего разговора; но теперь он вдруг отряхнулся и сказал:

— Я вспоминал, как у нас в деревне били свинью... Это было целое событие. Батюшка с матушкой долго совещались, потом решили, что по хозяйственным соображениям пора убить «любимого» борова. Мы все его загоняли с помощью деревенских ребят, и это было очень весело. Боров визжал и долго бегал от нас по двору и огороду... Потом его растянули на зеленой траве, над речкой. Остального мы, ребята, не видели...

— Необыкновенно поэтично, — сказал Виктор Павлович.

— Все-таки лучше, чем то, что мы видели сейчас.

Егоров был романтик, ненавидел городскую жизнь и фабрики... Мечтал о работе на ферме, а пока перебивался в какой-то конторе.

— Разумеется, — насмешливо сказал Виктор Павлович. — Вот индейцы привязывают пленника к дереву, резвая молодежь упражняется на нем в меткости ударов томагука, а юные девы поощряют наиболее удачные удары... Это длится целый день... и так это хорошо описано у Майн-Рида, что порой не прочь и сам испытать эту поэзию... Однако, по зрелом размышлении, я лично предпочел бы погибнуть от цивилизованного шаспо*, а еще приятнее от пушечного ядра... Армор и Свифт кончают сразу... и это лучше... Думаю, что всякая благоразумная свинья разделяет мое мнение.

Виктор Павлович впадал в обычный сплин, становился неприятен и циничен...

— И все-таки это ужасно, — сказал задумчиво Егоров...

— Да, как всякая последовательность. Нет ни цветочков, ни лужайки, ни речки, — все просто, откровенно и всему подведены итоги... Однако мы приехали... Поблагодарите меня за доставленное удовольствие. А впрочем, не взыщите...

На следующий день выставка развлекала и рассеяла мои воспоминания о Stock-yard'e. Однако когда в обычный час я пришел в ресторан, и миловидная Лиззи, ирландка, взявшая меня, чужестранца, под свое покровительство, принесла мне обычную порцию ростбифа, — я увидел, что решительно не в состоянии к нему прикоснуться.

— Вы здоровы, сэр? — спросила Лиззи, вглядываясь в мое лицо, на котором, вероятно, слишком явно выступило мое ощущение.

— Я здоров, Лиззи, но я желал бы лучше получить кукурузы, картофеля и апельсин.

Это продолжалось что-то около недели...



В КРЫМУ

I

ЕМЕЛЬЯН

В начале девяностых годов я прожил месяца два в Крыму.

Поселился я в маленьком имении Карабахс. Небольшой домик стоит невысоко на мысу, омываемом морем. На востоке плавной излучиной берег уходит к туманным скалам Судака. На запад — вид Ялты закрыт Аю-дагом, с его крутыми обрывами, на которых, по преданию, стоял храм, где была жрицей Ифигения. Отсюда некогда предусмотрительные аборигены кидали в море пришельцев, загнанных к ним бурей или иными случайностями, и еще теперь временами после сильной зыби волны выкидывают на берег куски мраморных колонн. Одна такая глыба, древняя капитель*, сильно сглаженная прибоями и почти потерявшая форму, лежит на крылечке скромного карабахского дома...

Кругом усадьбы, по уступам гор зеленеют сады и виноградники. Снизу, даже в тихую погоду, доносится протяжный плеск и вздохи моря...

На склоне ясного дня чудесной крымской осени я бродил с одним из молодых хозяев по тропам, от сада к саду и от виноградника к винограднику. Было тихо и пусто, гроздья винограда рдели под ласковыми

косыми лучами, и отовсюду была видна синяя громада моря, по которому без ветра тихо вставали и падали белые гребни.

Мы говорили о впечатлении, которое Крым производит на меня, приезжего человека... Основным его фоном было ощущение какой-то загадочной тоски, которая, как назойливая муха, преследовала меня среди всей этой захватывающей, ласкающей и манящей красоты и все жужжала мне в ухо что-то навязчивое и непонятное.

Мне казалось, что это было ощущение безлюдья. Даже в Ялте и даже в разгаре сезона вы чувствуете именно отсутствие человека. Народу, правда, много, но все это народ, чужой этой стране и этой природе, не связанный с ними ничем органическим. Просмотрите картины русских художников, посвященные Крыму: волна, песок, мгlistое, затуманенное или сверкающее море, Ай-даг, утопающий в золотисто-лиловых отсветах, Ай-Петри, угрюмо выступающий над туманами... А если к этому прибавлены где-нибудь человеческие фигуры, — то это только дамское платье и зонтик над грядами волн, или пара туалетов — мужской и дамский, подобранные в гармонии с основными тонами моря.

А местная жизнь? Татары?.. Их мы не видим и не понимаем. Кроме того, это было в разгар эпидемии татарского выселения из Крыма. В то самое время, когда мы вели этот разговор, в легкой мгле виднелся на море далекий парус. Какое-то судно держалось уже несколько часов в виду берега, и мой спутник высказывал предположение, что это турецкая фелюга из Анатолии. Быть может, в эту самую минуту на дальний парус из горных ущелий смотрели жадными глазами группы крымских татар, недовольных своей чудной родиной и готовых пуститься на опасные поиски новой родины и нового счастья... Безлунною ночью фелюга пристанет к условленному месту, где-нибудь под прикрытием скал, а рассвет встретит ее далеко в обманчивом море... Говорили, что хищные анатолийские шкипера вывозили таким образом целые партии людей, грабили их в открытом море и ки-

дали за борт. А потом возвращались за новыми искателями счастья...

Незадолго перед тем большой веселой компанией мы отправились в экскурсию на вершину Чатыр-дага. Вершина эта, красивым маленьким шатром рисуемая снизу, в действительности представляет настоящую каменную область с дикими осыпями, с лесами, хаосами камней и горными пастбищами. В ней есть две пещеры, уходящие на сотни сажен в глубину горы. Одна из них носит название «Бим-баш-коба», что значит: «Пещера тысячи голов». Наклонясь под очень низким сводом, с пучками свеч в руках, — мы пробрались в ее глубину. Свечи плохо разгоняли густой, почти осязаемый мрак этого подземелья. Вверху он висел непроницаемый и тяжелый, а внизу на каменном полу светилась перед нами фосфорической белизной гряда человеческих черепов, в которых зияли черные впадины глаз. Говорят, в последние годы их осталось уже немного: человеческое любопытство не останавливается ни перед чем, и скоро беспечные туристы окончательно растащат эту печальную достопримечательность Чатыр-дага. Но в это время их было еще поразительно много... После яркого дня, после сверкающих переливов безграничного моря, после беспечных разговоров и смеха, — это обилие молчаливой смерти в темном подземелье захватывало мрачным трагизмом тайны... Сколько их было и какой предсмертный ужас пережили эти люди, загнанные сюда неведомой грозой неведомой, темной старшны?..

— Татар это! — с угрюмой уверенностью сказал кто-то за нами. Повернувшись в сторону говорившего, мы увидели загорелого, почти обугленного солнцем татарина пастуха. Он пас овец по соседству с пещерой и пробрался за нами.

— Нет, так это он... болтает, — сдержанно сказал один из проводников, но пастух посмотрел на него черными глазами, в которых сквозило что-то вроде спокойного презрения, и повторил:

— Татар это, татар... Урус пещера гонял... Ашай нету, вода нету... Все кончал...

— И давно это было? — спросил один из нашей компании в надежде услышать народное предание, связанное с этой неведомой трагедией...

В глубоких глазах татарина, казалось, мелькнуло что-то, как смутная тень. Он постоял молча, уставившись на груду костей... Но затем лицо его вдруг сделалось зпятичным.

— Э! — сказал он коротко, махнув с пренебрежением рукой, и отвернулся. Через несколько секунд высокая фигура в бараньем тулупе утонула в густом сумраке пещеры...

В этом коротком восклицании и в пренебрежительно-печальном жесте было что-то особенное, смутно выразительное, запавшее мне в память... Какая-то скрытая горечь непоправимой обиды, беспредметная и беспомощная жалоба нам, потомкам тех урусов, на жестокость наших предков, а может быть и пренебрежение фаталиста и к нам, и к самой судьбе, которая сумела так ужасно распорядиться с этими безвестно погибшими людьми.

Когда мы вышли из пещеры и проезжали горной лужайкой, на которой овцы щипали сухую серую траву, — этот пастух сидел на камне, сшивая куски овчины, и пел горловым голосом какую-то дикую, мало внятную песню... Наверное, это была песня о «тысяче голов», а в мотиве мне слышалась опять презрительная, безнадежная и унылая покорность...

Впоследствии, когда я спросил об этой коллекции пещерных черепов у знатока Крыма, профессора Головинского, он засмеялся и ответил:

— Если бы вы спросили у генуэзца сто лет спустя после татарского нашествия, то он, вероятно, сказал бы вам, что это черепа генуэзцев, которые спасались от татар. А еще ранее греки могли бы пожаловаться на генуэзцев или митридатовы понтийцы на греков...

Не из этой ли пещеры, думалось мне, увязалась за мной та особенная крымская тоска, которая преследовала меня среди этих чудесных ущелий и виноградников, жужжа о чем-то загадочно-печальном и непонятном... Чудесный южный берег, находящийся ныне в счастливом обладании курсовиков, проводни-

ков, дачевладельцев и туристов, — представлялся мне чем-то вроде отмели, через которую, на расстоянии столетий, как волны перекатываются чередой людские поколения — тавры, скифы, греки, генуэзцы, татары, русские — в поисках счастья...

Здесь, под этим солнцем, вблизи этого моря, оно как будто ближе, чем где бы то ни было... Ласкает, обещает, манит... И волны перекатываются одна за другой, одна прогоняя другую...

А счастье?..

Среди этого разговора о крымских впечатлениях и о пещере «тысячи голов» мы шли узкой дорожкой меж двух виноградников.

— А вот, постойте, — сказал мне мой спутник, — я вам покажу кстати одного местного жителя... Эй, дед Емельян!

Никто не отозвался. Он открыл деревянную калитку, вделанную в ограду из дикого камня, и мы вошли в виноградник.

Навстречу нам раздался хриплый лай собаки... Собака, видимо, была очень старая. Она даже не лаяла, а как-то взвизгивала и хрипела, поднимая голову кверху и затрудняясь встать на ноги. Лежала она у плохонького сарая, кое-как сооруженного из камней, старых кривых бревен и ветвей и прикрытого сухими лозами. Дверь сарая была открыта, и в нее зияла густая прохладная тьма, какая бывает в знойные дни в помещениях с толстыми стенами и без окон... Кругом рядами расстился виноградник с созревающими гроздьями...

По-видимому, кроме собаки, здесь никого не было, по крайней мере никто не отозвался на оклик моего спутника. Однако, когда мы подошли к широким дверям или, вернее, к входному отверстию сарая, то заметили, что там было живое существо: в темном углу робко притаилась молодая татарка.

Около нее стоял горшок, завязанный белым платком, несколько баклажан и несколько кочней кукурузы. По-видимому, девушка принесла деду ужин.

В сарае было неприветливо и пусто. Пахло сыростью и дымом от холодного очага, сложенного из диких камней. На двух досках, служивших, очевидно, лежанкой, был кинут пучок соломы и какое-то тряпье в изголовье.

— А, это ты, Биби! — приветливо сказал мой спутник, разглядев в полутьме свою соседку из Бюок-Ламбата. — А где же дед?

— По воду пошла, — ответила девушка, все еще недоверчиво сверкая глазами в мою сторону. И потом, как будто успокоившись, прибавила смеясь:

— Долго ходит: один час ходит, один ведро несет...

Собака опять залаяла как-то особенно, с перерывами и хрипом, повернув голову к тропинке, горбом спускавшейся книзу. Над ее обрезом показалась голова и плечи старого человека, который тихо поднимался в гору. Голова у него была красивая, круглая, густые кудрявые волосы были не седые, а какие-то серые, и завитки кудрей точно были присыпаны пылью. Тот же оттенок какой-то тусклости лежал на сильно загорелом лице, на толстых бровях, даже на зрачках глаз, глядевших прямо, ровно и безучастно. Плечи были широкие, сложение очень крепкое. Но во всех движениях сквозило что-то особенное. Не усталость, не болезненное старческое одряхление, а какая-то равнодушная медлительность. Казалось, этому человеку было совершенно безразлично, какое именно место в природе занимать в данное время. И теперь, поднявшись на ровную дорожку, он поставил ведро и совершенно равнодушно смотрел перед собою: на нас, на сарай, на виноградник, на белую тучу, тихо клубившуюся над обрезом горы, на свою собаку... Старый пес тявкнул ему навстречу с жалобным выражением, как будто спрашивая: видишь? Старик посмотрел в его сторону, как бы отвечая: «Вижу... ну, что ж из этого». И вновь поднял ведро.

Казалось опять — ему не было тяжело: ни старческого вздоха, ни кряхтения, ни напряженного усилия. Движения были свободны, только очень медленны. Мне вспомнились часы, завод которых кончается, но коле-



К рассказу «Без языка».



са все еще отбивают обычные секунды... Он вошел в сарай, поставив ведро у входа, и, подойдя к Биби, взяв принесенные ею припасы.

— Здравствуй, дед Емельян, — сказал мой спутник. Мне показалось, что в тоне его чувствуется какая-то неловкость. Как будто подошедший сейчас человек, обративший на нас так мало внимания, имеет право за что-то сердиться или по крайней мере может чувствовать за собой такое право, хотя его основания присутствующим неизвестны.

— Здравствуйте и вы, — ответил дед после некоторого молчания.

— Можно напиться? — спросил молодой человек.

— Вода — вот.

Мы напились холодной воды, и наступило опять неловкое молчание, которое почувствовала, по-видимому, даже Биби. Она стала собирать принесенную ранее посуду и как будто собиралась уходить. Но что-то ее все-таки удерживало. Она стояла в темном месте сарая, но несколько ярких лучей света, прорываясь в щели, испещрили светлыми пятнами ее фигуру, а одна полоса скользнула вкось по ее лицу. Мне было видно в этом лице выражение почти детского любопытства, яркого и непосредственного. Ей было лет семнадцать. Движения ее были эластичны и упруги, в каждом движении чувствовалась сдержанная юная сила, которая может вдруг неожиданно развернуться, как крепкая пружина... Она искоса кидала на деда и на нас пытливые взгляды, и мне казалось, что я понимаю их выражение: она органически не могла понять этого тусклого старческого равнодушия, и то обстоятельство, что дед «один час ходит» за неполным ведром воды, интересовало ее, как явление природы, которое она, быть может, видела много раз, но теперь хотела знать, что думаем об этом мы...

И она следила за каждым шагом старика глазами любопытного молодого зверька, готового юркнуть в свою норку...

Дед по-прежнему не обращал внимания ни на нее, ни на нас. Он сел против входа, на обрубке, в просторстве, освещенном солнцем, и, расставив ноги,

повесил голову. Казалось, он будет сидеть так до ночи... Биби опять отметила это быстрым взглядом в направлении моего спутника.

— Что, дед, неможется тебе? — спросил тот.

— Э!

Дед махнул рукой, как будто признавая, что предмет, о котором заговорили, совершенно не стоит внимания.

— Что там!.. Неможесть... Э!.. Ничего... Старость пришла, вот и неможется...

— А вам, должно быть, много лет? — спросил я, тоже чувствуя какую-то непонятную неловкость и в то же время стараясь поддержать разговор, готовый утихнуть.

Опять тот же отмахивающийся жест и то же пренебрежительное восклицание...

— Э! Много лет!.. Конечно, много лет. Старого графа хорошо помню... Конечно, лет много...

— Вы не здешний?

— Э-э! Не здешний? Конечно, не здешний. Черниговский.

— Значит, с Украины.

— Не помню я ничего... Тут вырос.

— А сюда зачем попали?

— Э! Зачем?..

Он как будто усмехнулся. Одеревеневшие черты тронулись странной гримасой, точно от горечи.

— Зачем попал... Э! Когда взяли маленького от отца-матери и отправили у Крым... То и попал.

Он опять замолчал, опустив круглую голову с завитками седых кудрей... Но через некоторое время, точно какие-то колеса опять задвигались в старом механизме, начал говорить все тем же тоном горького полунасмешливого пренебрежения.

— Набирали тогда... малых деток. Для климату... Потому что видите: лихорадка... Такая лихорадка была... крымская... Дюже народ валила... Карла Людвигович был, управляющий... И говорит грахву: надо малых брать... Малые попривыкают, то и не будет валить...

— Так вы, значит, и попали сюда?

— А как же? Так и попал... Когда малого взяли и повезли... То и попал... Э!.. Возьмут и повезут, то и попадешь...

Подобие улыбки прошло опять по застывшему лицу — улыбки над моим непониманием простого закона, что если повезут, то и попадешь, или над самым фактом, что его взяли от отца и матери «для климату»...

— Малый был хлопчик... от такой...

Он показал рукой аршина полтора над землей, и улыбка проступила на лице деда яснее. Казалось, ему самому было странно вспомнить, что и он когда-то был маленьким хлопчиком «вот этакого роста». Еще более странным показалось это юной Биби, которая при этом удивительном сообщении вся как-то даже подалась вперед...

— Люди говорили: все плакал я... К матери просился, у Черниговщину... Там, у Черниговщине, место ровное, хорошее... А тут куда ни глянь — гора та море... Да, плакал все. Не с привычки... Э!

Старая голова опять наклонилась, и лучи солнца заиграли на седых кудрях; серебряные нити засветились точно из-под серой золы...

— А потом? — спросил я, видя, что старик совсем замолк.

Дед как будто удивился моему настойчивому любопытству, но все же ответил:

— Э! Потом!.. Что ж потом... Известно, — вырос. До дела приставили.

— И стал дед лучшим садовником у графа, — прибавил мой спутник, видимо желая подбодрить ленивого рассказчика лестью. Но дед все так же отмахнулся пренебрежительным жестом и сказал вяло:

— Э!.. Конечно, научился... таки и хорошо научился. Правда. Нарядчик приставит на виноградник... скажет: так и так делайте все. А я сделаю по-своему... Придет Карла Людвигович... Кто так сделал? Это, говорят, Незамутывода Омелько так сделал... самовольно... Хорошо, говорит, пускай же так, и мы будем делать по Омелькиному. Э!..

— Это вас так звали: Незамутывода?..

— Э! Звали и Незамутывода... А потом стали звать Гайдамакою...

— Это почему?

— Э!

На этот раз его восклицание было особенно выразительно. Дед как будто начинал сердиться на что-то, несостоящее внимания, но назойливо встающее в памяти под влиянием наших приставаний...

— Назовут как захочут... Один назовет, а люди за ним... Так и пойдет... То был Незамутывода сроду... Род наш так прозывался в Черниговщине. А потом Карла Людвигович говорит: какой он Незамутывода, когда он разбойство делает... Его у Сибирь надо загнать. Э!.. Загоняй куда хочешь...

— А все-таки не загнали?

— Э!.. Хоть бы и загнали... Все одно... Все одно... — повторил он, опуская голову, и пробормотал совсем тихо, начиная дремать:

— Все одно... Чи так, чи сяк... все одно...

— Дед не любит рассказывать об этом, — тихо сказал мой спутник, — а кажется, была какая-то история, чуть ли не несчастный роман. Сверстники его перемерли. Осталось только смутное воспоминание. Говорят, если бы граф не дорожил отличным садовником, быть бы Емельяну в Сибири... Ничего, — прибавил он на мой вопросительный взгляд, — дед глуховат, не все слышит.

Но дед услышал слово «Сибирь». Он опять поднял свои красивые серые глаза и сказал с признаками раздражения в голосе:

— Э! У Сибири!.. А что такое у Сибирь? Не все одно?..

— От такая была, — неожиданно прибавил он, кивнув в сторону Биби, которая при этом как-то испуганно сжалась. — «Умру, — говорит, — зарсжуся, а то со скелі кинуся у море»... Э!.. Что там! Не утопилася, пошла себе за другого... Отдали, то и пошла... Когда насильно отдадут, — всякая пойдет... И хорошо сделала. Детей вывела, унуки пошли... Один у Орианде в садовниках, другой пошту з Алушты гоняет... А мне в то время Карла Люд-

вигоаич и говорит: что ты это, Емельян, здурился или как? Разве можно на вас тутошних невест напасты. Тутотиние девки потому што очень дорогие... тут от татар такой обичай узался — калым за девок платить... А мы для вас, для молодых, своих девок повыписыуем с Черниговщины. Этие будут дешевше, потому что свои, крепачки. Только за провоз... От выпишем, говорит, и тебе дружину, потерпи...

Дед поднялся со своего обрубка и стал у дверей. Спокойный закат осветил его бронзовое лицо и серые кудри. Золотое огромное солнце, точно сверля туманную мглу, опускалось к морю. Зыбь томно шевелилась по всему морскому простору, точно основа гигантского станка со снующими золотыми нитями... Тончайшая золотистая пыль перекрыла ялтинские горы и уступы далекого Ай-Тодора.

Казалось, природа, довольная собственной красотой, светилась мягкой лаской и примиряющим покоем. Но глаза Емельяна были равнодушны и тусклы, как будто он не видел чарующей прелести заката или видел за этой золотистой мглой что-то другое: давно угасшие жизни, важного графа, управляющего Карла Людвиговича, его неисполненное обещание. Помолчав несколько секунд, он повернул ко мне свои выцветшие глаза и сказал с удивительным выражением, переходя к чистому малорусскому языку...

— Э!.. Так и дѣси выпишуе. Царство небесне. Вже сорок лит у могили лежить...

И опять пренебрежительно махнул рукой...

Я чувствую, что черными значками на белой бумаге нет возможности передать всю выразительность и силу этого короткого восклицания и этого жеста, освещенных ослепительно-прекрасным священнодействием природы. Этот человек как будто знал что-то об этой обольстительной картине... Что-то такое, что, собственно, не стоило ни горячего негодования, ни ненависти, ни злобы, о чем не стоит, пожалуй, и разговаривать... Да, все это блесит, ласкает, обещает и манит. А он все-таки знает свое... И он знает также,

что все это *могло бы быть* именно тем, чем кажется. И для этого нужно только еще что-то, не очень многое и не трудное. Стоило вовремя сказать какое-то слово, сделать какое-то движение... Вовремя выписать невесту, что ли... И стало бы свежо, и ярко, и радостно, и правдиво, и значительно. Все было бы полно спокойствием и счастьем... Но это что-то не сказано, не сделано, не написано в свое время. И *никогда* это не делается, не говорится, не пишется вовремя. И графы, и Карлы Людвиговичи умирают раньше, невесты остаются невыписанными. И не может быть, чтобы когда-нибудь выписывались вовремя... хотя и возможно, и не трудно, и разумно...

Э!.. Он это знает решительно и бесповоротно...

Э!.. Тут не о чем и толковать, и он удивляется, что нам нужно от него в этот обманчиво красивый вечер и что нам за охота расспрашивать и толковать о том, что было, что должно было быть по-иному, но иначе быть все-таки не могло... Он отмахнулся и ушел в свою темную, сыроватую конуру и лег, заложив руку за голову, на низкий топчан, прикрытый соломой и негодного рухлядью. Он закрыл глаза и лежал не то усталый, не то просто равнодушный к нам, и к закату, и к режущим полосам света, все еще пробиравшимся в щели сарая... Не чувствовалось, чтобы он горевал или сердился, но он явно не видел оснований для продолжения разговора. Все уже было сказано этим пренебрежительным восклицанием и жестом, все — об этом вечере, и об остальных вечерах, и обо всей природе, и о нас, быть может еще ожидающих своих невест, и о Биби, которая напоминает такую же девушку, жившую полстолетия назад, и обо всех, кто интересуется всем этим, что должно быть иначе, но иначе не будет. Не будет, несмотря на то, что лишь какая-то тоненькая перегородка отделяет этот мир, заслуживающий только пренебрежения, от другого, яркого и сверкающего, и действительно прекрасного, и исполняющего свои обещания. Но никогда и никто не пробьет эту ничтожную перегородку. И толковать нечего, и незачем его дальше расспрашивать, потому что он все сказал, и больше ему сказать нечего...

И если мы будем все-таки еще чем-то интересоваться и продолжать свои допросы, то он все равно не ответит и, может быть, вдобавок, если ему будет не лень, нас обругает...

Хотя, конечно, и это не стоит...

Э!..

В сарае уже не видно светлых полос... Сыровато и прохладно. Скоро ночь.

Так мы оба поняли и короткое восклицание и пренебрежительный жест старого деда и переглянулись с недоумевающим и отчасти растерянным видом. По-видимому, так же поняла его и семнадцатилетняя татарка с глазами, которые еще так недавно бессознательно светились солнцем и красотой этой природы. Теперь она их потупила и стала быстро завязывать платком посуду. Сделав это, она надвинула на лицо чадру и тихо, как кошка, прошмыгнула в дверь. Стройная фигурка, вся полная жизни и ее обещаний, замелькала меж рядами виноградных лоз, скрылась в калитке, зарисовалась на короткое время на высокой горной тропинке и исчезла за поворотом.

Мы тоже пошли из виноградника, не тревожа деда прощанием. Мой молодой спутник чувствовал себя, по-видимому, как-то раздраженно и беспокойно. Подняв с дорожки кусок шиферного сланца, он швырнул его так сильно, что камень черною точкой долго летел над уходящими вниз уступами.

— Черт знает... — сказал он раздраженно, когда камень, еще не успев упасть, исчез в золотистых сумерках. — Черт знает, что за глупая история... «Выпысуе и доси»... Шопенгауэр* какой-то...

— Однако, — прибавил он, быстро пройдя некоторое расстояние и опять сердито останавливаясь. — Ведь пришла же потом воля... Мог бы, кажется, устроить жизнь по-своему.

— А сколько ему лет? — спросил я.

— Много что-то. Говорят, около девяноста.

— А воля в шестьдесят первом. Когда она пришла... жизни, пожалуй, уже не было...

Поздно вечером после ужина я вышел к морю.

Спать не хотелось. Какие-то смутные, но неотвяз-

ные мысли лезли в голову, незаконченные, неразрешимые, скучные. Месяца не было. Закат давно угас, звезды поглотила слепая широкая мгла. Море стало невидимо и плескалось о берег неприветливо и сердито. Чудились в этом плеске какие-то невнятные речи, мелькали фантастические паруса, уплывающие в неизвестную даль с искателями новой родины, слышался ропот, напоминания, требования, жалобы, домогательства, гнев и печаль... И потом все на время смолкало, и только короткий, отрывистый, апатичный доносился усталый вздох прибоя, странно напоминавший мне пренебрежительное восклицание Емельяна.

Это становилось невыносимо, и я пошел от моря. Горы высились передо мной сплошной бесформенной массой, в которой глаз не различал уже ни уступов, ни виноградников, ни деревьев. В одном только месте на неопределенной высоте горел огонек, как будто повисший над темной пропастью. Порой он угасал и опять разгорался. Я угадывал, что это в шалаше у старика Емельяна...

Меня потянуло туда. Болтливый голос прибоя все еще лез в уши, приставая со своими невнятными и бессмысленными, хотя все-таки живыми речами, а там, у этого огня, я как будто оставил что-то неразрешенное и недосказанное, что нужно и легко было додумать и досказать. И тогда назойливая тоска этого вечера разрешится для нас обоих: для меня и для Емельяна...

Хриплая собака опять затянула свой жалобный прерывистый вой. Емельян не спал. Он медленно поднялся с лежанки, взял ружье и, неторопливо подойдя к выходу, взгляделся в темноту.

— Кто тут? Какой человек ходит? — спросил он своим ровным, старчески-бесстрастным голосом...

То, что мне нужно было сказать и что казалось так легко было найти, — не приходило. Чтобы выиграть время, я сказал, что запоздал в горах и пошел на его огонек.

Емельян не удивился. Он повесил ружье на гвоздь, вбитый в столб у лежанки, сел и подбросил несколько веток с сухими листьями.

— Так вы тут и живете? — спросил я, оглядываясь на задымленные стены, осветившиеся недолгим светом.

— Э! Так и живу, — ответил Емельян благодушно. — Как же-ж иначе? Всякий человек живет, как ему бог даст... Спасибо хоч татарину Алию: живи, каже, у меня, с собакою. Собака старая и дид старый, а все-таки выходит калавур. Добрый, дарма что татарин... Ну, и то еще сказать: лестно ему... Первый графский садовник у него за виноградником доглядеть...

В голосе старика пробила заметная нотка юмора, но тотчас он прибавил с обычным выражением:

— Э!..

То, что я хотел сказать, не приходило, но я все-таки начал говорить, чувствуя сразу, что ни слова, ни тон моего голоса не способны пробить ту тонкую пленку, за которой скрывалось наше взаимное человеческое понимание...

— Слушайте, Емельян, — сказал я. — Вот я человек приезжий. Через неделю уеду, и больше мы не увидимся...

— Ну? — сказал Емельян бесстрастно, и тон этого вопроса подчеркнул для меня неудачность и ненужность того, что я собирался сказать.

— Ну, одним словом... все равно, — продолжал я с досадой на себя, — я хотел спросить у вас: может, вам что-нибудь нужно или чего-нибудь хочется...

— Э!..

— И если бы я мог что-нибудь сделать для вас, то был бы рад сделать...

— Э!

Он равнодушно лег на лавку и заложил руки за голову.

— Чего мне хочется? — заговорил он бесстрастно. — Ничего не хочется. Живу, слава богу, хоч у-татарина... Чего хочется? Заснул бы, так и сна что-то нема. Э!..

Сухие листья и тонкие ветки догорели. Тлели только кривые корни виноградных чубуков, плохо освещая темноту шалаша... И в этой тьме меня охватило

странное, беспокойное ощущение. Я не мог вспомнить лица Емельяна, и мне показалось, что вместо него лежит на лежанке кто-то другой, малознакомый, но памятный. Да, верно: это мне вспомнился вдруг татарин чабан у пещеры «тысячи голов»... Тот же характерный жест, и то же восклицание, и тот же тон: бесполезной и беспомощной, давно погребенной жалобы и покорного пренебрежения... И мне казалось, что надо мной сомкнулись темные своды подземной пещеры и вспышка огня должна осветить фосфорическую груду белых костей...

Ощущение было так сильно, что я даже удивился, когда опять раздался ровный голос Емельяна, как будто вспоминавшего что-то совершенно стороннее.

— Холодно... Оттого, верно, и сна нема. Кожух развалился, а нового Алий не справит. Бо-таки не за что! Ночи холодные другой раз... То оно и того... Оно бы, может, другой раз и заснул, а не заснешь... Вот и палю старые чубуки... Алий ничего не говорит, а оно-таки того... оно-таки татарину убыток...

Он замолчал, может быть даже задремал... Я больше не спрашивал. Это все-таки было похоже на желание, и с этим открытием я осторожно вышел из сарая. Было тихо, даже собака не сочла нужным тявкнуть при моем проходе.

Через неделю я уехал из Карабаха. Когда пароход вечером огибал гору Биюк-Ламбага, я взглянул вверх, отыскивая место Алиева шалаша. Огня там не было.

Емельяну, кажется, к тому времени уже справили кожух, и чубуки татарина Алиа оставались в сохранности.

II

РЫБАЛКА НЕЧИПОР

Перед заходом солнца наш пароход прошел через пролив и издали огибал керченские горы.

Керчь расположена у подножия высокого мыса, над которым господствует полукруглая большая гора. На самой ее верхушке виднеется еще холм, рису-

ющийся в небе своеобразным, как будто искусственным силуэтом. Самое положение этого кургана порождает невольную идею о ком-то, стоящем на его вершине и обзирающем с наиболее возвышенного пункта плоский простор Азовского моря, пролив, перешеек и за ним — кубанские степи и бесконечную даль Черноморья.

— Видите ли этот курган? — сказал мне один из спутников по пароходу. — Существует предание, будто на нем стоял когда-то золотой трон Митридата, царя понтийского, который обозревал отсюда свои владения...

— Нет, не трон, — вмешался другой. — Тут стояла золотая статуя самого Митридата...

— Верно, — подтвердил еще кто-то из пассажиров попроще. — Теперь эту самую статую ищут в горе. Всю гору изрыли эти... как их: археологи, что ли.

Так простодушная молва объясняла в то время, а может, объясняет еще и теперь знаменитые керченские раскопки.

Солнце сильно склонилось уже к Митридатовой горе, когда пароход, обогнув мол, подошел к пристани. Синие тени сползали с горы, укутывая бывшую столицу понтийского царства, и в этом освещении еще усиливалось странное, не вполне современное впечатление от этого скифско-греко-татарско-русского города.

Мне предстояло здесь ночевать, и, наскоро наняв плохонький номер в каком-то двухэтажном доме из серого камня с плоскою крышей, я поспешил окунуться в эту своеобразную атмосферу, насыщенную запахом моря, известковою пылью и смутными историческими воспоминаниями.

Улицы местами круто всползали на бока Митридатовой горы, так что порой подошва одного дома стояла в уровень с крышей другого. В перспективе одной из таких улиц, прямо передо мной виднелась широкая лестница, раздваивающимися плавными уступами подымавшаяся на гору. Это было нечто в стиле афинских пропилеев *, и я поспешил к бронзовой доске с надписью, водруженной в стене, ожидая встре-

тить указание на какую-нибудь реставрированную понтийскую древность. Но меня ждало разочарование. На доске было написано, что сня лестница сооружена в 187... году, «иждивением купеческого брата тако-го-то». Во всяком случае, лестница была очень удобна, а за ней, в полугоре меня манило какое-то здание в строго античном греческом стиле, с портиком и колоннадой. На темной крыше еще горел в одном углу последний луч уходящего за гору солнца. Прохладная синяя тень скрывала издали жалкую облупленность потрескавшихся старых стен.

Впоследствии я узнал, что и сие сооружение тоже новейшего происхождения, воздвигнутое в память севастопольской кампании иждивением российской казны, чем и объясняется, вероятно, его сравнительно быстрое разрушение. Но в час наступающих южных сумерек и особенно в том моем настроении эта новейшая древность имела, казалось, вид почтенной мечтательной старины, и я с жадностью праздного туриста поднялся по ее покосившимся каменным ступеням...

Вид отсюда еще расширился. Смягченный расстоянием, гул пристанской жизни долетал снизу как будто приглушенный, мечтательный, смутный. Нижние улицы задернулись тенью и пылью, современный город как будто уходил куда-то, уступая место сумеречным фантазиям. Мое «историческое» настроение охватывало меня все полнее, вызывая смутные тени прошлого. Не отдавая себе полного отчета в своих намерениях, я задумчиво отвернулся от города и пошел вдоль восточной стены храма, прислушиваясь к гулкам отголоскам собственных шагов по камню...

Но через минуту мне пришлось остановиться. Обогнув еще один угол, я очутился позади храма, в пространстве, довольно тесно ограниченном уступами горы, и здесь иллюзия одиночества была разрушена самым неожиданным образом, — северный портик оказался населенным.

Прежде всего мне бросилась в глаза фигура старика, сидевшего под одной из колонн в пространстве, несколько лучше освещенном, и занятого делом: сняв рубаху, он что-то искал в ней с сосредоточенным ви-

дом... Несколько далее, под стеной, группа грязно одетых людей расположилась, очевидно, на ночлег. Двое или трое уже спали, как будто торопясь выспаться до наступления ночи, другие лежали на каменном полу... Еще дальше несколько человек играли в карты. Тут были люди в фесках и люди в широкополых шляпах и в каких-то грязных повязках, напоминавших чалмы...

Мое появление, по-видимому, удивило их так же, как удивился я, так неожиданно выведенный из своего иллюзорного одиночества. Старик без рубахи прекратил свое занятие и уставился в меня наивными круглыми глазами... В группе вставших двое или трое приподнялись на локти. Один из играющих занес руку с картой, которая должна была энергично прихлопнуть карту партнера, — и остановился, слегка разинув рот от удивления. Другой вскочил на ноги и смотрел то на меня, то на угол, из-за которого я появился, как будто не веря, что я забрел сюда один, и ожидая появления более многочисленной компании...

Я тотчас, разумеется, сообразил все выгоды этого предположения для меня, одинокого фланера, так беспечно забредшего сюда с биноклем в руках и дорожной сумкой через плечо, в которой вдобавок были деньги. Поэтому, не прибавляя шагу, с видом заинтересованного, отчасти даже делового человека поглядывая на колонны, потолок и стены, я прошел вдоль колоннады, свернул за угол и опять вышел на северный портал*. Спустившись с несколько жутким ощущением по гулким каменным ступеням и отойдя на некоторое расстояние, я оглянулся назад... Старый храм стоял в прежнем почтенном безмолвии, ничем не обнаруживая присутствия своих обитателей или их дальнейших намерений по отношению к моей особе. Только впереди, над первой площадкой лестницы, сооруженной иждивением купеческого брата, стояла одинокая фигура. Какой-то человек, по-видимому только что поднявшийся снизу, стоял в недоумелой позе и оглядывался, как будто разыскивая кого-то среди этих пустырей и обрывов...

Вид у незнакомца был несколько как бы потуск-

невший, но совершенно приличный и далеко не напоминавший живописных лохмотьев только что покинутой мною почтенной компании. На нем был стеганный на груди кафтан, изрядно выцветший на плечах, но совершенно целый. На ногах виднелись грубые сапоги, какие бывают у рыбаков, слегка потрескавшиеся от морской воды или известковой пыли, широкие штаны в голенища и порыжелый суконный картуз. Судя по всему, и эта одежда и ее хозяин видели когда-то, быть может еще недавно, лучшие дни... Когда я, сойдя с лестницы храма, подходил к нему по мягкой пыльной тропинке, он стоял ко мне спиной и все продолжал разыскивать кого-то глазами. Заслышав мои шаги совсем близко, он вздрогнул и повернулся.

Лицо у него было еще не старое, загорелое и обветренное. Белокурые небольшие усы выделялись на этом загаре, точно присыпанные светлою пылью. В серых глазах на мгновение мелькнуло что-то вроде беспокойного испуга и тотчас же исчезло.

— А, это вы, — сказал он, с каким-то ленивым любопытством оглядывая мою фигуру. — А я уж думаю себе: куда девался?..

— Да вы разве меня видели раньше? — спросил я, удивленный догадкой, что, по-видимому, незнакомец именно меня искал глазами.

— Видел, — ответил он, кивая головой по направлению лестницы. — Идет человек в гору. Думаю: наверно, до Мытрыдата... До его? — спросил он, помолчав.

— Нет... Так, просто пошел на гору. Я приезжий...

— А сейчас где были?

— Вон там... Церковь это, что ли?..

— Кто его знает. Церква, верно, была. Теперь так стоит... пустка... А вы что же... и кругом ходили?

— Ходил и кругом...

Он быстро взглянул на меня, но тотчас опять отвернул глаза...

— Что же там... никого не было?

— Нет, были какие-то люди... Что за народ?..

— Так... народ усякий... Которые по пристаням... Ну, больше тут шукуют усё... на горе...

— Чего?..

— Э!

Он махнул рукой и ответил, немного помолчав и как-то неохотно:

— Вчерашнего дня ищут... известно... До Мыт-
рadata пойдете?.. Или назад, у город?..

Я вышел из гостиницы без определенного плана, но теперь перспектива подняться на вершину и взглянуть на широкие понтийские дали с того самого кургана, с которого, быть может, обозревал их давно умерший владыка давно исчезнувшего царства, показалась мне довольно заманчивой. Правда, становилось поздно. Тень от горы, укутавшая город, ползла все дальше по морю. Но вдали, за ее пределами море еще сверкало, и на его синеве светились три-четыре паруса. До вершины казалось недалеко. К тому же судьба, по-видимому, посылала мне спутника.

Я опять взглянул на незнакомца. Он показался мне человеком довольно приятным. Я люблю вообще задумчивые лица, а на грубоватом лице этого человека лежал отпечаток какой-то глубоко засевшей, за-
таенной заботы, мысли, быть может даже мечты. Серые глаза глядели тускло, точно из-под завесы... Или будто вглядывались во что-то дальше того предмета, на который были направлены... К тому же по манере, с какой он оглядывал гору и спрашивал меня, мне показалось, что он как будто имеет к этим местам какое-то деловое отношение. «Быть может, сторож?.. Или надсмотрщик над раскапываемыми могильниками», — подумал я и сказал:

— Пожалуй, я бы пошел. А разве вам туда же?

— Не то что туда... А так... — ответил он с своим печально-ленивым спокойствием... — Отчего не пойти. Пойти можно...

— Не поздно? — усумнился я еще, оглядываясь на море, все дальше захватываемое тенью. Некоторые из стайки парусов, еще недавно сверкавшие над волнами, теперь погасли, слившись с холодными тонами воды, и только один еще убежал от тени на север, к дальней полоске земли... К югу, из пролива выбегал пароход.

— Рыбаки это, на Тузлу, — сказал незнакомец, следивший взглядом за парусом, и потом, как бы вспомнив о моем вопросе, он сказал:

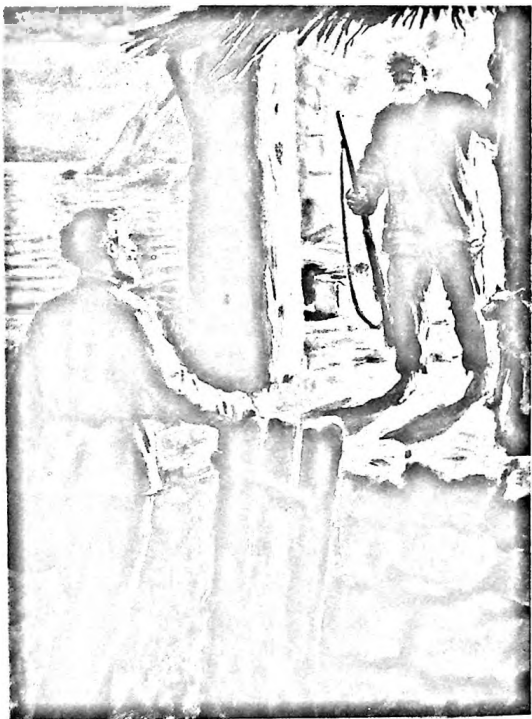
— Не... чего поздно?.. Не поздно. А то, как себе хочете...

Мой пароход должен был уйти завтра на рассвете, и я приказал уже в гостинице разбудить меня в четыре часа. Значит, утром я не успею побывать на Ми-тридатовом кургане... Поэтому я решительно двинулся по тропе кверху... Незнакомец еще постоял, глядя на море, и затем последовал за мной своей неторопливой, развалистой и нерешительной походкой...

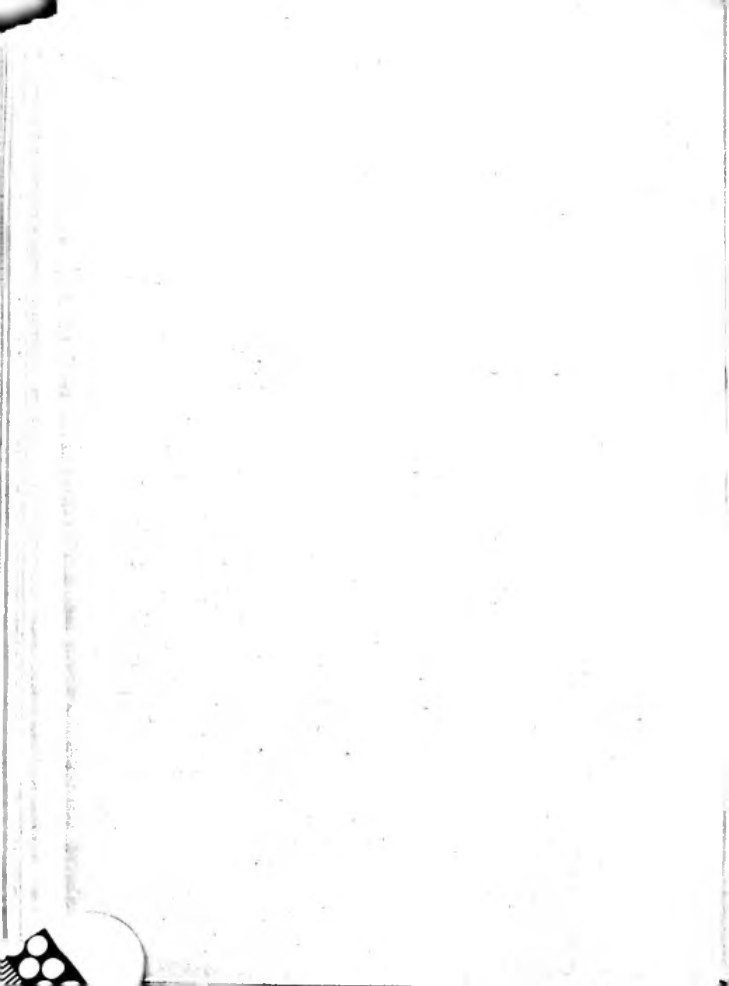
Тропинка вилась на гору, то пролегая по большим горизонтальным площадкам, то круто взбираясь на уступы или спускаясь в широкие углубления. В одном месте нам пришлось пройти через раскрытый и раскопанный могильник. По-видимому, он был расхищен уже давно: размытые дождями стены обвалились, но кое-где были свежие выемки... Местами виднелись темные круглые отверстия, точно стриженные гнезда, очевидно сделанные шупами. Все указывало на продолжающиеся деятельные поиски в недрах исторической горы.

Выйдя из этого могильника, я остановился. Здесь опять было видно море, далеко сливавшееся с небом, на котором тихо клубились мглистые облака... Направо, точно на плане, виднелся анапский перешеек, а севернее тянулась еще полоска земли, неподвижная на зыблющемся морском просторе... Пароход, недавно выбежавший из перешейка, торопливо поворачивал, оставляя за собой широкий круг и расстилая длинный хвост дыма...

Моего спутника рядом со мной не было, но, взглянув вниз, я увидел его под своими ногами в могильнике. Он стоял у одного из круглых отверстий, сделанных шупом в стене, и, засунув руку, шарил там медлительно и лениво, как человек, который не знает, умно или глупо то, что он делает, следует ли ему продолжать или бросить. Обшарив одно отверстие, он подошел к другому, к третьему, потом пропустил



К рассказу «В Крыму».



два или три. потом опять вернулся к ним, постоял, подумал и опять засунул руку...

Заметив, что я стою над ним на краю обрыва, он оборвал свое занятие, как будто стыдясь его, и стал неторопливо подниматься ко мне.

— Что вы там делали? — спросил я, заинтересованный его таинственными манипуляциями.

— Э! Так... ничего, — ответил он неохотно, — глупости усё... — И затем, видимо с целью переменить разговор, кивнул головой в направлении к морю. — Это вон самая Тузла синее... Народу там много... рыбалки усё копошатся, рыбу ловлять. Лето и зиму, одним словом, круглый год.

— Хорошо зарабатывают?

— Кто? Рыбалки?.. Черта лысого... Греки хорошо зарабатывают, конечно, и из наших, которые хозяева. Имеет, например, свою снасть, то и зарабатывает... А рыбалки... Э!..

Однако безучастно-пренебрежительное выражение на мгновение сбежало с его лица...

— Бывает другому счастье, если которого человека рыба полюбит. Ну когда уже один такой попадетсЯ, — уся артель разбогатеет... Что ни закинь, — идет и идет... А другой, который несчастный, на том же месте закинет — нет ему ничего...

Он говорил на том своеобразном наречии, в котором русский говор смешивается с малорусским в своеобразную новороссийскую смесь... Русские окончания он часто смягчал на украинский лад, и, казалось, тон его речи становился от этого еще мягче и печальнее...

— Вы родом не из Украины?.. — спросил я.

— Из Полтавщины... может, знаете?..

— Знаю. Хорошая сторона.

— Хорошая, — повторил он. — Лучше этой стороны нет на свете... Во сне приснится, — день не свой ходишь... На свет здешний не глядел бы: гора да море, только и всего.

— Что же? Собираетесь домой?

Он опять посмотрел на меня тем же тусклым взглядом и сказал грубовато:

— На какого черта я пойду?.. Ни земли, ничего...

Пашпорта не брал годов, может, десять... Вернешься. — за все десять годов недонмку подавай...

— За что же? Если вы землей не пользовались!..

— Ну, не пользовался... То все-таки она моя?.. Или как?.. Если землю не отдадут, — чего я там не видел?.. А землю дадут, — чем за ее взяться. Э!..

Он опять посмотрел куда-то дальше Тузлы и дальше туманного горизонта и потом сказал:

— Хлопцем я был, подростком... Батка взял с собою у Крым — счастья шукать... Нашел счастье: под Тузлою, у сыним мори... Я остался годов восемнадцати. Было б мне домой идти, так не захотел: думал — батко не нашел долю, а я-таки найду, со дна моря достану проклятую... Вернусь до дому с деньгами, хату новую построю, волов куплю, тогда буду жениться... Э!.. Ну, пойдем до Мытрыдата, а то поздно делается, — оборвал он вдруг каким-то новым, резким тоном.

До вершины оказалось дальше, чем я думал. Мы опять поднимались на крутизну, опять переходили через разрытые могильники, и опять мой спутник порой отставал и совал руки в круглые отверстия... Наконец мы взошли на гору и стояли у кургана, который мне показывали снизу. Только здесь, вблизи, трудно было охватить взглядом его очертания: он был разрезан и разметан. Кругом сохранились неровные следы глубокой канавы, и в центре — круглое возвышение, служившее, быть может, основанием башни...

Если легенда о Митридате не пустая сказка, то нужно признать, что древний царь обладал вкусом. Вид был широкий, необозримый и прекрасный. Внизу сквозь фиолетовую мглу прорезались кое-где огоньки города... Они мерцали также на мачтах судов, стоявших в бухте. Жизнь пристаней уже почти затихла. Порой еще гроыхнет где-то якорная цепь и изнеможенно прошипит в вечерней мгле и пыли тяжелый домкрат, заканчивающий дневную работу. Пароход, описывая большой круг и оставляя фосфорический след, огибал мол, направляясь к пристани... Свисток его, смягченный расстоянием, звучал, как рожок или флейта... А дальше за гладью моря скорее угадывал-

ся, чем виднелся, простор засыпающих черноморских степей...

Солнце уже совсем село, но на вершине горы было светлее. Под нами, несколько в сторону, виднелась крыша старого храма, и мне показалось, что под портиком я вижу несколько спящих маленьких людских теней. Быть может, им тоже была видна моя фигура на вечернем небе, и они следили за странным туристом, раз уже нарушившим их вечерний покой.

Мой спутник опять отстал, и я увидел его во рву, окружавшем курган. Он шарил по-прежнему рукой в норе так ожесточенно, что, казалось, вывернет плечо. Через несколько минут он поднялся из темноватой ямы на свет и подошел ко мне. В руках у него был какой-то продолговатый темный предмет. Он скоблil его коротким ножом, и на его лице виднелось выражение странной заинтересованности и любопытства.

— Это никуда не годный шлак, — сказал я, приглядевшись к его находке. — Смело можете бросить. Да что вы это тут ищете?

— Э! — ответил он, продолжая всматриваться в темный предмет. Потом, подумав и пытливо взглянув на меня, бросил его вниз, но глаза его следили за падением шлака с выражением нерешительности и сомнения.

— Глупости, верно... А только так люди болтают, что будто тут, у горе где-то...

Он понизил голос, оглянулся и закончил:

— Будто золотой Мытрыдат лежать закопанный. Правда?

— Пустяки! — ответил я, невольно улыбаясь.

— Пустяки? — переспросил он с оттенком неудовольствия. — Э!.. Да я ж и сам думаю так, что глупости. Ну, когда же опять ученые люди копают. Зачем? Неужели же дурно? Сколько, может, тысяч извели, усю как есть гору ископали.

— Ну, вот и судите сами: все же не нашли никакого Митридата.

— Ну, не нашли. Правда.

— А то, что им нужно, — находят.

к другу случайно встретившимися людьми, казалось, зарождается что-то новое, неожиданное, не совсем понятное для обоих... Быть может, под влиянием моего пристального, удивленного взгляда незнакомец отвернулся и махнул рукой.

— Э! — послышалось его восклицание, сразу напомнившее мне что-то знакомое, и его большая, тяжелая фигура стала удаляться, опускаясь в новую рытвину... Глинистый обрыв чуть-чуть светился, как будто из красной глины лучился еще не совсем ушедший дневной свет, и темные круглые норы выделялись с назойливой гипнотизирующей ясностью. Он опять стал совать в них руки, но, казалось мне, он делает это как-то рассеянно, захваченный другими мыслями. Через минуту мне не стало его видно.

Я стоял на месте, охваченный странными ощущениями. Да, несомненно, этот жест и это восклицание мне уже знакомы. В первый раз я встретил их у пещеры «тысячи голов» на Чатыр-даге, у старого татарина пастуха. Это была беспредметная жалоба и безнадежно покорное пренебрежение к судьбе. Но еще яснее вспоминался мне виноградник Алия и Емельян Незамутывода, он же Гайдамака, которому управляющий Карл Людвигович забыл выписать из Черниговской губернии его человеческую долю... Теперь этот третий... Тот же жест, то же восклицание, то же изумительное выражение безнадежного пренебрежения к жизни, ее смыслу, к цели и значению всяких исканий. Только здесь, на Митридатовом пустыре, я еще яснее почувствовал, что «он», этот собирательный образ встречного несчастливца, кроме жалобы на урусов, на Карла Людвиговича, на свою долю, готов предъявить какие-то претензии и ко мне лично. Как будто и я должен им ответить за что-то, заложенное давно, таинственно и глубоко еще этим мифическим Митридатом, притаившимся в пустых обрывах, чтобы напрасно манить людей и никому никогда не даваться... И я опять почувствовал, что мне нужно что-то сказать, можно и должно сказать что-то, что легко разрушило бы какую-то тонкую роковую перегородку... Но настоящие слова таились где-то

далеко, забросанные, загороженные, заглушенные, точно скрытый смысл назойливого и невнятного морского прибоя.

Кругом меня было пусто. Я стоял на Митрида-товом кургане один среди сильно сгустившихся сумерек. Только где-то поблизости шуршала и падала земля...

Все это было похоже на какой-то странный фантастический сон... Однако я понимал все-таки, что при данных обстоятельствах пробуждение может быть очень неприятно. Кругом пустырь, не видный из города, могильники, ямы, буераки... Рядом озлобленный человек с не совсем понятным настроением. Что, если этому странному искателю невозможной фантастической доли придет вдруг в голову, что я-то и есть тот самый золотой Митридат, которого он так жадно ищет в горе и который носит его долю вот в этой дорожной сумке... А там, недалеко, внизу, между мною и городом дремлет молчаливая старая постройка, где десяток таких же искателей, быть может, приглядываются снизу к моей фигуре на верхушке кургана. Мне показалось даже при взгляде вниз, что по склону горы, в направлении от храма, точно вереница муравьев, ползут темные пятнышки... Тихо, лениво, раздумчиво, как будто сомневаясь: стоит или не стоит... И кто-нибудь тоже говорит такое же «э!» — и отмахивается рукой. Никто в городе не видел, куда я ушел, и никто не догадывается, что я теперь стою здесь, на горе, окруженный густыми сумерками и странными людьми, которые ищут не совсем обычными путями несбыточной доли... К несколько жуткому ощущению от этого сознания присоединилась небольшая доля довольно печального юмора: я невольно вспомнил о Митридате... Сколько веков протекло с тех пор, как он, быть может, стоял на том же месте, где стою теперь я, ничтожная единица миллионов людских поколений, и мой незнакомый спутник, тоже, вероятно, думающий что-нибудь о нашем положении, в нескольких шагах от меня... И какой, в сущности, пустяк — кто из нас двух сойдет с этой горы более довольным этой случайною встречей...

и с удивлением смотрела на странного посетителя в запыленной одежде, неожиданно появившегося с горного пустыря и чему-то улыбавшегося за своей кружкой...

Ночью в своем маленьком номере я долго не мог заснуть и сидел у открытого окна. В одну сторону мне было видно море с спящими судами, в другую — темные массивы горы. Море, как и тот раз, в Карабахе, плескалось протяжно и шумно, набегая на камни со своей невнятной, но живою немолчною речью. Казалось, стоит понять что-то одно, одну только фразу этой неугомонной речи, — и все остальное станет доступно и понятно. Но ключа все не находилось...

А отвернувшись от моря, я видел массивы горы, из-за которой разливалось лунное сияние, отчетливо, точно резцом выделяя гребни. Все остальное сливалось в смутном сумраке... Склоны, лестница, сооруженная иждивением купеческого брата, старая церковь, обрывы, подъемы — все закуталось глубокой непроницаемой мглой, и только в нескольких местах на неопределенной высоте мерцали живые огоньки...

Один из них, может быть, развел там, у вершины, кто-то мне хорошо знакомый... Кто? Пастух-татарин, пасущий овец у пещеры Бим-баш-коба, или садовник Емельян, или рыбалка Нечипор... Впечатления и воспоминания путались, покрывая одно другое. Порой я совсем забывался, и мне чудились в дремоте то темные своды пещеры, то тропинки виноградников, то трон золотого Митридата, то неведомая черниговская невеста... И кто-то над всем этим безнадежно махал рукой и говорил:

— Э!.. Неужели вы не поймете?.. Никогда, никогда не поймете того, что море своим языком говорит вам о людях, которым нет счастья... А вы все не слышите... А, впрочем... Э!.. все судьба...

Когда я очнулся, — надо мной стоял номерной и трогал за плечо. В окно несся протяжный и резкий

свисток парохода, как будто охрипший от предутренней сырости и морских брызгов.

Через час или полтора мы опять были в море. На востоке, за серой морской гладью и кубанскими степями поднималось солнце. Тузла тянулась недалеко темной полоской земли, и рыбацьи паруса уже снова ли около нее, как ранние чайки.

Митридатову гору всю затянуло белыми облаками...

НАШИ НА ДУНАЕ

I

ХОДОКИ ИЗ «РУССКОЙ СЛАВЫ»

Солнце недавно поднялось, и тульчанская гора кидала еще синюю тень, холодную и сырую, из которой светлой иглой вынырнул только минарет турецкой мечети. Легкий запах росы и пыли ютился еще в кривом узком переулке, где у ворот «русского доктора» начала собираться толпа. Это были все русские люди, в кумачовых и ситцевых рубахах, подпоясанных кожаными ремнями или цветными гайтанами*. Бородатые лица, сильно загорелые, нанвные, грубые. На головах шляпенки, мягкие и измятые, или жесткие котелки, очень не идущие к скуластым круглым физиономиям. На ногах грубые сапоги, страшно отдающие запахом ворвани и пота, который в Добрудже считается характерной принадлежностью «липован»¹. У некоторых из-за голенищ торчали кнуты. Лошадей и телеги они оставили на базаре.

— Доктор спить еще? — спрашивает один из них у выбежавшей из калитки служанки. — Что больно долго?.. Гляди, солнце давно взойшло...

— Буди, смотри. А то сами разбудим.

Через некоторое время, нагибаясь в калитке, по-

¹ Липованами в Добрудже называют старообрядцев, старинных выходцев из России.

является огромная фигура доктора. На нем старенькая беззаботно примятая шляпенка и летний костюм неопределенного цвета, очевидно, много раз мытый. У него седые усы, седина в волосах, черты лица выразительные, крупные, отмеченные грубоватым юмором. Он останавливается, жмурится от света и некоторое время молча, сверху вниз, смотрит на липован. В его глазах светится что-то насмешливое и вместе добродушное. Липоване переминаются под этим взглядом и тоже молчат. Иные улыбаются...

— Ну! — говорит доктор. — Чего вас столько привалило? Какая хвороба принесла?

— К твоей милости, Ликсандра Петрович, — говорит передний липован, с бронзовым лицом, отороченным белокурой растительностью. Черты у него несколько интеллигентнее, и одет он опрятнее других. — Беда у нас.

— Где?

— Да где же еще? У «Русской Славы».

— Что ты говоришь?

— Да вот у нас тут человек. Человека мы тут нашли. Он объяснить. Дыдыкало! Идэ Дыдыкало?

— Дыдыкало, выходи! — заговорили липоване, оглядываясь. — Идэ ты, черт, хоронишься?

— Дыдыкало! Дыдыкало!

— У кырчму* опять улез! Такой человек: голова! Ну, до солнца уже пьяной.

Двое липован выводят из соседней ресторации не то седого, не то только очень светловолосого старика с длинной бородой и нависшими густыми бровями. Скулы у него пухлые и лицо розовое, как у ребенка, нос красен, как вишня, рот впалый и в нем почти нет зубов. Идет он при поддержке двух липован, мелкими торопливыми шажками, но вдруг сильно закатывается в сторону и чуть не падает на каменную мостовую.

— Стой ты, черт! Ишь спозаранку готов.

— Налимонился уже!

— А вы чего смотрели. Сказано вам было: не давай...

— Ништо за ним углядишь. И выпил пустяки!

— С воздуху пьяной.

Доктор, огромный и неподвижный, смотрит на приближающегося старца повеселевшим взглядом. Потом берет рукой за подбородок и поднимает его голову.

— Мы-ый! — издает он употребительное румынское междометие, которому умеет придать особую выразительность. — Где вы такого красавчика выкопали? Наддыкался уже? Милашечка!

Липоване хохочут. Дыдыкало с поднятым кверху лицом жмурится от светлого неба и беспокожно трясет головой.

— Доктор... Домну докторе, — с трудом говорит он... — Ликсандра Петрович...

— Чего мотаешь головой, — негодуяще говорят липоване. — Объясняй дело! Об деле тебе пытаются. Для чего тебе привели.

Старец оглядывается, вдруг сдвигает брови, топает ногами и кричит жидким пьяным голосом:

— Вон пошли. Все. Не надобны вы! Домну докторе... Ты мне знаешь... Дыдыкало... Напишу, так уж будет крепко. Рамун зубом не выгрызеть...

— Ну, уберите его, — решительно говорит доктор. — Ступай, милашечка, ступай, проспись где-нибудь...

— Вон все! Не надобны! — отбивается Дыдыкало. — Домну докторе! Гони их. На что они годятся... Шкуру драть, больше ничего.

— Поговори! С тебе здерем.

— И верно, когда дела не изделаешь.

— Веди его... Ну-ка, заходи справа... Вот так. Наддай теперича...

— С богом.

Старца уводят куда-то вдоль переулка, а доктор, обращаясь к мужикам, говорит:

— Ну, кто у вас тут не совсем очумелый? Говорите, в чем дело. А то уйду.

Мужики сдвинулись и загалдели разом.

— Мы-ы-ый. Стой. Не все вдруг. Говори кто-нибудь один.

— Говори, Хвадей. Или ты, Сидор, говорите...

— Пушай Сидор...
— Нет, Хвадей пушай...
— Ну, Сидор, что ли, говори, — решает доктор. —
Что у вас там?

— Да что, Ликсандра Петрович, — напасть.
— Ну?
— Перцептор¹ одолевать...
— Из-за чего?
— Да за чего ж? За податей.
— Вот, вот, это самое, — одобрительно поощряет толпа.

— Ну?
— Ну, видишь ты, какое дело... Сам знаешь: при раму́не не как при турчине: за все ему подай. За скотину, значит, за выпас десять левов² с головы...

— Это вот верно: обклатил каждую голову. Свиненка не упустить: подай ему и за свиненка.

— За пашню по ектарам... Кто сколько ектаров сеял, пиши у декларацию. Потом плати. Так я говорю?.. Ай, может, не так что-нибудь?

— Верно. Это што говорить, — правильно.

— Вот, значить, самая причина у етом... Видишь ты...

Сидор как-то нерешительно оглянулся на товарищей и крепко заскреб в голове. Как бы по сочувствию заскреблось в затылках еще несколько рук.

— Ну! Рассказывай, — поощряет доктор. — Чего церемонишься. Вы, верно, не сделали декларации.

— Нет. Зачем не сделали? Сделали. Как можно!

— На то у нас нотарь (писарь) есть. Примарь* тоже. Как можно.

— Так что же?

— Декларацию-то, видишь, сделали. Порядок знаем. Сколько годов у доменей³ землю рендуем... С самой с турчины. Ну, никогда такого дела не было. Подашь декларацию, деньги у кассу-доменей отвез. Готово.

— А теперь что же?

¹ Perceptor — сборщик податей.

² Leu — монета, равная одному франку.

³ Управление государственных имуществами.

— А теперь, видишь ты: перцептор землемера привез... Давай мерять...

— И, конечно, вы, милашки, запахали больше, а в декларации наврали...

В головах заскреблись еще сильнее.

— Оно самое, — сказал Сидор. — У каждого гектар, гектар жуматати лишку ангасать¹.

Доктор плюнул и, качая укоризненно головой, сказал:

— Мы-ы-ый... Умные вы головы!.. Что ж вы ко мне притащились? Что я вам: такое лекарство пропишу, чтобы с вас денег не брали? Убирайтесь вы к чертовой матери!

— Постой, домну докторе. Чего рассердился?

— Что даже горячий стал! Нечистого поминаешь!.. Ты слушай нас. Не все вить еще...

— Что же еще?.. Говори толком...

— Видишь ты. Вымерял, потом кажетъ: «Давай деньги по декларации». Мы обрадовались: думаем, пронесло. Отдали деньги по декларации, честь честью.

— Расписки взяли?

— Взяли. Как без расписок.

— Ну, так что же?

— А то: теперь взыскивает у трое... Значить: у двое аменд². А за что еще третий? Когда по декларации уже плачено. Правильно это?

— Какой это закон, — вдруг возбужденно прорвалось в толпе. — При турчине никогда этого не было...

— И рамун сколько годов землю не мерял!

— Теперь на тебе: давай мерять...

— Стойте вы, чего глотки дерете! — закричал доктор. — Сказано: говори один.

— Хвадей, говори... Ты, Сидор, говорите...

— Да мы разве не говорим. Не чуете, али как? Уши позакладало?.. Говорим: теперь у трое требует.

— Кто требует?

— Да кто? Рамун. Перцептор С епистатами³ приехал.

¹ Гектар, гектар с половиной нашел лишних.

² Штраф.

³ Епистат — полицейский, вроде наших жандармов.

— Тот самый, что выдал расписки?
— Он.
— Нет не той, другой...
— Кто их там до лиха разбереть... Рамун, функцио-
нарь*.

— Все одним миром мазаны...
— А вы расписки показывали?
— А то нет, под самый нос совали: подивись,
домнуле...

Липоване опять заволновались. Пошел беспоря-
дочный возбужденный говор.

— Ну стой! — остановил опять доктор. — Будет.
Поезжайте по домам. Я вам завтра человека при-
шлю.

— На етом вот спасибо. Дыдыкало, положим,
у нас. Вторую неделю поим.

— Дыдыкалу гоните в шею...

— Чуετε, доктор своего пришлеть.

— Подождем, когда так.

— Доктор, может — к самому префекту схо-
дить? — закинул Сидор, глядя на доктора вопроси-
тельно исподлобья.

— К кому и идтить, как не к префекту...

— А ты ему, докторе, хоч и префекту, тоже не
очень верь... Ты нас слухай, что мы говорим.

— Ну, ну! Учите меня, — сказал доктор презри-
тельно. — Я хуже вас знаю, куда идти и кому верить.
Ступай, ребята, ступай, проваливайте!

И он своей сильной рукой стал поворачивать ли-
пован и поталкивать их в спины... Толпа расходи-
лась. Остался еще Сидор. Он подошел к доктору
ближе, оглянулся на уходящих и сказал:

— Сделай милость, Ликсандра Петрович, — по-
хлопочи уж. А то у нас такой калабалык* пой-
дет — не дай бог.

Его умные глаза печальны. В грубом лице вид-
неется скорбь «мирского человека», озабоченного
серьезным положением дела.

— Сам знаешь, какой у нас народ. Все еще кото-
рые турчина вспоминають. Есть горяченькие. Плохой
марафет* выйдеть.

— Ну, ну, — сказал доктор. — Не знаю сам, что ли! Сказал: постараюсь.

— А ты кого пришлешь?

— Катриана...

Сидор почесался.

— Такое дело... Хоч и Катриана. А только, чтобы того...

— Что такое?

— Насчет бога, чтобы... Знаешь наш народ...

— Ну, ну! Что, вы его молебен, что ли, служить зовете? Знает, зачем едет...

— То-то вот... А то мы ничего. Так уж ты, докторе, того... похлопочи.

Они расстались. Сидор торопливо пошел на базар, доктор подошел к кофейной турка Османа, где его ожидала уже маленькая фарфоровая чашка и томпаковый кувшинчик * с дымящимся турецким кофе. Солнце освещало уже весь персулок. С Дуная неся продолжительный гудок морского парохода. По улицам к пристани гремели колеса... С базара начинали расплзаться возы царан *. Ехали и липоване, хмельные, с обнаженными на солнце головами: котелки и шляпы попрятали в сено. Пьяному легко потерять.

II

ДОМНУ КАТРИАН, СОЦИАЛИСТ

После обеда, когда солнце далеко перешло за зенит, доктор вышел из дому и направился вдоль переулка к Strada Elisabetha doamna, главной улице Тульчи. Высокий и прямой, он шел по узкому переулку, чуть не задевая головой за низкие черепичатые крыши и то и дело отвечая на поклоны. Порой он останавливался, громко приветствуя какого-нибудь заезжего знакомого, с кем-нибудь здороваясь за руку или бесцеремонно ероша волосы какого-нибудь пробегавшего молодого человека. И шел дальше, оставляя за собой повеселевшие ослабленные лица.

Так он вышел на Strada Elisabetha и повернул

к Дунаю. По пути на левой стороне был бойкий ресторан. Из его открытых окон несло лихое пение цыган-лаутаров *, а в тени стен, прямо на камнях широкой панели, стояли столики, занятые публикой. В Румынии жизнь проходит значительной частью на улице.

Поравнявшись с этим рестораном и обменявшись многими поклонами, доктор увидел за одним из столиков серьезного нестарого господина, погрузившегося в чтение газеты.

— А! Домну су-префект, — сказал доктор громко и направился к нему, лавируя между столиками и стульями с таким видом, как если бы башню пустили между фигурок кегельбана. Румын отложил газету и вежливо приподнялся навстречу.

Это был су-префект тульчанского округа (нечто вроде нашего вице-губернатора). Либерал, европеец не только по внешности, он, как большинство состоятельных румын, получил высшее образование в Париже. В молодости, тоже как все румыны, писал стихи, был немного публицистом, немного критиком и отдал свою дань увлечению социализмом. Теперь, призванный к власти с переменой политического курса, он привез в Добруджу вместе с необыкновенно свежими воротничками и жилетами также свежий либерализм и свежее благожелательство новоиспеченного министерства. Человек тонкий, серьезный и приличный, он стоял за скорейшее введение в Добрудже конституционного представительства и полного равноправия. За отъездом префекта он теперь исполнял его должность, слышал уже о начинающих в «Русской Славе» волнениях и был, в свою очередь, рад поговорить об этом с русским доктором, старожилом, популярным в Добрудже.

Его взгляд на дело был определенный и ясный. Началось это еще при прежнем министерстве. Ведомство доменей скоро обратится к администрации за содействием по взысканию податей и штрафов за землю. Он не вправе рассуждать о неправильностях обложения. На это есть гражданский суд. Кто-нибудь один должен предъявить иск. Вынгрыш одного дела

будет прецедентом для других однородных. Тогда экзекуция будет приостановлена. Нашего единого сельского «мира» закон не знает и иметь с ним дело не может.

Этот серьезный разговор происходил среди роко-чущего говора ресторанной публики. Порсй его прерывало какое-нибудь необыкновенное *furioso*¹ цыганского хора или шумный хохот соседней компании щеголеватых румын и кокетливых румынок. Собеседников толкали ресторанные мальчишки, торопливо пронесившие приборы, певица красивым движением протягивала к ним свой тамбурин, прося на ноты. Солнце заливало мостовую, черепичатые крыши домов, стены из серого камня, выхватывая из тени то белую панаму, то яркий дамский зонтик, то светлые костюмы какой-нибудь уходящей компании. В перспективе улицы Елизаветы виднелась стальная полоса изнывающего от жары Дуная, покачивались мачты рыбацких лодок, просовывалась турецкая кочерма* и порой, как тучи, проносились клубы густого черного дыма. Приставший утром морской пароход дал уже свой гудок, но от него и к нему еще гремели ломовые вozy. Разгружали и увозили железо. На мостовой подымался лягз и гром. Собеседники смолкли, но затем румынский администратор и русский эмигрант продолжали обсуждать положение затерявшейся в глухом ущелье русской деревни.

Доктор поднялся, подозвал проезжавшего извозчика и куда-то послал его. Минут через десять коляска вернулась, и из нее живо выскочил молодой человек. Он был одет во все черное: черная шляпа, черный долгополый сюртук, черные ботинки и даже толстая черная палка была у него под мышкой. Он поискал в толпе своими живыми серыми глазами, и на его желтоватом, не особенно здоровом лице появилась улыбка. Он быстро прошел между столами, держа под мышкой сучковатую палку, что заставило молодого румына с вздернутыми кверху черными усиками по-

¹ *Furioso* (итал.). — музыкальный термин: бурное исполнение. — Прим. ред.

сторониться с деланным комическим испугом, а его дама захохотала.

— Чи май фаче, докторе ¹, — сказал новоприбывший веселым резким голосом, подавая доктору руку, не особенно белую и в мозолях. — Как здоров?

Затем он приподнял шляпу по направлению су-префекта. Румын корректно ответил на поклон.

— Домну Катриан, — сказал доктор.

— Денис Катриан, социалист, — подчеркнул пришедший и протянул руку. Изящный румын протянул, в свою очередь, холеную руку, и его тонкое лицо на мгновение невольно исказилось от слишком крепкого пожатия социалиста. Но тотчас же оно опять приняло выражение серьезной учтивости.

— Имел удовольствие слышать вашу фамилию, domnu Catrîanu, — сказал он.

Улыбка пробежала по желтоватому лицу социалиста, а у глаз собрались веселые морщинки.

— Proletarii din toată lumea uniți-va! ² — сказал он задорно. — Наш лозунг, господин су-префект, лозунг растущего рабочего класса! Недавно еще правительство нас преследовало. Господа либералы нас терпят, пока не увидят опасности.

Он громко засмеялся и, вынув портсигар, принялся свертывать папиросу желтыми, сильно обкуренными пальцами. Лицо румынского чиновника оставалось прежним: серьезные глаза, старательно излохмаченные кончики усов, вежливое внимание и замкнутость.

— Ну, постой, слушай меня, — сказал по-русски доктор, прекращая дальнейшие самодовольные излияния Катриана. — Можешь ты завтра съездить в «Русскую Славу»?

— А для чего мне ехать у «Русская Слава»? — переспросил Катриан, закуривая папиросу. По-русски он говорил с сильным болгарским акцентом. Отец его был румын, мать болгарка.

Доктор принялся объяснять, в чем дело. Лицо

¹ Обычное румынское приветствие.

² Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Катриана стало внимательно и серьезно. Вникнув в сущность столкновения наших земляков с перчеп-тором, он опять весело мотнул головой и сказал, обращаясь к су-префекту.

— Штну (понимаю). Вы не хотите на первых же порах столкновений. Хотя не наша роль смягчать классовые противоречия, но... тут дело другое... Правовое сознание нужно развивать, — закончил он догматическим тоном. — Я поеду.

Румын одобрительно кивнул головой, вынул из кармана изящную записную книжку и, достав визитную карточку, написал на ней несколько слов.

— Это на случай, — сказал он, передавая карточку Катриану. — Покажите, в случае надобности, при-мару...

Он позвонил, заплатил за свое кофе и вежливо попрощался. Видимо, он был доволен. Помимо всего прочего, начинать новое управление громким столкновением в Добрудже было бы плохой услугой новому министерству. Гораздо лучше разбить дело наших беспокойных соотечественников на отдельные иски в суде, чем встретиться с упорным сопротивлением странного и непонятного русского «мира»... Вопрос о Добрудже и об ее правах встает от времени до времени на румынском политическом горизонте, и почти каждое министерство начинает с обещания окончательно приобщить Добруджу к общерумынской конституции. Но дело не движется дальше обещаний. Как известно, Добруджа присоединена к Румынии по берлинскому трактату взамен части Бессарабии с Измаилом и Килией. Это отторжение северного гирла * Дуная с коренным румынским населением является до сих пор незаживающей раной румынского национального самолюбия. Румыны далеко не считают себя вознагражденными присоединением плодородной Добруджи, населенной почти поровну русскими выходцами, болгарами и только на остальную треть — румынами. На этот край они смотрят, как на подкидыша, стойвшего жизни родного ребенка, и не торопятся с окончательным усыновлением. К тому же и само население, по-видимому, не выражает особен-

ного нетерпения получить права представительства в парламенте. Степь живет своею стихийною жизнью, вздыхает «о турчине» с его диким, но, в сущности, довольно добродушным режимом и, в свою очередь, косится на «мачеху», посылающую сюда новые армии функционеров с каждой переменой министерства. Только в этих переменах местного служебного персонала степь чувствует биенье конституционного пульса...

В то время, о котором идет речь, добруджанский вопрос опять ожил: образовалось общество провективания Добруджи («Propasirea Dobrogei»), и на открытие величественного Констанцкого моста ожидалась депутация из-за границы...

При таких-то обстоятельствах у ворот скромной квартиры русского доктора и за столиком ресторана на Strada Elisabetha встретились интересы темного русского села, забившегося в ущелье балканских предгорий, с дипломатическими соображениями обновленной добруджанской администрации.

Теперь я должен несколько ближе познакомить читателя с домну Катрианом, тульчанским социал-демократом.

III

УДАЧИ И НЕУДАЧИ ДОМНУ КАТРИАНА

По профессии он сапожник. Родился в Добрудже, но с детства попал в Бухарест, где учился ремеслу в одной из сапожных мастерских столицы. Тут судьба свела его с кружком социалистической молодежи и рабочих, а затем, не знаю уж почему, он опять переселился в Добруджу убежденным социал-демократом. Здесь, в скромной квартирке на предместии, он повесил вывеску, гласившую, что сапожник из Бухареста готов оказывать гражданам и гражданкам Тульчи всякого рода услуги по части обуви с ручательством за изящество и прочность. Сапожник он был порядочный, но настоящим его призванием была политическая агитация, которой он и отдал свои досуги.

Добруджа не имеет представительства, но на нее распространены общеконституционные свободы: свобода совести, печати, союзов и слова. Правда, Добруджа не торопилась пользоваться и этими гарантиями, но все же соответствующие параграфы стояли в «хартиях», ожидая своего времени. Катриан, вероятно, по внушению еще из Бухареста, решил открыть в Тульче первый рабочий клуб (*clubul muncitorilor*).

Впоследствии клуб был закрыт, но я еще имел случай присутствовать на одном из его собраний.

Это было в воскресенье. Я проходил по базарной площади, наблюдая своеобразные картины разноплеменного торга и прислушиваясь к разноязычному говору. Тут были липованские возы, румынские дилижаны и каруцы*. Между горами огромных арбузов сидели торговки-болгарки; румыны-пастухи, не скидающие в жару бараньих безрукавок, молчаливо оглядывались иссиня-черными наивными глазами; недавние владыки—турки в красных фесках продавали всякую мелочь с лотков; липоване из Сарыкоя и Рязина и потомки запорожцев равнодушно сидели на возах, налитых до краев золотой душистой пшеницей... Шныряли арнауты и малоазиатские курды с лимонадом в грязных стеклянных кувшинах или с сапожными щетками, пробегал газетчик с листками карикатур, на которых Фердинанд болгарский изображался с слоновым хоботом вместо носа, а порой и *regele Carol*¹ румынский являлся в более или менее непочтительном виде. В общем преобладала деревня, с хлебом, кукурузой или ранним виноградом, разноязычная, характерная, живописная, с рослыми дюжими мужчинами и застенчивыми черноглазыми женщинами...

Я уже собирался уходить, как вдруг на углу площади и одного из переулков, над «чайником» (*seapăci*) болгарина Николая, на балконе появился молодой человек в черной паре и, помахав над волнующимся внизу базаром черной шляпой, закричал резким, молодым голосом, раскатившимся над толпой:

¹ Король Карл (рум.). — Прил. ред.

— Domnilor! Граждане и гражданки... Сейчас открывается конференция рабочего клуба с участием друзей студентов (*prieteni studenti*). О труде и капитале... Проблема богатства и бедности... Борьба классов и будущее пролетариата. Poftim... Пожалуйста, вход бесплатный...

Вслед за этим возгласом он отступил, и двое рабочих свесили с балкона огромное малиново-красное знамя, на котором белыми буквами было вышито:

*Proletarii din toata lumea uniti-va!*¹

Базар продолжал медлительно кишеть разноплеменной толпой и рокотать разноплеменным говором, между тем как ветер шевелил складки знамени с белой струящейся надписью. К дверям подходили от времени до времени то осторожно любопытный болгарин, то широкоплечий бородатый липован с лукавой усмешкой, то высокий турок в красной феске и широких штанах... Больше всего было, конечно, городских ремесленников в пиджаках и даже порой крахмальных сорочках. Они входили уверенно и поощряли деревенских обывателей, робко подымавшихся по широкой лестнице и оглядывавшихся в зале с видимым сомнением: для них ли, полно, приготовлены эти стулья?

Я вошел тоже, и вскоре конференция началась. Первым говорил Катриан — говорил быстро, так что мне трудно было уследить за его румынской речью, в которой, однако, бойко мелькали знакомые термины: прибавочная стоимость... борьба классов. Затем выступили *prieteni studenti* — изящно одетые, чистенькие молодые люди, приехавшие сюда попробовать свои ораторские силы. Они говорили о земле и земельном законе, жестикулировали и повышали голос, с пафосом громя «буржуазное» правительство... Румын полицейский, фигура почти партикулярного вида, сохранял безмолвие и неподвижность статуи. Молодые ремесленники с магалы (предместия) аплодировали и кричали «браво». Деревенские слушали в загадочно-суровом молчании... По окончании конфе-

¹ Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ренции они также молча разошлись по базару, а потом разъехались по шляхам, унося «новое слово» в такие же молчаливые поля, охваченные горизонтом, на котором нигде не видно было ни высоких фабричных труб, ни многоэтажных корпусов с рядами окон. Поля, поля... села с домами из дикого камня, крытые очерстом, виноградники, гáрманы * со следами молотбы... И степной ветер, который старательно гонит в неведомую даль сухое перекати-поле...

А еще недавно у катриановского клуба была пора расцвета и головокружительного успеха.

Тульча — бойкая дунайская пристань, в которую заходят даже большие морские суда. Капитаны этих судов обращались для разгрузки и нагрузки к ватафам, посредникам, которые поставляли им нужное количество грузчиков за изумительно низкую плату. Ватаф брал себе львиную долю; хамалы, темные и живописные разноплеменные люди, сгибаясь под тяжестью, таскали огромные кули, смиренно получали ничтожную плату, пропивали ее в дешевых шинках и корчмах, а потом сидели или лежали на береговых откосах, ожидая новой работы.

Так просто и колоритно сложились на румынском берегу Дуная взаимные отношения «иностранного капитала и местного труда», пока на них не обратились зоркие молодые глаза домну Катриана и его товарищей. Вскоре в газетах появились бойкие статьи о «судовом промысле», и социалисты совали их в руки неповоротливым хамалам. Дюжие, широкоплечие геркулесы в лохмотьях стали появляться на конференциях и жадно слушали разъяснения о «прибавочной стоимости», попадавшей в карманы ватафов. Эту сторону дела они поняли скоро.

В один прекрасный день в Тульче разразилась стачка грузчиков. Огромный морской пароход загудел, описал огромный круг и пристал к дамбе. Ватафы забегали по набережной сгонять грузчиков, но хамалы спокойно сидели на откосах, курили трубки и философски глядели на пароход, как сторонние зрители. С ватафами они не желали иметь никакого дела, а капитану объявили, что пойдут работать не

иначе, как за удвоенную плату. Пароход стоял, пыхтел, гудел и ушел кверху, к Галацу, неразгруженный.

Неожиданная стачка поразила всю страну. О ней писали в газетах, говорили в парламенте. Консервативные органы требовали вмешательства власти. Социалисты и либералы возражали, что было бы странно штыками принуждать румынских подданных работать на иностранцев дешевле, чем те же капитаны платят за границей. Положение становилось напряженным. Ватафы пробовали заменить профессиональных грузчиков всяким сбродом. К приходу пароходов выходили на берег солдаты. Катриан и клубисты употребляли все усилия, чтобы не допустить столкновения. Грузчики держались образцово, спокойно наблюдая, как непривычные штрейкбрехеры роняли в воду тюки. Однажды грек ватаф, юркий, щедушный и горячий, выведенный из терпения философским спокойствием своих недавних рабов, ударил по щеке гиганта-албанеса или турка. Тот вздрогнул, но, помня наставления, удержался и только стал озираться кругом с видом такого комического недоумения, что берег огласился хохотом, а для вмешательства полиции и властей все-таки не оказалось повода.

Стачка была выиграна. Иностранным капитанам пришлось впервые отметить в расходных книгах плату тульчанским грузчикам в таких же размерах, как и австрийским. Катриан на некоторое время стал знаменитостью и решил расширить поле своей агитации.

На среднем гирле Дуная, у впадения его в море, стоит Сулин. Его длинный волнолом вдается далеко в море, вглядываясь по вечерам в туманные морские дали последними огнями Европы. На взморье стоит огромное здание европейской комиссии, регулирующей дунайскую навигацию. Тут превосходная набережная, электрическое освещение, музыка, туалеты прямо из Парижа. А немного в стороне, в жалких переулках, прижавшихся к дунайской плавне* и часто заливаемых болотной водой, — лихорадки, грязь, нищета и лохмотья. На косе, обмываемой Дунаем и

взморьем, блеск европейской культуры встречается как будто с задворками Азии.

В один прекрасный день сюда явился домну Катриан в своей черной паре, с узловатой дубинкой и беззаботно самоуверенным видом. Вечером он расхаживал с несколькими молодыми ремесленниками по набережной у европейской комиссии, жестикулируя и громко излагая свои идеи. На следующий день нанял помещение, а на третий объявил властям, что сегодня он открывает собрания рабочего клуба. С утра красное знамя с сакраментальным призывом к пролетариям всех стран впервые развернулось в Сулине.

Румыния — страна противоречий и неожиданностей. Наряду с свободнейшей конституцией деревенская масса, темная и забитая, от которой, как от ледяной глыбы, веет на всю страну темнотой и бесправием. Это дает простор для ярких контрастов свободы и произвола, особенно на добруджанской окраине. В Сулине в то время префектом был человек цельного темперамента, кажется, выходец из Бессарабии, мало читавший газеты, еще меньше придававший им значения, привыкший на своей косе любезничать с Европой и не церемониться с домашними. Узнав, что какой-то сапожник из Тульчи вывесил «красное знамя», префект распорядился просто: двое полицейских в самом начале «конференции» беспеременно схватили оратора и повлекли его в кутузку, где и заперли, впредь до распоряжения. А с распоряжением префект не торопился. Вечером он беззаботно играл с европейцами в карты, забыв и думать о таком пустяке, как сапожник в кутузке.

В Сулине все шло по-старому: горело на косе электричество, звенел над морской гладью оркестр, гуляла нарядная публика. Над плавней висела меланхолическая луна, заглядывавшая и в узкий переулок, где из-за решетки виднелось бледное лицо Катриана. Но вот из густой тени вынырнули две фигуры. Это молодые представители сулинского рабочего класса прокрались, чтобы навестить своего апостола в темнице. Так, вероятно, много веков назад молодые иудеи

подходили к римской каталажке, где сидел апостол Петр. Катриан тотчас же подозвал их и выбросил в окно листок бумаги. Это была телеграмма. Телеграф — учреждение европейское, действующее независимо от взглядов префекта. Щеголеватый телеграфист с любопытством прочел текст, усмехнулся и сдал в аппарат. Аппарат застучал, и слова побежали по проволоке через пустынные плавни. На следующий день социал-демократическая газета «Новый мир» (Lumea Nova) появилась с телеграммой из Сулина и с громовой статьей о грубом нарушении консервативной администрацией основных законов страны. К вечеру все вечерние прибавления либеральных газет ударили в набат.

В сущности, то, что сделал сулинский префект, в Румынии не такая уж редкость и при других обстоятельствах легко сходит с рук. Но не всегда. И в этом «не всегда» может быть пока заключено все значение таких неокрепших конституций. Решительный поступок сулинского «бессарабьяна» совпал с назревавшим кризисом. Консерваторы начинали колебаться. Всякий их шаг подвергался страстной и придирчивой критике, а король Карл начинал подумывать, не пора ли ему опять выступить в роли конституционного акушера, содействующего родам нового политического курса. И вот в такую минуту все либеральные газеты бурно накинулись на «вопиющий произвол» сулинского префекта.

Первый же верховой пароход выкинул на улицы Сулина эту бурливую волну газетного негодования. Префект уже ранее получил суровый запрос от министра. Требовали официального опровержения...

Беспечный администратор схватился за голову и немедленно командировал комиссара, чтобы выпустить Катриана. Комиссар пришел с странным известием, что Катриан не идет. Требуется составления протокола. Пробовали удалить силой. Оказывает сопротивление и хватается за решетки. У окон собирается толпа.

Пришлось составить протокол, и только тогда, подписав бумагу, Катриан вышел из каталажки,

встреченный восторженными криками «ура». На следующий день клуб был торжественно открыт, причем, наряду с черными от угля блузами грузчиков, виднелись модные ридинготы и парижские шляпки, а ближайшая почта принесла известие об отставке префекта. Падающее министерство успело еще выместить досаду на неловком администраторе, не сумевшем обойтись более «тактично».

В Сулине, конечно, тотчас же разразилась стачка грузчиков, и, как пожар полосой соломы, забастовки пробежали по всему Дунаю от Сулина до Галаца и Браилы... Казалось, молодой румынский социализм растет по часам и готов победно охватить всю страну. Либеральное министерство и печать, в свою очередь, стали задумываться над «грозным движением». Но вскоре оно так же неожиданно упало, как поднялось. Грузчики добились своего, и с этих пор, кажется, плата в этой отрасли никогда уже не падала до прежнего уровня. Но затем пожар, поглотив весь наличный горючий материал, угас на рубежах широких степей с их ливами, виноградниками и черетяными крышами. Даже неблагодарные грузчики, добившись своего, перестали ходить на конференции, предпочитая им собственные конференции за графинами дешевого вина в корчмах или просто на открытом берегу Дуная... Молодой социализм, напугавший всех своим богатырским ростом, умирал у пределов неподвижной и загадочной земледельческой степи.

Тогда Катриан, живой и деятельный, стал обращать глаза в сторону этой неведомой деревни и думать о пробуждении «правого сознания» в неповоротливых, тяжелодумных мужичьих головах.

Вот почему он охотно принял предложение доктора ехать в полудикую «Русскую Славу», чтобы толковать с липованами о вопросах, не имеющих ничего общего ни с классовой борьбой, ни с прибавочной стоимостью в капиталистическом производстве.

Я решил присоединиться к нему, чтобы посмотреть на месте моих земляков — липован из «Русской Славы».

IV ЛУКА И ЕГО ЖЕНА

Я не знаю, как пели певцы древней Эллады. Знаю только, что нет ничего ужаснее современного греческого пения. Образчики этой новогреческой гармонии перешли в некоторые наши монастыри в виде афонского столпового напева. Это хоровой крик в унисон, нескладный и дикий, устраняющий всякую греховную прелесть мелодии и рождающий суровую идею о воплях грешников в аду.

В узеньком переулке, как раз против квартиры доктора, у которого я гостил в Тульче, помещался маленький греческий ресторанчик, в котором порой от заката солнца до восхода происходили греческие оргии. Тульча — город музыкальный, да и вообще румынские города летом наполнены пением и порхающими звуками оркестров. Но все это обыкновенно стихает около полупночи. Только новогреческая муза почему-то оказывалась в то время совершенно неутомимой. Может быть, это совпало с какими-нибудь экстренными успехами в торговле, и греки праздновали их усиленными возлияниями, но только целые ночи напролет из-за старенького забора с запыленными акациями неслись такие ни с чем не сравнимые звуки, что соседи обратились, наконец, к городским властям. Поэтому временами, когда музыкальный восторг греков достигал высших пределов, к садику, насквозь пропахшему ароматом вина, пива и аммиака, подходил полицейский, стучал по забору своей палочкой и говорил печально-снисходительным голосом:

— Poftim, domnilor, Poftim! (пожалуйста, господа, пожалуйста!).

Греки стихали, но ненадолго. Через некоторое время пьяные голоса опять заводили свою какофонию, сначала осторожно, потом громче и громче. Над нестройным хором, грохотавшим, как начинающийся прилив на каменистом берегу, взлетало резкое женское сопрано, и за ним крик мужских голосов, подобный реву целого стада буйволов, опрокидывался на переулок. А так как при этом, отказав грекам в тон-

кости слуха, природа наградила их необыкновенной силой легких, то их пение вылетало далеко за пределы переулка и несло над спящим городом за реку. Опять раздавался стук палочки и голос полицейского, казавшийся теперь особенно музыкальным:

— Domnilor... Poftim, domnilor... La ora asta e interzis¹.

Впрочем, он имел в виду, по-видимому, не столько практические результаты, сколько удовлетворение общественного мнения... Бессонные соседи получали приятную уверенность, что власть делает с своей стороны, что может, хотя это выходило еще хуже. Едва я привыкал, наконец, к неистовому реву и начинал забываться, — стук палочки и голос полицейского вносил новую ноту и прогонял чуткий сон. Поэтому я искренно обрадовался, когда в конце переулка послышалось дребезжание кованых колес по круглым булыжникам мостовой. Это едет Лукаш со своею каруцой, на которой мы с Катрианом отправимся в «Русскую Славу».

Я открываю окно и выглядываю наружу. Уже рассвело. В перспективе переулка подкатывается к нам каруца, запряженная парой крепких лошадей. На козлах сидит человек лет тридцати в толстом широком пиджаке, под которым виднеется шитая рубашка и красный шерстяной пояс. На голове барашковая шапка. Лицо загорелое, и сквозь загар проступает румянец. Волосы черные, глаза тоже черные, не быстрые, скорее медлительные, задумчивые и глубокие. В чертах какая-то грубоватая печальная мягкость. Каруца останавливается у наших ворот.

В ней сидит женщина, одетая наполовину по-деревенски. Платье на ней слишком широко и обвисает складками. Голова повязана простым платочком, из-под которого глядит худое, истомленное и истонченное страданием молодое лицо. В черных глазах усталость и какая-то особенная печаль.

Лука кладет бич, заматывает вожжи и немного

¹ В эти часы петь запрещено.

неуклюже, с медвежьей манерой слезает на мостовую. Подходит к воротам, пробует калитку и, подняв глаза вверх, видит меня в окне.

— Чи май фаче (здравствуйте), — говорит он порумынски и потом спрашивает:

— Доктор хибă еще спить?

— Скоро встанет.

— Ну, хорошо. Вы отоприте фортку (калитку)... Я вот тут бабу свою привез. Больная, так к доктору.

Я паскоро одеваюсь, сбегая вниз и открываю калитку. Лука подходит к сидению, останавливается около и говорит: «ну»... Худая женская рука ложится ему на плечо. Лука сразу сильным и осторожным движением подымает женщину на руки. Я подхожу ближе, чтобы помочь ему, но это оказывается лишним: он уже держит ее, как ребенка. Бледное лицо молодой женщины лежит на его плече с трогательной улыбкой страдания и неги.

Пение греческого хора уже смолкло. Стучит калитка, и греческая компания выходит на улицу. Дюжне крепкие фигуры, несколько сутулые спины, загорелые лица, глядящие исподлобья. Из-под черных шляп выбиваются вперед матово-черные волосы. На одном — круглая шапочка с галунами. Это юноша, почти мальчик. За ним появляется и певица. Ее белое лицо с русыми волосами выделяется, точно светясь, среди черных, как головешки, греков. Глаза у нее голубые, большие и выразительные. Ночь кутежа как будто совсем не отразилась на их блеске.

Увидев Луку с больной женщиной на руках, она на мгновение останавливается, как будто в легком испуге. Крепкая, пышущая здоровьем фигура ее обрисовывается с какой-то особенной, кричащей пластичностью, а выражение испуга сменяется насмешливой наглостью. Она вся подается вперед, вглядывается с жадным любопытством, говорит что-то вполголоса и смеется. Греки тоже останавливаются и с пьяной тупостью смотрят на Луку, который быстро поворачивается и несет жену на крутую панель, потом по двору и вносит в приемную доктора. Это, собственно, застекленные сени с неприхотливой ме-

белью. Легко, как перышко, он усаживает больную на диван, подкладывает подушки и вздыхает глубоко и тяжело, хотя, казалось, ноша не стоила ему особенного усилия. Потом поворачивается и тихо уходит. Женщина раскрывает усталые глаза и смотрит ему вслед. В этих глазах видна жалость не к себе, а к этому человеку, пышущему здоровьем и силой.

Он привез ее к доктору и оставит здесь. Через час, когда мы уедем, за нею придет Федор, городской «биржар», большой приятель Луки. Он также бережно возьмет ее на руки и отвезет за город, где у Луки дом и хозяйство. По городу Лука не ездит. Он пашет землю и гоняет почту. Теперь он повезет нас в «Русскую Славу», так как этого хочет доктор.

Лука — «хохол». Это название довольно употребительно в Добрудже в отличие от старообрядцев, великороссов и потомков некрасовцев*. Предки Луки вышли из Запорожья после «зруйнования» днепровской Сечи и поселились сначала в австрийских пределах на Дунае. Потом спустились в низовья, заняли южное кытерлезское гирло, выбили некрасовцев, которые ушли в Анатолию, а сами расселились затем по Добрудже, не смешиваясь ни с румынами, ни с липованами. Дома с отцом, братом и женой Лука говорит на чистом украинском языке. Для внедомашнего употребления у него есть своеобразное общедобруджанское «руснацкое» наречие. В нем формы русских глагольных окончаний смягчены по-украински и, кроме того, вошло не мало румынских и турецких слов и оборотов. Этот особый смешанный, наивно неправильный говор — результат междуплеменного лингвистического компромисса — слышится часто в пестрой толпе добруджанских базаров и вообще над Дунаем. Его, кажется, выработали липоване в период своих передвижений через Стародубщину и Буковину и за время пребывания в Добрудже. Напоминает он отчасти и то испорченное русское наречие, которое можно слышать в Херсонщине и около Одессы и которому, кто еще знает, какая роль предстоит в судьбах нашего языка...

Лука выходит опять к лошадям. Я за ним. Оста-

повившись за воротами, он кидает быстрый взгляд вдоль переулка, как будто кого ищет. Лицо Луки печально и несколько угрюмо. Он взволнован. Может быть, судьбой этой хрупкой больной женщины, может быть, еще чем-нибудь. Его наивные черные глаза слегка затуманены.

В переулке просыпается движение: над забором садика появляется туча пыли, открывается калитка, и бледный кельнер, не спавший всю ночь, выбрасывает на улицу сор, клочки бумаги и осколки стекла. Турок Измаил, высокий, с красивыми умными глазами, открыл свою сафеапа (кофейню). Глаза его тоже туманны: всю ночь он толоч в деревянной ступе кофейные зерна. Он гордится тем, что никто лучше его не умеет приготовить черного кофе, и, кажется, видит в этом свое назначение.

Мы с Лукой подходим к нему первыми. Он кланяется, выносит маленький столик и два стула и ставит на узком тротуаре. Мальчишка в феске подает кофейник и две крошечные чашки. Лука берет одну из них своею загорелой грубой рукой. Осман становится в дверях, опершись о притолоку, и смотрит на Луку сочувственным взглядом. Он видел, что Лука привез больную жену.

— Болезнь и здоровье от бога, — говорит он по-румынски своим глубоким приятным голосом.

Лука ставит чашку на стол, как будто обдумывая то, что сказал турок, и потом говорит мне:

— Етой турок, господин Владимир, дармá што неверный. Ну, справедливый человек. А бедный... Работает, работает, а денег у себя не имеет.

Осман несколько понимает распространенное в Добрудже «руснацкое» наречие и говорит опять:

— Богатство и бедность тоже от бога.

Лука кивает головой.

— Ну, и ето опять правда... А почему бог так делает, что одним дает счастье, другим не дает... Етого тоже никто не может знать.

— Аллах один все знает... Сам делает, сам и знает.

— Правда! Вот у мене баба. Молодая, ну хво-

рая. Отчего хвораю? От работы. Надорвалась, глупая. Теперь страдает. И я с нею.

— Бог велит людям терпеть.

— Терплю. Докторам одним сколько переплатил. Возьмите себе усё. Лошади у меня — продам! Две каруцы. И каруцы продам. Дом... выделюсь от отца, тоже продам. Все себе возьмите, только сделайте так, чтоб была она здоровая. Будет здоровая, возьму ее за руку, пойдем у двоих по свету новой доли шукать... Лечили. Деньги брали. Много. Не помогли.

— Доктор не... — пытается Осман выразить свою мысль по-русски. — Думне-зеу... Аллах.

Для большей вразумительности турок торжественно показывает на небо.

— Аллах значит по-ихнему бог. Думне-зеу — это опять бог по-румынски, — поясняет мне Лука. — Хорошо. Бог! Это правда. Значит, не надо лечить?

— Ну-й треба (не нужно), — говорит турок убежденно.

— Ну, это брехня, — говорит Лука в раздумье. — Когда бы не лечил, давно бы в могиле была... Вот я вам, господин Владимир, скажу, как это было. Рамуны лечили, лечили, нет пользы. Как тут приезжает русский доктор. У Букарештах был. Вернулся. Приходит ко мне, осмотрел ее... «Слушай ты, что я тебе буду говорить: хочешь ты, чтобы жива осталась?» — «Хочу». — «Верно, — говорить, — хочешь? Помни: работница она тебе не будет». — «Это ничего не значить. Хочу я, чтоб была живая. Чтоб дышала, глядела на свет. Чтоб со мною говорила. Больше ничего не надо...» — «Ну, хорошо. Вызову я, — говорить, — одного тут доктора из Букарештов. Рамун молодой. Он из нее хворь вынет».

Лука залпом выпивает остывший кофе, задумывается под сочувственным взглядом Османа, потом продолжает. В голосе и глазах его печаль и точно удивление. Как будто он рассказывает странный нелепый сон.

— Привез. Посмотрели. Резать надо (Осман чмокает губами и неодобрительно мотает головой). Когда бы не доктор Александр Петрович, не дал бы. Ну,

резали. Потом зашили. Александр Петрович, может, ночей пять не спал. — «Ну, говори, дурак, слава богу. Живая будет, на ноги встанет». Я заплакал! «Бери теперь у мене усё». А он говорит: «Дурак ты. Корми лучше больную бабу. Она не работница. Ничего не надо».

Лука поднимает на меня свои черные глаза, в которых неподвижно стоит растроганность, печаль, недоумение, и заканчивает с какой-то особенной силой внутреннего одушевления:

— Я ему говорю: слухай, Александр Петрович. Что ты за человек, я не знаю. Ну, только скажи ты мне, пока я живой: Лука, лезь у воду. Богом клянусь: полезу. Скажешь, иди, Лука, у огонь. Слова не скажу, у огонь пойду. Помни: я теперь твой человек до самой смерти.

Он поднимается, смотрит вдоль переулка помутившимся взглядом, потом говорит:

— Катриан не йдѣть. А вы, господин Владимир, пеленку¹ со мною выпьете? Не хотите? Оно и правда: спозаранку нехорошо. А я... выпью.

Улица густо усеяна пивными. Лука направляется к гостеприимно открытой двери, над которой виднеется вывеска: «Birt iconomik. Vin si bere». Хозяин Николаки встречает его с почтительной радостью. Напротив другая пивная, Георгия, где тоже есть vin si bere (вино и пиво). Прежде Лука посещал Георгия, но хитрый шинкарь и вместе ростовщик раз ухитрился взискать с простодушного Луки двойные деньги по векселю. Лука заплатил и с тех пор к нему ни ногой. Плохая месть за двести франков, но по лицу Георгия видно, что в нем кипит желчь при виде своего посетителя в заведении противника. Лука заказывает графин за графином. Пить он может много, и это бывает заметно только в его речи: постоянная задумчивая меланхолия принимает в таких случаях торжественный оттенок: говорит он еще медленнее, протяжнее, с паузами, слегка нараспев.

¹ Пеленок — местное вино с полынью. Считается полезным от лихорадки.

В конце переулка появляется фигура домну Катриана. В одной руке у него белый узелок, в другой — палка. Славное свежее утро, по-видимому, бодрит его: он идет размашистым шагом и по временам ударяет своей суковатой палкой по булыжникам. Ему, кажется, доставляет удовольствие звонкий лязг, отдающийся от каменных стен. Он видит ожидающих лошадей, оглядывается кругом и быстро входит во двор. Я расплачиваюсь с турком и иду за Катрианом. Застаю его в передней. Он с особенной дружественной галантностью жмет руку жене Луки и говорит ей порумынски комплименты. На бледном лице молодой женщины выражение застенчивого любопытства. Она смотрит на молодого человека с выражением интереса, как на редкий для нее экземпляр человеческой породы...

Через десять минут, готовый ехать, я выхожу из комнаты. Больная спит, откинув на подушки бледное лицо. Лука стоит в дверях и смотрит на нее. Лицо его еще более покраснело, может быть оттого, что он выпил у Николаки с Катрианом. В глазах особенное выражение. Увидев меня, он отворачивается, будто слегка застыдившись, и говорит тихо:

— Будем ехать...

Катриану нужно было еще заехать на магалу (предместье, окраина города) над Дунаем, чтобы отдать заказ, над которым он просидел почти всю ночь. Поэтому мы поворачиваем к реке и едем берегом. Европейская комиссия, регулирующая русло Дуная, производит тут какие-то работы. Берег оживлен: каменщики стучат молотами, пильщики работают между штабелями леса. Солнце кидает вдоль берега густые золотые лучи, и на реке сверкают тела купальщиков.

— Теперь налево, — говорит Катриан. Но Лука будто не слышит и гонит лошадей прямо по насыпи; лошади бегут быстро, а Лука подергивает вожжами.

Невдалеке, у самой насыпи, я замечаю знакомую пару: белокурую певицу, выходившую утром из греческого садика, и молодого грека. Она идет без платка, подставляя солнечным лучам свои белокурые

мокрые волосы. Они, очевидно, только что выкупались в Дунае. Увидев Луку, она остановилась у насыпи, удержав за руку и своего спутника. Когда мы были близко, она подняла свое красивое лицо с мягкими округленными чертами и сказала навстречу Луке румынскую фразу:

— De ce ai dus mostele la doctorul... Du le la cimitir...

Фраза была кинута с таким невинным видом, в лице было столько красивого, приветливого расположения, что я не сразу понял ее оскорбительный смысл. Лаская Луку взглядом голубых глаз, красивая девушка спрашивала, зачем он привез к доктору «мощи», и советовала свезти их на кладбище...

Наша коляска вдруг дрогнула и качнулась. Мне показалось, что мы летим под откос и что Лука уже наполовину свалился. Но это было только мгновение. Быстрым, как молния, движением Лука наклонился с козел и взмахнул бичом. Что-то резнуло воздух, коляска опять выровнялась и тихо покатилась по насыпи. Лука оглядывался, повернув смуглое лицо с странно внимательными глазами.

Я тоже оглянулся. Молодой грек с смешным выражением стоял без своей шапки с галуном, которая лежала в пыли, и держался за щеку. На полном плече женщины виднелась полоса: плотно натянутый рукав был разрезан, точно ножом, разошелся и обнажил тело с резким красным рубцом.

Лука задержал лошадей. Лицо его было спокойно, в глазах можно было заметить одно только любопытство. Он будто ждал чего... Но грек все с тем же выражением испуга и недоумения наклонился, поднял шапку и стал тщательно обтирать ее рукавом...

Лука мотнул головой и подобрал лошадей. Но тут произошла новая неожиданность: едва молодой грек надел свою шапку, как женщина размахнулась, ударила его изо всей силы по щеке, так что звук разлетелся далеко по берегу, а сама опустилась на штабель бревен и заплакала. Плакала громко, жалобно, подетски. Ее круглые плечи вздрагивали, как у огорченного ребенка. И на левом плече проступала из рубца кровь...

— Кынеле гречяска (греческая собака), — пробормотал Лука про себя и повернул коляску тихо назад. Мы еще раз проехали мимо этого места. Грек имел вид все еще изумленный. Это был почти мальчик, рослый и стройный... Он испуганно посторонился, услышав близко шуршание колес; женщина закрыла лицо руками и заплакала еще сильнее... Когда каруца поравнялась с нею, все ее большое красивое тело сильно дрогнуло, как будто она ждала нового удара... Но она не посторонилась, только плач ее стал судорожнее; плакал уже не обиженный ребенок. Плакала женщина, сильная, чувственная и жестоко оскорбленная...

— Зачем вы это сделали, Лука? — спросил я с невольной досадой...

Лука не ответил.

Катриан насупился и покачал головой...

Коляска въехала в переулок предместья, и берег Дуная исчез из наших глаз.

V

НА МАГАЛЕ

Мы остановились у маленького, крытого черепицей дома. Тут же под навесом здоровенный бондарь, рослый, светловолосый и курчавый, с лицом славянского типа, набивал обручи на новую винную бочку. Увидев Катриана, он оставляет работу и кричит:

— Лилика! Лилика!

Красивая маленькая румынка появляется на пороге дома. Катриан бережно, с самодовольным видом вынимает из платка пару новеньких лоснящихся ботинок, при виде которых лицо Лилики вспыхивает. Она закрывает лицо поднятой рукой и, глядя из-за локтя застенчиво-восхищенными глазами, говорит:

— О, думне-зеу! Зачем такие? Ведь дорого!

Дюжий бондарь самодовольно смотрит то на свою крошечную жену, то на полусапожки с круто выгнутыми каблуками, сверкающие на солнце чернотой и

яркими бликами. Он берет один из них так осторожно, точно боится, чтобы он не разлетелся в его грубых руках, и говорит с оттенком удивления:

— И может это прийти на человеческую ногу?..

— А вот посмотрим, — самодовольно говорит Катриан. — Poffim, сисоапа (пожалуйста, сударыня)... Прошу примерить.

Женщина все с тем же нерешительным видом садится на опрокинутую кадушку и говорит:

— Ах, нет, нет! Это не годится... и очень дорого... И, наверно, не придется по ноге.

Как бы для того только, чтобы доказать, что это действительно не годится, она проворно снимает старый башмак, стыдливо ставит его за кадушку и надевает новый. Ее маленькая нога в черном полусапожке становится на белые стружки.

— Точно вылито, смотрите, пожалуйста! — говорит она с притворным удивлением и уже не может оторвать глаз от своей ноги. Катриан становится на колени, застегивает, обглаживает и начинает хвастать: посмотрите подъем. Трудно найти другой такой в Тульче. Но надо также артиста, чтобы так обрисовать его. Ну, смотрите спереди, сбоку, сзади... Каково? А?

Бондарь доволен. Он искоса поглядывает на жену, которая на разные лады поворачивает ногу, и его рука лезет в карман.

— Ну, сколько же? — спрашивает он.

Катриан поднимается с колен. Лицо его становится серьезно.

— Доу-зэчи де леу¹, — говорит он небрежно. — Я ведь говорил уже...

Женщина испуганно вскидывает глазами на мужа и тихо стаскивает башмак. Бондарь озабоченно сводит брови.

— Доу-зэчи?.. — повторяет он. — И не дорого это за такие маленькие штучки?.. Я за эти деньги должен сработать две средние бочки. Выпилить клепки, выстрогать, пригнуть, набить обручи. Четыре дня рабо-

¹ Двадцать левов (франков).

ты, а то и больше. А ты их сделал в два дня... Судисам, товарищ, разве это справедливо?..

Бондарь посещает clubul tinerilor, слушает конференции Катриана и «приетней-студентов» и теперь пытается применить к частному случаю формулы трудовой стоимости и обмена. Между ними начинается оживленный спор, который я понимаю только отчасти, так как говорят по-румынски. Катриан горячо говорит о «квалифицированном труде». Он увлекается, приводит примеры, жестикулирует. На говор выходит сосед столяр и кузнец с молотобойцем. Слушают внимательно... Бондарь возражает неуверенно и слабо, потом хлопает оратора по плечу и вынимает кошелек. Он, видимо, доволен. Доволен маленькой женой, доволен башмаками, доволен, что он заказчик, что Катриан ждет от него уплаты, доволен, наконец, даровой конференцией, прочитанной здесь известным оратором собственно для него. Довольны также и слушатели: каждый из них нашел свое место в стройной теории, а это всегда радует человека. При этом оказалось, что чистых пролетариев во всей компании только два: Катриан и молотобоец. Столяр, кузнец и бондарь — мелкие капиталисты и проприетары... Более всех, однако, довольна маленькая бондариха. Видя, что муж сдался и вынимает деньги, она с жадной быстротой хватается ботинки, завертывает их в передник и убегает, забыв даже попрощаться...

Только Лука с своих высоких козел смотрит тяжелым взглядом. Может быть, он вспоминает, что у его жены такая же маленькая нога, что он мог бы заказать ей такие же полусапожки и она так же радовалась бы, если бы была здорова.

VI

ГОРА ДЕНИЗ-ТЕПЕ

Тульча осталась назади. На гребне возвышенности видны еще валы бывшей турецкой крепости, разрушенной после берлинского договора. Последние

следы владычества турок на берегах Дуная. По ним теперь ходят овцы, и фигура чабана долго рисуется, неподвижная в чистом небе.

Становится жарко. Солнце высоко. По степи, не успевшей остыть за ночь, уже тянет опять теплый ветер. Четыре пары подков ровно стучат по твердой дороге. Вдали, колеблясь, пробегают пыльные вихри, падают, встают опять в другом месте, точно это пространство они пробегали невидимками... С отдаленного Дуная, затерявшегося у мглистого горизонта, чуть слышно долетает гудок парохода... От молчаливого волнистого простора Добруджи веет смутными воспоминаниями, точно это встают в убаюканной памяти какие-то сны, которые видели, может быть, еще наши предки...

Все кажется сердцу странно знакомым и еще более странно чужим. Это неуловимое общее впечатление сопровождает меня всюду в моих скитаниях по этим придунайским степям...

Большое село как бы выползает из оврага, и, когда мы приближаемся, оно растет и ширится. Овраг разделяет его на две части.

— Каталуй ето, — вяло говорит Лука, указывая кнутом. — На етой вот половине, направо, тальяны живут...

И через некоторое время прибавляет:

— Откуда взялись — неизвестно... Давно живут.

За тальянами, в Ени-кее, живут болгары. Беленькая приветливая «кырчма» отбежала от этого села к самой дороге. Стены ее сверкают на солнце, и в двери видна густая заманчивая тень. Лука приворачивает сюда, разнуздывает лошадей и подвязывает им мешки с овсом. Нам ставят столик в тени, подают вино и кашкавал (простой овечий сыр). Я соблазняюсь зарисовать эту корчму, стоящую в чистом просторе, без садика, без деревца, без тына. Пока я рисую, Лука наливает мутноватое вино и каждый раз чокается с Катрианом. Потом требуют второй графин. Теперь наливает Катриан и чокается первый. Лука рассказывает ему что-то медленно, серьезно, с видом человека, который интересуется

предметом, но не может его понять. Катриан — слушатель экспансивный: он весь подался через стол, чмокает губами (выражение крайнего внимания) и порой издает восклицания. Говорят по-румынски, но я улавливаю отдельные фразы. Речь идет о певице, которую Лука хлестнул кнутом. Никто не знает, откуда она, кто ее родители. Привез ее какой-то немец, который давно умер. С тех пор пересбывала во многих местах. То появляется, то исчезает. Знает четыре языка: немецкий, румынский, греческий и немного руснацкий. Водится теперь с греками, но сама не гречанка. Кажется, Лука считает ее немного колдуньей и... сам удивляется своей заинтересованности... Катриан презрительно смеется... Закипает какой-то спор, но, когда я подхожу к столу, Лука смущенно смолкает... Он показывает мне вдаль, где почти на горизонте виднеется синеватая цепь холмов, покрытых лесом. Она разделена в одном месте перевалом.

— Вот нам куда надо: у етой дял будет лезть, — говорит Лука. — Далеко еще. Поздно выехали. Как бы дощ не застал у балканах...¹

Опять ровный топот копыт... Долго... Часы... Клонит дремота. Солнце перешло на другую сторону неба. Однообразная равнина начинает волноваться. В одном месте из-за близкого горизонта мелькнула круглая верхушка горы. Мелькнула и скрылась и потом встала вся от вершины до подошвы огромным курганом. Она будто бы выбежала сюда одна от далеких гор и стала одиноко и сурово со своей тенью, как передовой страж, господствуя над равниной. Стучат копыта, каруца катится, гора растет. Зовут ее Дениз-тепе — может быть, потурченное название горы Диониса, забредшего далеко на север в страну варваров и здесь одичавшего эллинского бога... По сторонам ее широким кругом, охватывающим гору, виднеются, каждый со своею тенью, меньшие курганы. Движение коляски производит странную иллюзию: кажется, что огромная и грузная гора стоит на

¹ Балканы, нарицательно, — горы. Дял (deal) — долина, разделяющая горный кряж.

месте и только растет к небу, а курганы передвигаются, обходят нас стороной, охватывают, окружают магическим кругом... Это как будто старый лагерь... Ставки неведомых вождей или маленькие алтари вокруг гигантского жертвенника... От всей группы веет загадочной торжественностью, застывшею старою тайной...

Лука поворачивается ко мне, указывает кнутом и говорит:

— Етые могилы, господин Владимир, — усё люди поделали... Народы какие-то... А какие народы, я не могу знать... И никто не знает...

Потом, помолчав, прибавляет:

— Теперь от тых народов не осталось, может, ни одного человека... Нигде на усём свете. Только одне могилы...

Есть в этой простой фразе Луки и в его глубоком голосе, когда он ее произносит, что-то особенное... Или это только мне кажется потому, что мы уже въехали в синюю тень Дениз-тепе. Сначала в нее нырнули лошади, потом, зыбко пробежав по их вздрагивающим спинам, она покрыла Луку и легким веянием холодка обдала наши лица. И кругом нас сразу стало холоднее и печальнее. По бокам что-то осторожно шептала сухая степная трава, и чудились какие-то давние времена, и странная ночь, и чуждое небо, и не нынешняя луна и звезды, и неведомые «народы», собиравшиеся здесь для неведомых дел. Для войны? Для мира? Для совета?.. И на этих мелких курганах горели огни?.. А на вершине совершалась тайна?.. Лилась жертвенная кровь? Гремели заветы грозного божества?.. И кругом во тьме склонялись тысячи людей в молитве и ужасе, и по склоненным спинам пробегали трепетные отблески огней...

Катриан в наивном удивлении смотрит на курганы. Он вздыхает, качает головой, и его резкий голос вспугивает обаяние минуты.

— Ах, господин Володя (так он величает меня по болгарской привычке к уменьшительным именам). Какой народ был глупый... Для чего потерял свой труд? Для чего потерял свой капитал?..

Я невольно улыбаюсь. Чем-то удивительно наивным звучит этот возглас. Лука поворачивается, смотрит на Катриана в упор и говорит:

— Тебе не спытали...

— Мене спытал бы, — с той же наивной простотой отвечает Катриан, — я бы не позволял. Это есть одна глупость. Лучше строить школа, народного дворца, театра. Для чего столько земля таскал? Какой надобность столько земля таскать у одно место? Мало горá на свете?..

Вопрос поставлен так ясно и просто, что Лука не находит возражения и глубоко задумывается. Мне чудится, что какие-то смутные симпатии связывают его простую душу с тайной этого места, где давно исчезнувшие поколения оставили после себя эти курганы и смутные тени давно исчезнувшей веры. Но резкий рациональный голос Катриана распугивает смутные ощущения: зачем, в самом деле, таскать столько земли в одно место?..

Ответить Лука не умеет. Он задумчиво покачивает головой и гонит лошадей, чтобы они поскорей унесли его от неразрешимого вопроса...

VII

СОВСТВЕННЫЯ ЦЫГАН ЛУКИ

Навстречу, по дороге, огибающей Дениз-тепе, ползет воз и скоро тоже ныряет в тень.

Это кочевая телега цыгана. Он идет впереди один. Под навесом телеги — его нехитрый скарб и, вероятно, семья. Далеко не доезжая до нас, он торопливо сворачивает с дороги, останавливает лошадь. Я с удивлением вижу, что он вытолкнул из-под навеса черного лохматого цыганенка, а другого, поменьше, взял за шиворот и волокет к дороге, по которой мы должны проехать. Тут он швыряет ребенка на шоссе и кидается сам на землю. Все трое лежат почти на середине дороги...

Лука замедлил бег лошадей и сворачивает в сторону. Лошади осторожно пробираются краем, прижи-

маясь друг к другу, колеса сухо шуршат по щебню... Навстречу нам с земли глядят с странным выражением три пары цыганских глаз, точно в рамке из матовых черных лохматых волос... Поравнявшись с ними, Лука тихо замахивается кнутом и покрывает всех ласково-шутливым ударом. Цыганы, точно по команде, приподнимаются на колени и начинают порывисто кланяться вслед нашей тихо удаляющейся каруце. А сбоку таинственно, серьезно и одобрительно смотрит на эту картину загадочная гора Деннз, окруженная своими курганами...

— Что это такое? — спрашиваю я с удивлением у Катриана. — Они просят милостыни?

Катриан пожимает плечами.

— Ну штну (не знаю), — говорит он. — Че аста (что это), Лукаш?

Лука стыдливо вытягивает лошадей кнутом и говорит после короткого молчания:

— Ето Янку... мой цыган.

— Зачем же он ложится на дорогу?

Лука некоторое время молчит, думает о чем-то.

— Такой у его обычай... — говорит он затем серьезно. — Моду себе такую узъял. Как мене завидить, так сейчас и ляжет. И детей покладеть на шлях... Значить: поезжай, Лука, через мене, через моих детенков. Топчи копытами, ничего.

— Но зачем же?

— Так...

Он опять застенчиво смолкает. Но потом, соображая, что мы в недоумении, говорит как-то неохотно и вяло:

— Ты, Катриан, знаешь, где тут за горою Европа Дунай ровняла и дорогу строила...

— Знаю.

— Ну, выкопали они тут фосу (канаву) и шанец* насыпали. А потом сверху, может от Железных ворот, а то от Семендрии, вода по Дунаю пошла и открыла все это место, и шанец, и фосу, геть усё... Ничего не видно... Ну, а етой цыган не знал. Он кочуеть далеко: поидеть себе степами на Констанцу, в Туречину залезеть, пропадаеть долго... Поехал етым

местом, задумал коней купать... Отпрег, повел у воду. Думает себе, дурной, что тут мелко. Дошел до стой фосы, — бух у воду с головою, давай уже тонуть... Когда бы не глупый был, то не выпустил бы повод. Лошади бы его выволокли. А он дурной: бонлся коней втопить, отпустил...

Лука усмехается и качает головой...

— Ну? — живо понукает Катриан.

— Так и утоп бы, собака. Да на тую пору мене черт принес: еду себе над Дунаем из Сарыкоя; вижу, что-то у воде чернеется. Покажется и мырнет опять. А по берегу цыганчата эти самые бегают, лопочут, рукиверху здымають. Когда вижу: лошади над шанцом показались. Тут уже я догадался. Соскочил сейчас, орчики от каруцы отцепил, дышло вынял да с дышлом у воду.

— Так и вытащил цыгана? — смеясь, спрашивает Катриан.

— Сам было утоп, — серьезно отвечает Лука. — Цыган мой уж одурел: я ему дышло у нос, а он того понятия уже не имеет, чтобы ухватить руками... Что тут делать у такой беде? А сам я плавать тоже не умею. Ну, побежл на берег, схватил буланка, вожжу ему за шею подвязал, да у воду. Спрыгнул с коня у фосу, хлеснул его, сам левою рукою за вожжу держусь, другою цыгана ухватил за чуприну... Он, дурной, мене на дно тянеть, буланка на месте бьется, аж вода кипить, по берегу цыганчата бегают, кричать...

Он усмехнулся.

— Совсем было пропал с проклятым цыганом. Надо бы кинуть, а мне уже зло взяло. Пушай же я его, дурного, вытащу, а то и сам пропаду, когда мене, может, такая смерть написана... Ну, все-таки выволок нас буланый до шанца, — руку мне вожжей всю ободрал. Взял я етого цыгана на руки, донес до берега, положил лицом униз, вытряс из его воду. Может, с ведро. Душа вернулась. Вот он с тех самых пор все мене и кланяется... еду я, он на дорогу ляжеть. У городе встренеть, руки цалуеть... Цыган, цыган, а душа такая же. «Я твой человек». А на что ты мене, дурной, здался?..

— Ты есть алтруист, — говорит Катриан серьезно. — *Omul brav* (храбрый человек). Тебе треба у нашего клуба писаться.

— Не понимаю я, чего ты говоришь. — Лука пожимает плечами и переводит разговор на другую тему. — Тут вот могылочка будет, так в ей хохол с Херсонщины усё клад шукаеть... Вот и теперь тут...

Дениз-тепе назади. Теперь гора повернулась к нам освещенной стороной и в ровном косом свете кажется далекой. В тени чуть заметным пятнышком маячит цыганский воз... По мере движения нашей каруцы странно передвигается цепь курганов; последние из них подбежали к нашей дороге, как бы загораживая выход из магического круга...

Один подошел вплоть. В его бока врезалась канава. Из ямы, точно ком земли среди других комьев, видна лысая голова с седыми усами. Живые глаза провожают нас внимательно, подозрительно и враждебно. Лука кланяется с обычным серьезным видом. Катриан громко смеется.

— *Nebun* (сумасшедший), — говорит он бесцеремонно. — С малого труда хочет большой дохода... С малого труда не надо большой дохода... Правда, господин Володя?

«Балканчики» все ближе. Над ними мутные тучи тихо клубятся, громоздясь друг на друга, но как будто не решаясь покинуть гряды, чтобы двинуться к долине. Над нами и за нами еще светло и весело. Вьется жаворонок, рассыпается где-то невидимой трелью и, как черная грудочка земли, падает в сухую траву. Высоко пролетают ласточки, искрещивая воздух зигзагами. Вверху, освещенный солнцем, парит степной орел.

Лука и Катриан давно уже ведут о чем-то беседу по-румынски. Беседа деловая. Начал ее Лука: «Аскульта, Катриане», — сказал он, слегка повернувшись, и затем медленно, как будто сконфуженно стал ему говорить что-то о функционаре, который приходил к нему и о чем-то его просил... Катриан сначала смеялся, потом заговорил так быстро, что я перестал улавливать смысл его румынской речи; он привставал к Луке,

опять кидался в сидение и даже стучал кулаком по ладони.

Наконец редкие реплики Луки совсем стихли. Он ехал молча и наклонив голову набок, не то изучая по-бежку лошадей, не то раздумывая. Потом заговорил по-русски, обращаясь уже ко мне:

— Вот, господин Владимир... Мы тут с Катрианом майструируем у двонх над одним делом...

— Каким?

— Хотем так сделать, чтоб одного человека оставить без хлеба.

Я невольно улыбаюсь. Катриан лукаво подмигивает на Луку. А Лука продолжает своим медлительно-вдумчивым голосом:

— Видите... Какой тут маракхет вышел. Приходят раз ко мне у двор помощник перчептора (по-вашему сборщик) и два епистаты. Значить, по-вашему сказать, жандармы. Все пьяные. Вышла к ним тут теша моя, старая женщина. «Что вам надобно?» — «Подавай подать...» Слыхали? Ну, она ему отвечает: «Что ты у бабы подать пытаешь? Умный ты или дурак?» Он ее — бить... Выбежала жена...

Он поворачивается ко мне. Глаза его сверкают жалостью и гневом.

— Вы ее видали: больная. Он и ее, подумайте, господин Владимир, — ногою вот сюда, под грудки... А меня не было. Я с отцом и братом на гърмане был. Ворочаюсь до дому: жена моя лежить на постели. С этих пор вот опять до доктора вожу...

— Hotz, tilhar, bürokrat! — гневно сверкая глазами, произносит Катриан.

— Ну, правда, — поясняет мне Лука. — Тильгър, гоц — значитесь разбойник. И верно, что разбой... А у меня, сказать вам, и подать давно заплачена... Оны, значить, хотели с етых женщин на вино себе выманить... Что, господин Владимир, у вас так бывает, у России?

— Случается тоже...

— Что тогда делают у вас люди?

— Что ж... жалуются, конечно.

— Ну, так... И вы то же самое говорите. А у нас, господин Владимир, прежде при турчине был другой обычай... При турчине-то взял бы я себе добрый атаган... нож значить, или пушку, по-вашему рушницу, и пошел бы на дорогу дожидаться. Когда бы он пошел дорогою, то уже кому бы бог дал. Или ему, или мне. Кому, значить, какое счастье. Мне бы бог помог, я бы ему голову разбил. А если бы ему бог дал, то он бы меня укалал на шляху. До кого бы, значить, смерть пришла, то от смерти никому пельзя убежать... Ни одному человеку... При турчине у прежнее время оно так было...

— Глупый народ был,—категорически отрезывает Катриан.—Феодальный време рушнице действовал. Буржуазный време — закон!

— Ну, — мотает головой Лука. — Прежде так было. Отец у мене, конечно, человек старинный. Такая, говорит, видно, твоя доля, а что покинуть это дело нельзя... Ну... пошел я к доктору. Прощай, говорю, домну докторе. Чи увидимся, чи, может, уже не увидимся, я не знаю. Ну, он распытал мене. «Хочешь ты, дурной, мене послухать?» — «Я завсегда, — говорю, — должен тебе послухать». — «Так покинь ты этие турецкие глупости. Не надобно. Лучше я тебе одного человека пошлю... Он тебе дать поряду...» И прислал вот его, Катриана.

Он тычет, повернувшись, ручкой бича по направлению к Катриану и продолжает:

— А он, Катриан, вот какой человек, вы его еще, может, не знаете. Башмачник, чеботарь, черная кость. Худородный, как все одно я или другой. А никого не стыдится. И имеет силу...

Катриан самодовольно улыбается.

— Помнишь Костю? — говорит он.

— Я не об том, — говорит Лука, — что ты Костю свалил. Мене не свалишь. У тебя сила большая, а короткая... А я, господин Владимир, вот о чем: приходит, например, у ресторацию или у градину (сад), где сидеть сам прехвект. Здоровкается за руку. Запалюет цигарку, сажается себе на стул...

— Ты смотришь на префект, как на один бог, — говорит Катриан. — А я не смотрю на его, как на один бог. Зато что он народный слуга. Пнись, глупый царан, у нашего клуба, будешь понимать все.

Лука задумчиво стегает лошадь и, оставив восклицание Катриана без ответа, продолжает:

— Пришел Катриан ко мне в дом, распытал. Аштяп (подожди), говорить. Ты покамест не мешайся в это дело. Мы будем у газету писать. Потом, когда уже газета не поможет, напишем петицу...¹ На что мне, я говорю, твоя газета и петица? Газета — бумага, а он у мене бабу бил. Я ему, тилгару, кишки выпущу, как он ее под грудки вдарил.

Катриан иронически усмехается.

— А как он тебе кишки выпустить? А? Или посадят тебе у пенитенциар... Бабе лучше будет?

— Вот! — подтверждает Лука. — Это правда опять. Давай, говорить, мы у етых людей кусок хлеба из роту вырвем. Это им будет лучше атагана и рушницы. Теперь он получает себе шестьдесят левов каждый месяц... А мы у его отберем...

Лука качает головой, как бы удивляясь, и продолжает:

— Написал у газету. Пришла газета из Бухарештов до нас. Люди читали — газета, газета!.. Ну, а дальше что? «Аштяп, — говорить, значить: погоди. — Не твое дело. Ты только побожись на образ, что без мене не будешь с ним мириться никак». Ну, я побожился. Почему побожился? Я их в то время живыми бы у землю рад закопать...

Катриан при упоминании о клятве на образ лукаво улыбается и подмигивает на Луку...

— Ну, хорошо, — продолжает Лука. — Пришла газета, кличуть меня у прехвектуру. И он там, перцептор, и епистаты с ним. Стоять, чисто овечки. «Правда у газете написана?» — «А как же!» — «Били они?» — «Били. И сейчас баба больная». — «Как же вы, — говорит функцинар, — можете прийти к проприета-

¹ Petitia — жалоба.

ру в дом и бить его кукóну? Это не дозволяется никак... За это дело ответите строго». Ну, и что вы думаете: прошло дня, может, три или четыре, приходится ко мне этой перчептор. Бух у ноги... «Ярта ме пентру думине зеу...» Значить: прости ты мене для бога.

Голос Луки становится жалобным.

— Прости, говорить. Не попомни этого дела... Ноги целуеть. Потому что, видите вы, господин Владимир, у него тоже баба и два дитёнка. Чем им кормиться?... А?..

— Ну, и что же вы, простили?

Лука некоторое время молчит, Катриан сидит, сдвинув брови. Потом Лука говорит с особенной медлительностью.

— Я вам правду скажу: хотел попуститьсь. Жалко. И жена просила. Ну, нельзя: присягал. А он, Катриан, не позволяет никак...

Катриан делает резкое движение и говорит:

— Вот, господин Володя, смотрите вы на этого народа: из рушница хотел стрелять, атаганом хотел резать, голова хотел разбивать, — теперь хочет отпуститьсь вовсе...

И, встав с гневно сверкающими глазами, он спрашивает у Луки:

— Он только у тебя в доме бабу бил?

— Это правда, господин Владимир, — смиренно отвечает Лука, — у других тоже бил. Мужики из дому, они у дом. Которые бабы испугаются, дадут лева три, а то четыре, они идут дальше... А которая не даст — бить...

— За эта причина нельзя простить, — отчеканивает Катриан, обмусливая скрученную папиросу. — *Asta afacere cetacenesca* (это общественное дело). Когда ты увидишь одна змя, убий его!.. Убий, чтобы не укусил другому... — заканчивает он тоном глубокого бесповоротного убеждения.

Бледное лицо социалиста покраснело от волнения. Лука молчит сконфуженно и покорно.

Перелесок. Дорога грязная. Здесь недавно шел дождь, редкие капли проносятся в воздухе и висят на листьях. Из-за деревьев видны недалекие крутые вершины лесистых гор, задержанных дождливой пеленой. Слышен шум тихий и ровный. Разбежавшиеся лошади чуть не набегают на препятствие. На повороте, у кустов, стоит воз с хворостом, наклонившийся на сторону. Правые колеса по ступицу ушли в колею. У воза хлопочет липован в маленькой шляпенке и кожаных постолах, вымокший, грязный и вспотевший. В перспективе лесной дорожки равнодушно поскрипывает другой воз и скоро исчезает за кустами. Липован хлещет взмокшую лошаденку поперек спины, потом по шее, по глазам. Лохматый конек тужится, выгибает худой хребет. Воз не трогается.

Лука останавливает каруцу, медленно подвывает лошадей, потом несколько секунд стоит молча, изучая положение воза.

— Топор есть? — спрашивает он у липована.

Тот достает топор, покорно подает его Луке и потом, сняв шляпу,тирает мокрое лицо и слипшиеся на лбу волосы. Лицо усталое, апатичное. Он, видимо, дошел до тупого отчаяния, когда человек уже ни на что не рассчитывает и готов хлестать дорогу, деревья, оглобли и, конечно, лошадь. Лошадь больше всего, потому что она способна чувствовать его отчаяние: она вся дрожит мелкою дрожью ужаса, и умные глаза ее плачут крупными частыми слезами.

Лука качает головой неодобрительно и жалостливо. Потом берет топор, двумя-тремя ударами срубает мешающие ветки, а затем вырубает толстый корень у самой ступицы. Воз оседает и накренивается на Луку, но вдруг подымается опять. Это Катриан, заметив опасное положение приятеля, быстро подставил плечо и порывисто нервным усилием приподымает воз. Липован подхлестывает лошадь, воз выполняет на ровное место.

Лука одобрительно смотрит на Катриана... Липован снял обеими руками мокрую шляпенку. Его ру-

баха изорвана, с одной ноги обувь свалилась и тянется сбоку на ремешке, лицо удивленно-радостное и благодарное.

— А что же твои тебе не помогли? — спрашивает Лука, указывая головой в ту сторону, откуда еще слышно потрескивание корней под колесами.

— Не свои, — отвечает липован, — это из «Русской Славы», астрицкие. Мы, стало быть, с Черкесской. Беспольские...

— Ну, так что же? — говорит Лука поучительно. — У беде человеку надо помочь. Когда бы твоя конячка не была сдвинула сама, то я бы тогда выпряг своих... Нельзя человека в такой беде покинуть.

Он подходит к липованскому коню и жалостливо гладит его по шее.

— А коня, брат, надо кормить. На биче не уедешь. Главная сила у зерне. Лошади дай зерна, потом пытай работу. Без понятия вы, славские. Вот у Сарыкое ваши тоже. Липованы. А посмотри ты коня, посмотри воз... Все справно.

Липован слушает смиренно, потом вдруг спохватывается. Широкое лицо его расцветает улыбкой.

— Пожди-ка, — говорит он, лукаво подмигивая, и кидается к возу. Из-под хвосту он достает объемистую посудину и большой стакан. В посудине цуйка — местная сливяная водка, мутная, плохо очищенная, но необыкновенно крепкая. Он наливает себе стакан, говорит: «Господи благослови», — и быстро опрокидывает в рот. Потом подносит Луке и Катриану. Они выпивают. Липован наливает по другому стакану.

— А сам? — спрашивает у него Лука, выпив после Катриана.

Липован смотрит с наивным сожалением и чешет в голове.

— Не догадался, вишь... Теперича нельзя мне: посудину вы опоганили. — Он кидает стакан в кусты и прибавляет простодушно:

— Ну, ничего! Для добрых людей не жалко.

Каруца катится лесом, который становится все

выше. Бессонная ночь и тихое ровное движение берут свое: я начинаю дремать. Будто сквозь сон слышу, как Лука говорит:

— Тут вот долгоусы живут. А что за народ — неизвестно.

И в моих дремотных глазах мелькает лесная вырубка, хатки, синий дымок на фоне зелени и черная голова на тонкой шее, с длинными усами, расходящимися над бритым подбородком. Два глаза с темными, как угольки, зрачками. Потом какой-то цыганский поселок с землянками. Подобие женщины с черными лохмами и обнаженной терракотовой грудью...

Потом лес, сплошной, высокий, с однообразным убаюкивающим шумом.

IX

СТОЛКНОВЕНИЕ

— Для чего ты у наш клуб не пишешься? — доносится ко мне медленный голос Луки... — Хочется ему, чтоб я записался у clubul muncitorilor. Ну, мне не надобно... Почему не надобно?..

Он обращается ко мне, и я просыпаюсь...

— Он, господин Володя, боится, что мы у бога не верим, — живо подхватывает Катриан. — Боже мой! — поворачивается он к Луке. — Кто тебе запретит? Верь ты у свой бога, только будь солидър... Чтобы не давать своего труда кушать другому...

Лука не отвечает. Катриан закуривает. Опять долго едем молча. Вечереет. Вверху над лесом проносятся красноватые облака, точно торопятся на ночлег... И опять, очнувшись от дремоты, я слышу разговор:

— Так и не будешь жениться? — спрашивает Лука.

— Не буду, — отвечает Катриан и выпускает в воздух длинный густой клуб дыма...

— Не хочешь... Ну, а как дитенок будет?..

— Дитенок родился уже, — говорит Катриан живо. — Один большой мальчишка... Четыре кило тянет.

— Ты уже его на кантаре¹ вѣжил?

— Вѣжил.

— Т-а-ак. А крестил?

Катриан молча пожимает плечами.

— У какую ж ты его веру окрестишь? — с любопытным интересом продолжает Лука. — В церкву по-несешь?

— Зачем у церковь? Не надо мне церква.

Лука поворачивает голову.

— Неужто у синагогу потащишь?

— Не надо мне синагога, — равнодушно отвечает Катриан. Лука слегка откидывается и весь поворачивается к сидению.

— Как же он у тебя будеть?..

— Никак...

Глаза Луки делаются круглыми и на несколько секунд как бы застывают... Он как будто не может дасть себе ясного отчета в слышанном и начинает уяснять его себе, пустив лошадей. Потом опять поворачивается.

— Слышите вы, господин Владимир... Вот у его баба. Жидовка. Жениться он не хочет. У нас у Румании это можно: либер, хочь з христианкою, хочь з татаркою венчаться можно. Неправду я говорю, Катриан?

— Правда, — подтверждает Катриан.

— Ну, он не хочет. Значить, так: збежались как собаки у одно место... Свадьба...

Папираса в губах Катриана слегка вздрогнула. Его бледное лицо еще побледнело, а в серых глазах вспыхнул гневный огонек.

— Ну, — продолжает Лука успокоительно, — это их дело. У нас тоже много так живут... Грех, конечно, ну, ничего. А вот что он теперь говорит... Это как?

— Слушай, Катриан, — говорит он странно переменившимся, почти просительным тоном, — ты мне этого не говори... Пож-жа-луйста, не говори! Я тебе

¹ Cântar — весы.

прошу... Ну, не хочешь у церкву, неси у синагогу... Будет он у тебе жиденок. Все-таки вера... Понесешь?

— Не...

— В мечеть неси. Будет он турчин.

— Не надо мене мечеть. Никакая вера не надо...

Каруца катится совсем тихо. Лука смотрит на Катриана. Катриан, крепко зажав в зубах папиросу, смотрит на Луку. Я с несколько тревожным любопытством смотрю на обоих.

Трудно представить двух людей, менее похожих друг на друга. Лука — крепкий, прямоугольный. Все на нем прочно, широко, сшито с запасом. Движения немного неуклюжи, но в них чувствуется какое-то грузное, медвежье проворство. Лицо смуглое, трудно выдающееся душевные движения. Черные глаза глубоки, и в этой глубине все смутно. Точно в голове и сердце этого человека клубятся и передвигаются медлительные чувства и мысли, похожие на облака ночью над курганами Дениз-тепе... Катриан, сухой и нервный, весь точно на пружинах. Так как в горах сыровато и холодно, то я дал ему пелерину от своего непромокаемого плаща. Из-под нее виден черный сюртук. Все это как-то странно и случайно. В фигуре Луки чувствуется быт, по которому тяжело прошли вековые перемены. Фигура Катриана вся — сегодняшней, может быть, завтрашний день... На бледном от нездорового труда лице проступает быстрый, непрочный, нервный румянец...

— Будешь крестить? — спрашивает Лука медленно.

— Не буду, — говорит Катриан.

— И в турецкую веру не окрестишь?

— Отвяжись от мене...

Лука останавливает коляску и говорит:

— Вылазь из каруцы... Вылазь из каруцы. — повторяет он крепче. — Ты мою каруцу опоганил. Я добрых людей вожу. Вылазь из каруцы!

И затем медленно, замотав на облучке вожжи, он слезает с козел.

Едва он ступил на землю, как Катриан быстрым,

как молния, движением выпрыгнул из каруцы и стоял против него в своей шляпенке и моей пелерине, но не смешной. Он весь выпрямился, как тугая пружина. Глаза его сверкали, тонкие черты стали красивы и значительны.

— Как ты смел говорить так о моей жене? — заговорил он по-румынски звенящим голосом.

— А что ж тебе сказать? — медленно, тоже по-румынски отвечает немного оторопевший Лука.

— Ты... ты глупый царан, — почти задыхаясь, заговорил Катриан, — зверь лесной... Ты вот это дерево, ты вот этот камень, ты ничего не можешь понимать. Ты не имеешь разума... И ты смеешь так говорить о моей жене. Она честная женщина, мать моего ребенка...

Он нервно засмеялся и, указывая пальцем на Луку, заговорил, обращаясь ко мне, опять на своем руснацко-румынско-болгарском жаргоне. В голосе его слышался горький сарказм:

— Посмотрите на его, господин Володя: это есть один моралист, один христианин. Он учит мене, как держать моя семья. А сам...

Он остановился и, пронизывая Луку горящим взглядом, прибавил:

— Имеет одна жена у селе и одна любовница в городе... Скажи: неправда я говорю?

Лука, ожидавший, по-видимому, более простого разрешения этого спора, видимо, растерялся. Он смотрел на противника округлившимися несообразяющими глазами.

— Ха-ха! — нервно захохотал Катриан. — Он, господин Володя, сегодня ударял кнутом эта девушка. За чего ты ударял Марица?.. За того, что она тебе бросала, пошла к грекам. А за чего ты ее бил? Это я считаю низкость, бить одна слабая женщина. И ты... ты говоришь о моей жене...

По бледному лицу социалиста прошла судорога. Серые глаза вспыхнули. Он подскочил к Луке и схватил его левой рукой за грудь.

Я выскочил из каруцы, чтобы предупредить столкновение, которое, я чувствовал, могло быть ужасно.

Катриан, надорванный городской жизнью, потомок сильных предков, обладал все-таки запасом той «короткой», как говорил Лука, нервной силы, которая дает вспышками огромное напряжение. Лука подался назад, тяжело дыша и озираясь, как медведь, поднятый из берлоги.

Так прошла одна или две секунды, которых я никогда не забуду, с этой лесной дорожкой, с тихим шорохом листьев и с журчанием невдалеке невидимого источника. Одна лошадь повернула голову, вытянула шею и широко зевнула...

Лука отвернул лицо и тихо отстранил руку Катриана.

— Пусти, — глухо сказал он и тяжело, точно спросонья, перевел дух...

Это тоже было неожиданно. Катриан, выпустив пиджак Луки, остался в той же позе.

Тяжелое недоумение разрешили лошади. Они тихо двинулись по дорожке и через несколько секунд вынесли каруцу на площадку, где у подножья холма оказался небольшой каменный водоем. На стенке виднелись завитушки арабского изречения из корана. Водоем был, очевидно, сделан в турецкое время. Вода тихо стекала по желобку с мелодическим примирительным журчанием и звоном. Мы втроем пошли за каруцой...

Лука снял недоуздки, и, когда лошади принялись жадно пить, он повернул ко мне печальное смуглое лицо и сказал тихо:

— Это, господин Владимир, все... правда. Только ты, Катриан, — повернулся он к недавнему врагу, — не знаешь мою душу... Ни один человек не может знать чужую душу... Ни один... На всем свете. Только вот кто знает...

Его черные глаза печально поднялись кверху... А в голосе звучала глубокая, хватающая за сердце тоска...

Катриан вынул из кармана портсигар, достал оттуда две сигаретки и, подавая одну Луке, сказал, покрывая весельем не вполне еще улегшееся волнение:

— Давай, хахол. Выкурим по одна сигарка...

По кустам шел тихий шорох... Красные облака
вверху уже потухли. За балканчиками село солнце.
Булькала вода, вздыхала напившаяся лошадь... Ка-
залось, в тихом, застывающем воздухе слышен полет
уходящей минуты...

Х

ВЕЧЕР В БАЛКАНАХ

...Над балканами тихо. Вечер, должно быть, еще
ранний, но мне кажется почему-то, что уже глубокая
ночь. Мы едем то темными лесными ущельями, то
взбираемся на крутые вершины, и тогда над нами
широко и далеко раскидывается ласковое, чистое не-
бо, на западе еще светящееся отблеском отошедшего
дня. Нигде не слышно стука колеса, человеческого
голоса, собачьего лая, живого звука... Кругом — кру-
тые горы, лесистые, молчаливо-таинственные. Где-то
здесь забились в ущельях «Черкесская Слава», где-то
есть хутора. Все притаилось, замолкло, может быть,
уже заснуло. И если порой послышится в сторонке
частый топот и побежит рядом с нами шорох колес,
смолкая и опять гулко отдаваясь в чутком воздухе,
то это только звуковой призрак: по ущельям бежит
за нами наше эхо...

Катриан много курит. Огонек его сигареты вспы-
хивает красной искрой. Тогда я вижу его бледное
лицо с глазами, поднятыми к небу. Оно неопределен-
но задумчиво, почти мечтательно... В этих поездках
он переживает самый поэтический период своей жиз-
ни. Детство в тесных, кривых улицах полуазиатского,
полуевропейского большого города. Утомительный
труд в душной мастерской... Ни отдыха, ни игры, ни
ласки, ни просвета. Недолгое обязательное учение
в школе... Потом грубый разгул с товарищами под-
мастерьями, потом случайная встреча с социалисти-
ческой молодежью и яркие, нетрудные, простые от-
кровения, в которых он, как ему казалось, понял всю
свою жизнь, как можно узнать коридоры и переходы
в большом доме... Переезд из столицы в Добруджу,

опьяняющий успех пропаганды и непонятная ее остановка... Потом — деревенская темнота, деревенская стихийность. Лука, который становится его приятелем, но по непонятным причинам не пишется в клуб... а сегодня на минуту стоял перед ним смертельным врагом. Шпрота и раздолье степей, по которым рассеяны величавые памятники человеческой глупости, и ночь в лесных балканах, может быть первая в жизни, проводимая таким образом.

Смутный звук, точно дальний призыв или стон, пробегает в чутком воздухе... Ночь от него вздрагивает, и эта дрожь замирает в ущельях. Потом другой, третий...

— Че аста (что такое)? — спрашивает Катриан почти с испугом.

— У ченобии¹, — отвечает ему Лука, — к вечерне вдарили.

— Значит, «Слава» близко? — спрашиваю я.

— «Слава» близко, а монастырь далеко. Это вот тут дялами (ущельями) доносить...

Действительно, мы оставляем за собой устье ущелья, и звон смолкает... Опять тихо. Навстречу из-за деревьев поднимается бледный серп луны, свеженький, точно сейчас обмытый дождями и росами. Он то пробегает, будто играя, за сеткой зелени, то скрывается, падая за какую-нибудь вершину, то опять появляется, торопливо карабкаясь по веткам. И вдруг смело пускается плыть по чистому небу... Катриан следит за этими его проделками и поворачивается ко мне. Лицо его здесь, на открытой горной площадке, видно мне довольно ясно. В нем недоумение и вопрос, очевидно выходящий из обычного круга его мыслей.

— Господин Володя, — говорит он медленно, — что я хочу вас спрашивать?

— Пожалуйста, домну Катриан...

Он продолжает следить за луной, как будто отыскивая на ней какую-то свою заблудившуюся мысль, и потом, в забывчивости, говорит по-румынски:

¹ Киновия, монастырь.

— *Vezi asta luna...* Посмотрите на этого луна. Был круглый... потом не было. Теперь маленький...

— Совершенно верно, — что же?

— Я хочу знать: это все один месяц? Или все новый?

— Домну Катриан, — говорю я с невольным удивлением, — разве в школе вам этого не объясняли?

— Я учился мало, — печально говорит он.

Я кратко объясняю фазы луны человеку, который понял сложные вопросы прибавочной стоимости и ее распределения, но еще в первый раз задумался о том, что каждую ночь глядит на землю вечною заманчивой тайной. Катриан внимательно слушает. Лука едва ли интересуется моими объяснениями. Он знает это небо и эту луну по-своему... Когда я кончаю, он тоже смотрит кверху и говорит:

— А будет дош. Завтра у полдни...

— Почему? — спрашиваю я. — Небо чистое.

— Оно чистое. А зори невеселые...

Действительно, вверху протянулся почти незаметный, тонкий туман. Зори — это, на языке Луки, звезды. Они видны ясно, но точно светящиеся паучки протянули в тумане огненные лапки...

XI

НОЧНОЙ СХОД В «РУССКОЙ СЛАВЕ»

Каруца плавно катится по отлогому склону, как будто падая в темноту широкой долины. И по мере того как она падает, на противоположной стороне неба ширится и растет огромная гора, точно мгlistая туча, занявшая половину горизонта. Она все подымается, поглощая вверх звезду за звездой. А внизу, у ее подножья, вдруг загораются огоньки. Один. Другой. Третий... Потом огоньки посыпались кучками, выползая из невидимого ущелья... Среди них, чуть освещенная снизу, вырисовалась на фоне горы белая колоколенка...

Это «Русская Слава».

У въезда — околица, как у нас в России, и у око-

лищи огромный бородатый старичище поднимает фонарь и смотрит на нас с выражением той почтительной враждебности, с какой и у нас глухая деревня встречает неведомых приезжих господ... Становой?.. Исправник?.. Податной инспектор?.. Префект? Перчептор? Землемеры?

На небольшую тесную площадку, сжатую надвигающимися склонами горы, приветливо светит раскрытыми окнами большая корчма. Свет падает на группу осокорей, у которых стоит спутанная кучка телег. На одной тихо плачет маленький ребенок. Детский голос постарше тянет, хныкая, жалобно и певуче:

— Тять-ка! А, тятка. Тять-ка-а-жé! Че-орт.

А тятка, должно быть, сидит за корчемным столом, свесив буйную русую голову, побежденную хмелем, и забыв, что пора ехать из села лесными дорогами, куда-нибудь на хутор в темное ущелье...

От «Русской Славы» с первых шагов веет на меня наивным юмором и наивною печалью родины...

У корчмы на крыльце и на завалинке маячат фигуры. По тому сдержанному и молчаливому вниманию, с которым смотрят на нас, пока мы вылезаем из каруцы и когда входим в корчму, я чувствую, что нас здесь ждали, о нашем приезде много говорили, может быть, много спорили, до хрипоты, до взаимного озверения, и разошлись с неразрешенными спорами и с гневом.

В светлой «кырчме» за прилавком кырчмарь — человек серьезный и дипломатичный. Он вежливо и сухо кланяется нам. На вопрос Катриана о Сидоре, к которому его направил доктор, корчмарь поворачивается к служащему с кратким приказом:

— Поди. Позови.

В ожидании мы заказываем кофе и сыру. В избу потихоньку входят мужики с широкими бородатыми лицами, смотрят на нас пылливо, недоброжелательно и серьезно. Точно Катриан приехал не по просьбе их односельцев и не по их собственному делу, а с неизвестными, может быть, враждебными намерениями. И мне кажется, будто из этих глаз или через эти го-

ловы к нам заглядывает в открытое окно темная лесистая гора, которая закрыла над «Славой» полнеба своею мгlistою тенью.

Приходит Сидор, тот самый, который последним говорил с доктором и выражал опасения насчет отношения Катриана к богу. Он без шапки. Жесткие белокурые волосы угрюмо торчат в разные стороны. В глазах странное выражение сдержанной, неизвестно еще куда направленной злобы... Он неприветливо кланяется нам и садится на лавку, быстро и пытливо оглядывая густеющую толпу.

Катриан наскоро допивает кофе, обтирает платком тонкие усики и говорит:

— Ну. Мене послал доктор.

Молчанье.

— Такое дело, — произнес Сидор, и опять его угрюмый, сверкающий взгляд быстро вонзается в толпу...

— Доктора довольно знаем, — произнес кто-то благожелательно.

— Доктор, так и доктор, — холодно говорит другой...

— Доктор лечи... Наше дело особое...

— Не брюхи болять...

Сидор вдруг вспыхивает.

— Умные больно стали... Откеда набрались столько ума...

В его голосе что-то закипает, плечи нервно шевелятся.

— В люди за етим не ходим, — отвечают ему...

— То-то вот. Не хотїтся вам людей послушать. Своим умом наживете добра.

— Чаво не наживем, — раздается несколько голосов сразу. — Сколько время жили, не жалілись... За-всегда миром... Сопча...

— При турчине мало делов бывало?.. Паша не грозился?.. Черкес не приходил?.. А?

— А чего взяли?.. Дрючков не попробовал он?

— Не об турчине дело! — кричит Сидор, вскакивая с места. — Тольки вы, старики, и знаете, что турчина поминать. Теперь не те времена.

— Чаво не те... — Толпа гудит на разные голоса, точно улей. — То-то и есть, что не те... За турчина хуже, что ли, было?

— Не об этом и речь, что хуже или лучше... Порядки были другие... Турчин землю никогда не мерял!..

— И рамуну не дадим мерять, вот те и все. Не поддадимся...

— Не поддадишься ты...

— Чаво толковать: держись уместе, больше ничего... Ходоков послать у Букарешты...

— Чаво не ходоков... Не видали там лапотников...

— Боярин тоже сыскался.

— И то, братцы, боярин. Гляди, бороду-то уж постригать стал.

Кругом нашего стола становится тесно, душно, потно и жарко. Я беру свой стакан и выхожу из толпы, провожаемый пытливыми взглядами. В другой комнате почти пусто. В открытые окна веет свежестью, видна площадка, небольшие домики, колокольня, кусок чистого неба с звездами и серпом месяца над обрезами горы.

А сзади кипят споры, которые отсюда я различаю яснее. «Русская Слава» разделилась на две партии. Сидор и его сторонники, уже слегка подстригающие бороды, стоят за Катриана, который своим звонким голосом убеждает липован выступить с отдельными личными исками. Другие считают, что это подвох и необходимо стоять всем одной безличной, сплошной мужицкою тучей. Им не страшно стать толпой хотя бы и против вооруженной румынской силы. Но страшно в одиночку выступить, хотя бы только с жалобой в гражданском суде...

— Поди-ка! Сунься к ему...

— Он тебе покажет.

— Дряпт, дряпт (dreapt — право)... — передразнивает кто-то Катриана. — Он тебе дряпнет, погляди!

— Не бывало, что ли?

— За турчина... При черкесе...

— Держись уместе, больше ничего!

Снаружи, у дверей, какой-то топот... Новая кучка людей вваливается в комнату. Говор сначала смолкает, потом раздается еще шумнее, и из общего гула выделяется тонкий, надтреснутый, как будто знакомый мне голос:

— Пустите, братцы... Я его попрошаю сейчас... Ты кто по здешнему месту? А?.. Зачем пожаловал?

Вопрос, очевидно, направлен к Катриану, и среди восстановившейся тишины раздается несколько удивленный ответ:

— Я? Я есть Катриан, социалист. А ты кто?

— А-а?.. Я кто? — передразнивает спрошенный таким тоном, как будто уличает Катриана в преступлении, — Не зна-а-ешь?

И вдруг, переходя на басовые ноты, говорит грозно:

— Я кто? Дыдыкало я. Ялбър¹. Вот я кто! Православный христианин... Был купец, теперь писец. Вот кто. За православных постою крепко, с господом, с Николаем чудотворцем... Дыдыкало напишет — ра-мун зубом не выгрызет... Вот кто я...

И вдруг, затопав ногами, он закричал громко, визгливо, как тогда на улице, когда гнал всех липован за ненадобностью:

— Можешь ты мне отвечать, сукин сын! Отвечай: кыт есте термин де касацие²... Ежели тебе джудикатор де паче³ сделал рефуз⁴, — куда ты пожалишься? А? Не зна-а-аишь, тынер, мукос (мальчишка, молоко-сос)... У трибунал, вот куда! А ежели трибунал рефузует?.. Иди у куртя де апел. А еще куда? Еще у куртя де касацие... Не зна-а-ешь?.. А суешься! Туда же — петицу писать! Ты знаешь, за это что бывает... За петицы? А?..

Сбитый с толку, под этим градом бессмысленных вопросов, которыми старый плут засыпал его, не давая времени для ответов, Катриан, по-видимому, растерялся. Некоторое время его не слышно. Перед

¹ Ходатай по делам.

² Какой срок для кассации?

³ Мировой судья.

⁴ Отказ.

славским миром состязались как будто два кудесника, спорившие за преобладание в неведомой и таинственной области румынских законов, и старый знахарь, видимо, одолевал молодого. Когда он упомянул, наконец, о возможных грозных последствиях сепаратных петиций, корчма опять зашумела:

— Петицу, петицу!.. Не надобно петицы!.. Не надо, не надо... Поезжай, отколь приехал... Доктор приехал?.. Доктор лечи!.. Платили, больше ничего!.. Квиты у нас...

— Платили, платили. А сколько платили?.. — кричит Сндор.

— Сколько! Как и прошлые годы, столько же и теперь...

— Так ведь слушайте вы, разумные головы: тогда была земля немеряна! А теперь обмерял. Дурак он по-вашему, хоть бы и рамун?.. Ты вот сколько платил, Тимохвей?

— Чаво сколько! Сколько у людей, столько и у мене. Спигур (одинаково). Чаво пытаешь?

— Нет, вре-ешь... У тебя сколько лишку?

— А тебе што... Тебе за мене платить, што ли?..

— То-то нахватили вы, богатын... Мир за вас пропадай. Войски он пришлеть, рамун, вы рады в мутной воде рыбу ловить...

— Чего брешете?

— Не брешеть он... Правда!

— Ах, бог мой, — выносятся еще раз звонкий голос Катриана. — Какой народ. Как вы не понимаете простого дела...

— Ты понимаешь!.. Отколь взялся учить. Молоко не обсохло...

Дыдыкало стучит палкой и кричит визгливым голосом:

— Братцы! Православные! Он в бога не верует... Ему, вишь ты, и бог не надобен...

Шум становится сплошным, и мне начинает казаться, что поездка домну Катриана с целью пробуждения правосознания среди моих земляков едва ли окончится успешно. Но в это время на сцену выступает новая действующая сила.

Мне в окно видна тихая площадь, облитая мягким лунным светом. По ней, в направлении к корчме, идет группа из трех человек, и на одном поблескивают галуны. Когда эта группа подходит к крыльцу, в корчму врывается фраза, которая вдруг заглушает крики и шум:

— Примър...

— Примар идет... И нотър с ним.

— Третий — епистът.

Примър — это сельский староста, нотър — писарь, епистът — полицейский. В Румынии должность сельского мэра считается выборной, но это только фикция: общество выбирает трех кандидатов, местная администрация прибавляет еще двух, и из составленного таким образом списка высшая администрация назначает одного. Нечего и говорить, что этот счастливец всегда бывает из рекомендуемых администрации. В Добрудже в то время, особенно в русских селах, примарями были почти исключительно греки. Чуждые и по культуре и по происхождению местным жителям, они являлись просто правительственными чиновниками, престиж которых поддерживался властью... Измельчавшая традиция прежних турецких порядков, когда таким же образом Высокая Порта навязывала балканским народностям даже князей из фанариотов *.

В корчме водворилась выжидающая тишина. Я поднялся и заглянул через головы в комнату. На пороге стоял пожилой человек в партикулярной серой клетчатой паре, небольшой, весь квадратный, с четырехугольным лицом и торчащими волосами с сильной проседью. Усы и борода у него тоже были серые, и только глаза выделялись ярко и властно из-под черных густых бровей. Лицо сельского владыки было спокойное и твердое. Он смотрел прямо перед собой, как будто считая ниже своего достоинства обращать внимание на отдельные фигуры этой серой толпы. И только на Катриане взгляд авторитетного «начальника» остановился пытливо и внимательно. Нотър, — молодой румын с закрученными кверху усиками и с претензиями на щегольство, и епистът,

недавно командированный в «Славу» для порядка, почтительно и корректно стояли сзади.

Я с любопытством присматривался к энергичному неглупому лицу грека. Что он думает и какую «политику» проводит среди этого брожения умов? Оно может разрешиться сепаратными жалобами, которые, в сущности, будут означать подчинение новым порядкам и обмеру земли, или... тупым массовым сопротивлением, вызовом войск, усмирением... Что нужно ему лично? Только порядок, как администратору? Или, наоборот, ему улыбается картина глупого замешательства, за которым последует дешевая распродажа скота и имущества глупых русских дикарей? В лице умного грека нельзя было найти ответа на эти вопросы.

Остановившись на мгновение и сразу изучив положение дела, он сказал твердым и спокойным голосом:

— Че интрунйре аста (что это за собрание)?

Затем, сделав несколько шагов среди расступившихся липован, подошел прямо к Катриану и спросил в упор по-румынски:

— Кто вы? И по какому праву собираете здесь сборища?..

Сотня внимательных глаз обратилась на Катриана, который стоял у самого прилавка, прямой и спокойный. Лицо его оживилось, в серых глазах переливалась и поблескивала насмешка. Теперь, лицом к лицу с привычным противником из администрации, он, видимо, чувствовал себя в своей тарелке.

— Я — Денис Катриан, социалист... гражданин свободной страны, пользующийся своим правом.

Может быть, это заявление не особенно подействовало бы на примаря... В румынской деревне, особенно в деревне добруджанской, ссылка на гражданские права звучит не особенно сильно. Но примаря немного озадачила насмешливая уверенность, с которой говорил этот странный пришлец. Как будто играя недоумением авторитетного сельского чиновника, Катриан, все улыбаясь глазами, медленно вынул записную книжку, достал оттуда небольшой кусочек белого картона и подал примарю.

— Vedz asta, domnule (посмотрите это, сударь). — сказал он, продолжая насмешливо улыбаться...

В комнате стало так тихо, что можно было слышать шелест осокорей под ночным ветром снаружи. Перед затаившим дыхание славским миром происходило новое действие из той самой таинственной и непонятной области, в которой закон и власть сплетаются в магический узел. Еще недавно этот молодой человек, казалось, был побежден старым знахарем Дыдыкалом. Теперь старик стушевался, и его хитрые глазки лишь злорадно заглядывали из-за чужих плеч, ожидая последствий... Молодой стоял лицом к лицу с энергичным греком. Белый кусочек картона в руках примаря привлек все взгляды, как талисман. «Подействует ли?» — думали славцы. Молодой человек все так же весело поблескивал глазами...

Начинает действовать: грек, властный, умный и хитрый, по-видимому, растерялся. Он еще раз прочитал карточку, повернул ее, осмотрел с изнанки и, отдавая обратно, сказал довольно угрюмо:

— Vine (хорошо), домнуле... Вы можете делать свое дело...

И окинул глазами тесно набитую корчму. Теперь он вглядывался в отдельные лица, по-видимому только затем, чтобы скрыть некоторую неловкость положения и внушить этой руснацкой толпе, что власть его остается по-прежнему твердой, хотя... в виде этого лоскутка белой бумаги сюда, в глухое устье, заглянуло что-то новое... Она определила курс нового министерства, обязательный хотя бы на некоторое время.

Примар повернулся и вышел. За ним последовали щеголеватый нотар и молчаливый полицейский.

В корчме пронесся общий вздох, и я почувствовал сразу, что дело Катриана теперь окончательно выиграно. Его аргументы значили мало, но факт решал дело. Сила молодого горожанина в недоступном и таинственном мире закона и власти была доказана. Толпа сразу перекрасилась настроением Сидора и его сторонников.

— Что узял? — заговорил наивно-весело какой-то молодой голос. — Отскочил сразу...

— Найшлось и на них слово.

— Молодой, молодой — а гляди ты на его... А?

— Доктор знает, кого послать, зря не пришлеть...

— Ну, чего тут, — сказал, выступая вперед, Сидор. Лицо его было спокойно, и даже вихры не торчали так сердито, как в начале беседы. — Давайте кончать, — прибавил он деловито. — Поздно. Пиши петицу, домнуле... Кто хочет подписывать?

В толпе слегка замялись. Кому-нибудь нужно было подписать первому, а это все-таки требовало решимости.

— Я подпишу, — выступил, расталкивая мужиков, рослый человек в полугородском костюме.

— Герасим подписует, — заговорили в толпе.

— Откуль взялся? Не было его?

— С Дунаю вернулся. Сиводни...

— Да он землю-то разве орал?

— Орал... жуматати ектар (полгектара), — сказал насмешливо какой-то старик, очевидно, из противной партии и, наклоняясь к соседу, сказал хорошо слышным полупшепотом:

— Что ему? Такой же отчаянный... Молоко в пост в городе хлебает... Сам видал...

— Что говорить. Остатние времена пришли, — сказал тот, и оба повернулись к выходу.

Катриан потребовал у корчмаря перо и чернил и на маленьком столике открыл походную канцелярию. Два или три экземпляра «петиции» были у него заготовлены. Герасим, завернув рукав и наклонив большую кудрявую голову, вывел свою подпись.

— И мене пиши, — выступил из толпы другой, тоже в пиджаке и с слегка подстриженной бородой.

— И мене, когда так...

— И мене...

— И мене пишите!

Тот, кто вошел бы сюда в эту минуту, мог бы подумать, что здесь спокойно и просто делается

обычное дело. От прилавка, держа в руке стакан с вином, смотрел на Катриана Лука своими глубокими черными глазами, не выдававшими ворочавшихся в его голове мыслей. Мне казалось, впрочем, что он доволен успехом приятеля.

— Basta! — сказал Катриан, захлопывая в бумажнике две или три подписанные петиции.

Когда Лука подал лошадей, луна светила уже с самого зенита. По площади расходились липоване, тихо разговаривали и скрывались в тени домов. Под осокориями было пусто: телеги разъехались и теперь, вероятно, поскрипывали плохо смазанными колесами по темным лесным дорогам в ущельях «балкана».

Уехал и плакавший мальчик. Я представлял себе, что его тятка, вероятно, храпит на возу, а он держит вожжи и всматривается в темноту круглыми, робкими, внимательными глазами.

Когда мы опять выехали за околицу, направляясь по дороге в монастырь, на сельской колокольне ударило полночь. Задумчивый, медлительный звон разносился над долиной, заглядывал в сонные ущелья, умирал, оживал вновь и бродил над лесом, и искал чего-то, и о чем-то спрашивал, закрадываясь в глубокие тайники уставшей души.

И от всего окружающего веяло опять печальным юмором и насмешливой грустью нашей родины...

Через час мы стучали в закрытые ворота старообрядческого монастыря, погруженного в глубокий сон за крепкими каменными стенами... Эхо отдавалось в темном лесу, и мне казалось, что какие-то чары перенесли нас в седую глубину прошедших времен.

Катриан, наклонившись ко мне, говорил своим наивно-удивленным голосом:

— Ах, господин Володя. Для чего народ такой глупый?.. Таскал гора на ровном месте. Строил монастыря, чтобы другие жили без труда. Ах, боже мой... Для чего это?..

Когда года через два я опять приехал в Добруджу, Катриан все еще продолжал стучаться у дверей

деревенского правосознания и читал изредка свои конференции для ремесленников города Тульчи.

Луки не было на свете. Погиб он бессмысленно, глупо, стихийно из-за той самой девушки, которую ударил кнутом.

Но это уже другая история, о которой когда-нибудь после.

1909



ПЛЕННЫЕ

Война застала меня на юге Франции, в небольшой деревне под Тулузой.

Как известно, начало войны было для Франции очень несчастливым. Прорвавшись через Бельгию и раздавив несчастную страну, германская армия хлынула с севера и подвигалась к Парижу, как грозная лава, среди насилий и пожаров...

Это было время, полное тяжелой тоски для всех французов, но у юга было еще свое особенное горе. В большой битве один полк подвергся неведомо откуда налетевшей панике и, как всегда в таких случаях, понес жестокие потери. Полк состоял из уроженцев юга, экспансивных в героизме и панике, в нем было много тулузян. В городе и в пригородах замелькали траурные платья, появились заплаканные женские лица, в храмах после мессы то и дело виднелись черные женские фигуры, печально склоненные у алтарей... Порой их потрясали судорожные рыдания.

При таких обстоятельствах стали прибывать первые партии раненых. Сначала своих, потом немцев... Густая толпа в мрачном молчании смотрела, как с санитарного поезда на вокзале Matabiau сходили «боши»... Иных санитары сносили на носилках, По-

рой виднелась кровь, проступавшая через повязки, порой слышался легкий сдерживаемый стон.

Толпа молчала угрюмо и враждебно. Гнев сдерживался видом страданий.

Но гнев все-таки жил во всех сердцах. У многих были личные потери, все переживали страх. А страх, как известно, плохой советник. За страхом обыкновенно идет жестокость и месть. И вот, по мере того как с севера на юг потянулись вереницами поезда с пленными, тулузская администрация стала обнаруживать беспокойство.

Первый такой поезд пришел как-то незаметно. Около вокзала Matabiau выставили усиленный отряд войска, и солдаты вежливо, но твердо отстраняли публику, горизонтально загораживая проходы ружьями...

Из толпы неслись гневные крики. Кое-где полетели какие-то комья. Но первую партию все же удалось провести без эксцессов.

Предстояло прибытие второй. В городе появились афиши от префекта и городского мэра, популярного социал-демократа, в которых сквозь увещания и предупреждения звучала тревога.

Я шел по нашей улице в Лярден, когда в узкой перспективе деревенского переулочка, между двух стен виноградников, увидел толпу. Мужчин в ней не было. Были только женщины...

Женщины здесь особого, «тулузского типа», отмечаемого этнографами. Черные блестящие глаза, носы с горбинкой, смуглые лица с густым румянцем, правильный овал лица и часто черные усики над пунцовыми губами. Они рано полнеют и рано стареют, порой все-таки сохраняя следы красоты и сверкающие страстью глаза... Говорят они быстро, очень певуче и выразительно.

— Ah, monsieur le russe¹, — выступила ко мне знакомая молодая лярденка. Лицо ее побледнело, насколько позволяли смуглота и хронический румянец.

¹ Ах, господин русский (франц.). — Прим. ред.

а глаза горели. — Вы слышали: завтра привезут этих монстров, дьяволов, этих проклятых... Вы пойдете?

— Не знаю, а вы собираетесь?

— Мы все собираемся... Вот мэр печатает афиши... Призывает к спокойствию...

Женские голоса возбужденно зашумели...

— Спокойствие!.. Какое тут спокойствие!.. Разбойники, убийцы, грабители...

— Да, с ними слишком церемонятся... Возят в вагонах, собираются лечить. Я — так вот что с ними сделала бы... Вот что... вот что!..

И она с силой стала тереть кулак о кулак, как будто размалывая между ними воображаемого «босша». И ее глаза горели ненавистью...

На следующий день огромная толпа стояла у вокзала Matabiau. Солдаты были серьезны и угрюмы. Их чувства к немцам были близки к чувствам толпы, но было видно, что среди этого подвижного, колеблющегося и волнующегося человеческого моря эти люди в голубовато-серых шинелях и красных штанах выделяются на свой особый лад. Они знали, *зачем* их сюда привели... Это удерживало в них личное, сковывало их всех какой-то однородной невидимой цепью. Они сознавали и чувствовали эту связь. И толпа тоже чувствовала. Она любила своих солдатиков. И они любили ее тоже... Но и солдаты и толпа боялись, как бы между ними «чего не вышло»... Чувства одни — действия будут разные. Надвигалось что-то третье, неведомое, чуждое, что, однако, может стать сильнее взаимной симпатии солдат и родной толпы.

И это что-то уже надвигалось. Сначала дальним свистком, который крикнул издалека и заглушенно. Как будто: берегитесь! Потом ближе... Тяжелый гул подкатывающегося поезда за стеной... Короткий свисток прямо за вокзалом, резкий, отчетливый, угрожающий... Лица толпы застывают, глаза останавливаются, шеи тянутся вперед... Голубые шинели подтягиваются как на пружинах, и между ними точно пролетает невидимая электрическая искра, охватившая их одним объединяющим током...

Долгие минуты тяжелого молчания. Потом в стене скромного вокзала широко раскрывается стеклянная дверь, где-то в глубине слышна короткая команда; торопливо оглядываясь по сторонам, выбегает офицер, другой, два-три городских сержанта... Все они окидывают быстрыми взглядами большую площадь, запруженную народом, и становятся по сторонам.

Вот... Они!.. В четырехугольнике дверей показываются ненавистные «боши»... Они идут в ряд по четыре человека довольно густой колонной. Рослые, грузные, грубоватые и теперь как-то по-особенному неприятные фигуры. Традиционных касок с острыми медными верхами на них нет. Нет и фуражек. Почему-то в дороге с пленных снимают головные уборы. Круглые, стриженные немецкие головы обнажены. Выражение лиц угрюмое: с таким видом, вероятно, когда-то в древности проходили под ярмом пленные легионы...

В толпе проносится глубокий, тяжелый вздох, минута была полна электрического напряжения... Заряд накопился уже весь и готов был разрядиться... Точно оттуда, из-за невысокого здания вокзала *Matabiau*, переползала тяжелая грозовая туча, готовая соединить все в неудержимой, все заливающей вспышке.

Солдаты вытянулись, как статуи... Толпа напирала, как вздымающийся прибой.

Пройдя по каменной площадке, первый ряд пленных подошел к невысокой лестнице спуска. Мгновение — и несколько тяжелых немецких сапог застучали по каменным ступеням. Вся колонна, точно одно живое существо, перегнулась и потянулась вниз. Вот первые ряды уже на мостовой, меж двух живых стен, откуда из-за цепи солдат впились в них тысячи враждебных, горящих ненавистью взглядов.

И вдруг что-то дрогнуло... Вот оно... начинается... «*Са commence*», — с захваченным дыханием прошептал кто-то около меня. Солдаты резко задвигались и, все еще ничем не нарушая своей железной цепи с горизонтально протянутыми ружьями, откинулись плечами назад, в какой-то готовности.

Было что-то автоматическое и сильное в этом однородном нервном движении...

— Что это там?.. Что такое?.. Что? Что? Что?

— Это женщина... Une femme, une femme...

— И двое детей...

— Ah..

И все как будто забыли на это мгновение собственные страсти, собственную ненависть, собственный гнев... Колонна немцев и — женщина с детьми... Уоуопс! Посмотрим, что этим проклятым чудовищам скажет женщина... Французская женщина с двумя детьми на руках...

Французы прежде всего любопытны. А зрелище должно было стать захватывающим.

Женщина внезапным стремительным порывом прервала цепь. Истая южанка, рослая и крепкая матрона тулузского типа, с римским носом и густыми бровями над парой горящих глаз, она бежала среди растерявшихся караульных, готовая еще работать огтопыренным локтем, волоча за собой двух детей, из которых одна, девочка, свешивалась в неудобной позе у нее на руке, а другой, мальчик, тащился за другой ее рукой... Казалось, женщина забыла, что это ее родные дети, что им неудобно, что они испуганы до смерти, что их могут, если подыметсЯ свалка, изувечить... Она видела только впереди себя этих «бошей», собственно даже только одного. Это был огромный ландверман, широкоплечий, немолодой, сильный и несколько неуклюжий, как все они. Взгляд его был мрачен или печален, но спокоен. Он смотрел на приближающуюся красивую фурию, за которой уже неловко и растерянно бежали вприпрыжку два голубых солдатики. «Женщина, что поделаешь с женщиной...» — казалось, говорили их сконфуженные фигуры...

Женщина подбегала нансось и чуть-чуть навстречу колонне, и уже было ясно видно, к которому именно она подбежит. Высокий ландверман поменялся с нею взглядом, увидел детей и как будто дрогнул.

Это было мгновение, какие имеют такую огромную власть над французами. Вспыхивала драма, и

толпа, за минуту полная собственного возбуждения, стала вдруг толпой зрителей... Что будет?.. Женщина бежит к немцам... Что она сделает, что скажет им, каково будет действие эффекта, такого неожиданного, непосредственного, стихийного?

Женщина подлетела к колонне и, глядя горящими глазами на ландвермана, с силой кинула мальчика к нему. Мальчик ударился в ноги немца и жалко закричал. Казалось, она так же швырнет и девочку, но в последнее мгновение в ней проснулся материнский инстинкт, и она только тыкала девочку немцу протянутыми руками.

— *Tiens!*—кричала она иступленным голосом.— Убил отца,—возьми и детей... Бери же, проклятый, бери, бери!..

Казалось, она не видит никого больше на свете, кроме этого рослого немецкого солдата. И она лезла к нему с той слепой страстью, с какой покинутая любовница кидается на изменника.

— Бери, бери. Не надо мне... Убил отца... Возьми себе детей...

Немца сразу как будто шатнуло назад. Он остановился, и остановилась сразу вся колонна. Площадь замерла в ожидании...

— *Tiens, il veut parler...* хочет говорить... хочет говорить... — пронеслось в толпе.

— *Mais, que diable,* — как же он будет говорить, черт возьми?.. На своем проклятом языке?.. *Oh... Oh...* Тише, тише, слушайте...

Немец действительно хотел что-то сказать. Он, конечно, не знал языка этой женщины, и она не знала его языка. Но он ее понял и нашел язык для ответа. Он поднял свою обнаженную голову к небу, потом повернулся назад... Казалось, он глядел туда, откуда привез его поезд... В то прошлое, что осталось там, назади, там, где еще недавно, быть может, он ходил за своим плугом. Потом он посмотрел кругом, как будто хотел говорить не одной этой женщине, но всем женщинам, всем вообще людям на этой площади, и поднял кверху руку... На ней были растопырены пять пальцев.

— Cinq... — невольно сосчитал кто-то в толпе.

— Да, пять...

— Нет, шесть, — поправил другой... — Смотрите, смотрите...

Теперь у немца были приподняты на обеих руках шесть пальцев. Он подержал их так несколько секунд, чтобы все, вся многолюдная площадь могла сосчитать их, и потом широким выразительным жестом как бы отбросил их назад, туда, куда только что оглядывался...

Все поняли: там, на далекой родине, отделенной от него теперь полосой вражды и пламени, у него их осталось шестеро...

Стало так тихо, как будто не было на площади никого и ничего больше, кроме этих двух человек — мужчины и женщины, отца и матери, и их детей: тех, что здесь, и тех, что там, далеко... И было еще огромное несчастье, налетевшее на людей без их желания и ведома...

Немец махнул еще раз рукой и, опустив голову, двинулся вперед, и с ним двинулась вся колонна. Теперь они шли как будто легче. В солдатах исчезла электрическая напряженность ожидания, в толпе исчезла напряженность вражды.

Отчетливо слышался ровный тяжелый топот подбитых гвоздями немецких сапог...

В тот же день я приехал на одном из трамвов в нашу Лярдсн. Приближался тихий и ясный вечер. Вдали белые, спокойные, видные лишь в исключительно ясные дни, проступали на горизонте призрачные громады Пиренеев. Казалось, кто-то далекий и радостный заглядывает из другого мира в нашу смятенную страну... У входа в наш переулок, как раз на перекрестке, опять чернела кучка женщин. Несколько из них, очевидно, приехали еще с предыдущим трамвом и остались, задержанные не бывшими в городе. Моя вчерашняя знакомая была тут же. Увидев меня, она опять выступила на несколько шагов...

— Bonjour, monsieur...¹ Помните, мы вчера говорили...

— Да, помню, конечно. Вы были на Matabiau?

— Была... И вот эти мои приятельницы тоже были... Нас было много...

— Ну, и что же? — спросил я, внимательно вглядываясь в выразительное лицо.

Черты ее судорожно передернулись...

— О, monsieur, — сказала она с выражением почти детской беспомощности... — Он... он говорит, что у него там осталось шестеро детей... И... и его жена не знает теперь, есть ли у них отец...

Это был уже распространенный перевод выразительного жеста пленного... Лицо ее морщилось в гримасу, и теперь мне стало ясно видно, что эта французка такая же мужичка, как наши деревенские бабы. Вдруг она широко взмахнула руками, точно раненная в сердце приливом бурного сожаления к себе и к ним... Ко всем этим отцам убитым или в плену, к матерям, оставшимся с сиротами на руках... И из ее груди хлынули рыдания.

— Ah, quel malheur, monsieur, quel malheur... Какое несчастье, какое страшное несчастье!.. И подумайте только, что во всем виноват этот ужасный человек, этот Вильгельм!.. Ведь они так же пошли по его приказу за свою родину, как мы за свою... Разве они знали?

— О, да! Это все он, все Гильом... — подхватили с одушевлением другие... — Приговор был произнесен: эти французские мужички из Лярдена оправдали немецкого мужика из Баварии или Гессена...

Вильгельм для них был той определяющей высшей силой трагедии, которую древние называли роком, а такие же простодушные немки, быть может, называют теперь именем какого-нибудь английского министра.

От порога противоположного дома смотрела на нас молодая лавочница. Ее известили на днях, что муж ее пропал без вести где-то еще в Бельгии... Хо-

¹ Здравствуйте, сударь (франц.). — Прим. ред.

рошо, если он теперь в плену... А на углу, в дверях бывшей булочной, теперь опустевшей, стояла молодая блондинка с грудным ребенком на руках. О, она была бы так счастлива, если бы у нее оставалась хоть маленькая надежда, что ее муж в плену... Но он умер там, на фронте, в полевом лазарете, а ей прислал с выздоравливающим товарищем медальон с портретом и крестик... А моя экспансивная знакомая думала, наверное, о своем Жане, с которым она повенчалась так недавно и который теперь в самом аду... И тоже хорошо, если попадет только в лазарет...

Всем было о ком подумать. И моя мысль тревожно бежала за моря на далекую родину. И там тоже горе... и туда в тихие деревни и города приходят страшные вести, и много простодушных детей моей родины, о которых с такой нежностью думается всегда на чужой стороне, несут теперь гяжкий плен среди суровых врагов... Ах, если бы и над ними, над этими врагами, думалось мне, пронеслось веяние этой трагической правды...

Впоследствии, уже вернувшись в Россию, я слышал, как наши мужики говорили между собою о пленных:

— Да, что поделаешь... Такие же люди, как и мы... тоже мать родила... Только присяга другая...

И не было вражды в их голосах... В этих простых словах мне слышалось то самое, что в тот день пронеслось так ощутительно на площади перед вокзалом Matabiau в старом французском городе Тулузе.

1917



ПРИМЕЧАНИЯ



НА ЗАВОДЕ

Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости», 1887 г., № 67 и 74.

«На заводе» представляет собой две главы незаконченной повести «Табельщик». Короленко не завершил работу над повестью и, готовя в 1914 году полное собрание сочинений, подготовил к печати лишь часть ее, снабдив подзаголовком «Две главы из неоконченной повести».

«Табельщик» сохранился в архиве писателя в виде отдельных отрывков, написанных в разное время и представляющих собою частью беловой автограф в тетради, частью набросок в записной книжке, частью конспективный план. В № 24 пермского альманаха «Прикамье» за 1958 год А. В. Храбровицкий была сделана попытка сводной публикации всех разрозненных частей неоконченной повести.

Даже в таком черновом виде повесть «Табельщик» интересна, как одно из первых стремлений в русской литературе показать жизнь рабочих большого завода. Материалом для писателя послужили его личные впечатления. Находясь в Перми в 1880—1881 годах, Короленко работал сначала табельщиком в железнодорожных мастерских, а потом перешел на службу в управление дороги.

Один из отрывков содержит яркое описание завода:

«Заводской свисток еще молчал, но в мастерских, очевидно, шла работа ночной смены. В окнах темных зданий кое-где виднелся свет; окна эти глядели тускло, как будто нагоревшие лампы устали светить за ночь; над полукруглыми стеклянными крышами кузнечного и литейного цехов по временам взлетали в темноте сырого осеннего утра торопливые струи белого пара; паровик где-то внутри здания сошел, вздыхал несколько раз и затем немощно смолкал... Вместе с этими вздохами раздавались один

за другим глухие, грузные удары. Казалось, кто-то громадный и тяжелый бьется во мраке над непосильной работой... после каждого удара слышалось какое-то kloкочущее хрипение, потом тяжелый сап... Затем над крышей темного здания быстрыми вздохами вылетали клубы белого пара, наступало мгновение как бы выжидającego молчания, и опять тяжелый удар раздавался и несся далеко за ограду завода, проносясь тяжелым отзвуком над слободой, где жили рабочие, и замирая в темном лесу, над которым уже занимался первый отблеск зари...»

«Завод был окружен высоким крепким забором. Над открытыми воротами два больших фонаря разливали вокруг желтый свет, стоявший ясно очерченными кругами в мглистом воздухе... Клубы сырого пара, входя в освещенное пространство, будто вспыхивали вдруг белесовато-желтым светом — и опять угасали, уходя в темноту, которая кругом сдвигалась еще гуще... На улице слышался топот и ленивый говор заспанных голосов. Люди, входившие в заводские ворота, выступая из освещенной полосы, казалось, проваливались вдруг в какую-то темную пропасть...»

Сохранившиеся отрывки раскрывают основной замысел повести и позволяют проследить судьбы мальчиков, описанных в главах «На заводе». Приехавшая из Петербурга молодежь организовала при заводе воскресную школу, где «Ванька Иванов и Фомка Безродный выучились читать и получили невиданную доселе на заводе страсть — страсть к чтению». Проходят годы, и мы видим их работающими на заводе: одного монтером, другого табельщиком.

Интересен в повести образ старого николаевского солдата Раскатаева, заводского будочника. «Сидор Иванович около 30 лет тянул солдатскую лямку, и эти тридцать лет выработали из него настоящего николаевца, особый тип, теперь уже почти вымерший. Все связи его с остальной жизнью были порваны, весь смысл его собственной жизни заключался в той суровой выправке, которую он одолел, в той поистине героической борьбе, которую он вынес в течение службы. Когда он вспоминал, сколько эта жизнь потребовала от него ума, усилий воли, изворотливости, подлых искательств, наконец, просто физической выносливости, и когда затем ему говорили, что все это теперь просто скинуто со счета, что «по нынешним временам» ничего этого не требуется, что вся его жизнь есть лишь результат недоразумения, — в нем закипала жестокая тоска и угрюмая инстинктивная злоба. А между тем жизнь как будто доказывала на всяком шагу, что это правда... Молодые солдаты «ходили вольно» и возвращались порой в деревни, где их не успевали еще забыть, между тем как старые николаевцы, выходявшие со службы такими же неграмотными, как и вступали в нее, и умевшие только вытягивать носки, — сплошь и рядом перебивались кой-как милостыней, рубили дрова, горевали и лишь по временам, во хмелю начинали бухевать и покрикивать:

— Ма-алчать! Мы при ампи-р-аторе...

— Эй вы, николаевцы! На линию!.. Принимайся за них, девятых в гробб волочивай, десятого выучи...»

Однако Короленько показывает, что «его время миновало, что сам он — только случайный уцелевший обломок, которого настоящего места — там, среди этих бравых кавалеров с крысиными носами, которые бродят по свету забытыми смертию тенями и живут только водкой да воспоминаниями о том, что было при ампраторе...».

Короленко в повести смело обратился к вопросам борьбы рабочих за свои интересы. Фома (Сенька в главах «На заводе») — упорный, волевой, целеустремленный человек — становится признанным вождем рабочих. Повествование обрывается на описании волнения рабочих из-за самоубийства Ваньки Иванова.

«Толпа росла, но от этого молчание становилось только еще тяжелее, еще заметнее. Над всеми царило одно чувство, от которого спирало дыхание в груди, и сердце как-то сосредоточенно замирало, а на дне души, в глубине вставало что-то неясное. Но сознание этой общности чувства было также и сознанием его общей бесформенности и безвыходности. Так напирал друг на друга кирпичи тяжелого свода: все жмут друг друга, все испытывают это давление в одном направлении книзу — но свод стоит непарушимо...»

«Свиство оттянулось и смолк. В воздухе опять воцарилась тишина. Каждый в толпе ждал, что «народ пойдет на работу». Но никто не трогался, потому что все жили теперь одной общей жизнью, и это была жизнь особого существа, называемого толпою.

У этого существа сознание было угнетено и смутно. Дремлющая страсть еще только набиралась в глубинах сердец, бившихся одним тактом, но у него не было... *воли!*»

Приходит Фомка, который является предводителем рабочей массы, со сознанием и волей.

«Но Фомка сам еще не знал, что он сделает. В его груди тоже вскипело чувство сосредоточенной злобы, но он сознавал, что владеет этим чувством. Он нес его как заряд, готовый вспыхнуть страшным взрывом, но фитиль был в его руке, а у Фомки были твердые руки. Он шел и окидывал на ходу толпу испытующим взглядом.

Он понимал ее. Он был сын этой толпы, но теперь он входил в нее со стороны. в его душе был иной строй, да и сам он всегда возвышался над нею своим сознанием. И поэтому, среди чуткой напряженности минуты, все глаза обратились к нему, и все поняли общим сознанием, что теперь этот человек нес волю толпы.

Однако, сознавая себя признанным вождем рабочих, Фомка пока еще не видит конкретных путей борьбы. «... он все же думал: «Ишь, народ-то, народ-то. Эх! Только крикнуть... Разнесут

ведь по клочкам, по винтикам. — И тут же холодная мысль диктовала дальше: — А толку-то что? Лучше ли станет от этого им-то, всей этой толпе, всему народу?..»

«Через несколько секунд Фомка повернулся к толпе и сказал с силой сосредоточенной и сдержанной сознанием страсти:

— Разойдись, братны... Что толку...»

«Суровые формы революционной мысли, революционного дела тревожили и мучили его сердце», — отмечал А. М. Горький в своих воспоминаниях о Короленко. Однако тема борьбы рабочих за свои права только намечена у писателя и не смогла найти в его творчестве полного разрешения.

БЕЗ ЯЗЫКА

Впервые опубликовано в журнале «Русское богатство», 1895 г., № 1, стр. 69—90; № 2, стр. 148—167; № 3, стр. 162—190; № 4, стр. 5—29. В 1902 году повесть (сам писатель называл это произведение рассказом), значительно переработанная, вышла отдельным изданием.

В основу повести легли как личные впечатления писателя, так и рассказы о жизни в Америке товарищей Короленко по ссыльным скитаниям и политических эмигрантов: И. Л. Липёва, А. К. Маликова, Я. Десятникова, Е. Е. Лазарева и др.

В 1893 году писатель совершил поездку на Всемирную выставку в Чикаго в качестве корреспондента газеты «Русские ведомости» — «по делам своей литературной службы», как он заметил в одном из писем. Короленко хотел увидеть своими глазами «Россию за границей», то есть людей, покинувших родину по политическим или социально-экономическим мотивам, и познакомиться с жизнью простых труженников Запада — ее бытовыми чертами, особенностями и житейскими драмами. 1 августа Короленко высадился в Америке, а уже 9-го он заносит в дневник: «Записываю впечатления и начал рассказ (со слов Егора Лазарева) о латыше в Америке». Всего через неделю в письме к жене Короленко сообщает, что «до половины написал небольшой рассказ о похождениях поляка в Америке, — так, пустячок, а все-таки ничего». «Пустячок» вырос в большую повесть, которую Короленко окончил в марте 1895 года.

Семь лет спустя повесть была значительно изменена и дополнена. Введение новых персонажей из среды русской демократической интеллигенции (Нилов, изобретатель) заострило и обогатило идею произведения: Нилов выступил в роли активного деятеля, который возвращается из Америки на родину, чтобы бороться за ее свободу. В новом варианте повести более четко раскрывается изматывающая американской «свободы» с всеобщей полицией, куплей-продажей голосов на выборах, продажной прессы и пр.

В 1909 году, когда повесть вышла третьим изданием, Коро-

ленно сделал следующую пометку на своем личном экземпляре: «Это книга не об Америке, а о том, как Америка представляется на первый взгляд простому человеку из России». На примере Матвея Короленко показал, что в простых людях рождается желание перемен в жизни, стремление к счастью и растущая потребность борьбы за это счастье.

Ряд образов и событий взят писателем из реальной действительности. В 1920 году, вспоминая о своем пребывании в Вышневолочской политической тюрьме, Короленко писал в «Истории моего современника»: «Был в нашей среде рабочий Девятников. Это был дюжий на вид, коренастый и, по-видимому, сильный белорус, успевший побывать в Америке в исканиях правды и лучшей жизни. На первый взгляд он походил на медведя, и когда я описывал в своем рассказе «Без языка» лодкианина Матвея и его борьбу с вызывавшим его на бокс американцем, — передо мной отчасти рисовалась фигура Девятникова, с которым был именно такой случай».

«Рабочий» оратор с душой соглашателя, мистер Гомперс — реальное историческое лицо — Самуэль Гомперс, президент американской федерации труда и впоследствии ярый враг Страны Советов 30 августа 1893 года он выступал на митинге безработных в Чикаго, громя буржуазную Америку, но в требованиях своих был весьма скромен. Короленко подметил это несоответствие и нарисовал образ красноречивого оратора, который, однако, в своих речах никогда «не выйдет из порядка».

Стр. 24. *Из-за чинша*. Чинш — плата за арендованную землю.

Стр. 26. *Тикет* — билет (англ. ticket).

Стр. 52. *С драбинами*. Драбина — лестница.

Стр. 55. *Платили от Тамани-холла*. Тамани-холл — организация в США, вербующая во время выборов голоса и не брезгующая для этой цели никакими средствами (подкупам, террором и пр.).

Стр. 66. *Конгрегешен* — объединение, братство.

Стр. 97. *В бординг-гаузе* — то есть гостинице (англ.).

Стр. 100. *В партикулярном платье* — то есть штатском.

Стр. 119. *Тамбур-мажор* — старший барабанщик (франц.).

Стр. 129. *Достопочтенного реверенд — Джонса*. Реверенд — уважаемый, пресподобный (англ. reverend).

Стр. 142. *Квакер* — член религиозной секты в Англии и Америке.

Стр. 147. *В его камере*. Камера — кабинет судьи (англ. camera).

ФАБРИКА СМЕРТИ

Впервые опубликовано в «Самарской газете», 1896 г., № 11 и 13.

Во время пребывания в Чикаго у Короленко созрела мысль написать несколько «писем с чужой стороны». Одно предполага-

лось посвятить Англии, в частности ее парламентаризму, тема второго: «американцы и негры, утесненные и утесненные», третье письмо Короленко хотел посвятить «характеристике самих американцев», которых и негры и живущие в Америке русские упрекали в том, что «они недостойны своей великой конституции».

Замысел был осуществлен лишь частично. В № 11 журнала «Русское богатство» за 1894 год появился очерк «Драка в доме», в котором писатель показал неспособность английского парламента (Дома) решать важные общественные вопросы. В следующем году в № 145 газеты «Русские ведомости» был напечатан очерк «В борьбе с дьяволом», в котором Короленко в острой сатирической манере разоблачил деятельность пресловутой Армии спасения. «Фабрика смерти» был третьим из серии опубликованных писателем очерков о «чужой стороне». (Четвертый и последний из опубликованных писателем очерков на эту тему — «Мнение мистера Джаксона о еврейском вопросе» — был напечатан в 1915 году в сборнике «Шиг».)

В письме жене от 18—19 августа 1893 года Короленко описывает тяжелое впечатление, которое осталось у него после посещения чикагских боен. Чем больше знакомился писатель с Америкой, ее нравами, прошлым и настоящим, тем больше проникался убеждением, что здесь царит «жестокость и грубость», все подавила «крикливая реклама, interview, громкие заглавия, business». «...Не говоря о том, — писал он жене, — что Stock-yard чуть ли не родоначальник самого Чикаго, — поведи вся американская история — чуть ли не огромная бойня».

Стр. 185. *Шаспо* — ружье.

В КРЫМУ

Впервые опубликовано в журнале «Русское богатство», 1907 г., № 11, стр. 138—164 под заглавием «Из рассказов о встречах с людьми».

В очерках отразились впечатления Короленко от полуторамесячного пребывания в Крыму осенью 1889 года. «Что сказать о Крыме? — писал он жене 17 октября. — Теперь, прощаясь с ним, я прощаюсь с некоторой грустью, особенно с морем, но пока жил здесь, — все не мог отделаться от чувства неудовлетворенности: прелестная рама, величавая, яркая, сверкающая, но самой картины как будто нет, — или ее нельзя разглядеть». «Картина» для писателя — это люди, а между тем «...в горах где-то татары, которых не узнаешь, в Ялте — рестораны и московские знакомые». Обработав крымские материалы в 1907 году в очерки, Короленко показал на фоне великолепной природы, мягкой и солнечной, спокойной и величественной, трагедии испорченных человеческих жизней.

Стр. 187. *Капитель* — верхняя часть колонны.

- Стр. 199. *Шопенгауэр*. Артур Шопенгауэр (1788—1860) — немецкий философ-идеалист, проповедовавший пессимистический взгляд на жизнь как на бесконечную цель страданий.
- Стр. 203. *В стиле афинских пропилея*. Пропилеи — в древней Греции вход в афинский Акрополь (верхняя укрепленная часть города) с мраморной колоннадой.
- Стр. 205. *Портал* — главный вход.
- Стр. 217. *Светился огонек духана*. Духан — небольшая лавка, трактир на Кавказе.

НАШИ НА ДУНАЕ

Впервые опубликовано в журнале «Русское Сопатство», 1909 г., № 12, стр. 190—241.

Короленко был в Румынии семь раз, из них пять раз до выхода в свет очерка — в 1893, 1897, 1903, 1904 и 1907 годах. Наиболее длительным и творчески продуктивным было пребывание весной и летом 1897 года, когда писатель познакомился с румынским социалистом Стерианом, ставшим прототипом Дениса Катриана, и сделал первые наброски очерка. 10 лет спустя, во время своего нового приезда в Румынию, Короленко вторично встретился со Стерианом и убедился, что тот по-прежнему борется за свои идеалы, разоблачая фальшь буржуазных свобод. Два года спустя писатель создает в своем очерке светлый, обаятельный образ рабочего-революционера Дениса Катриана. В лице доктора Александра Петровича Короленко вывел своего шурина, политического эмигранта, близкого к революционным кругам Румынии, Василия Семеновича Ивановского.

- Стр. 220. *Цветными гайтанами*. Гайтан — плетеный шнурок, тесьма.
- Стр. 221. *У кырчму*. Кырча — трактир.
- Стр. 223. *Примарь* — см. стр. 252.
- Стр. 225. *Функционар* — служащий, чиновник (рум.).
Калабалак — суматоха (рум.).
Марафет — хитрость, уловка (рум.).
- Стр. 226. *Томлаковый кувшинчик*. Томлак — сплав меди с цинком.
Царан — крестьянин (рум.).
- Стр. 227. *Пенце цыган-лаутаров*. Лаутар — музыкант, скрипач (рум.).
- Стр. 228. *Кочерма* — одномачтовое судно.
- Стр. 230. *Северного гирла*. Гирло — разветвление речного русла, рукав.
- Стр. 232. *Каруцы* — телеги.
- Стр. 234. *Гарманы*. Гарман — ток для молотбы.
- Стр. 235. *Прижавшихся к дундской плавке*. Плавин — низкие берега и островки, поросшие кустарником.

- Стр. 242. *Потомков некрасовцев*. Некрасовцы (по имени атамана Игнатия Некрасы) — донские казаки, ушедшие в XVIII веке от преследований царского правительства в Турцию.
- Стр. 255. *Шанец* — укрепление.
- Стр. 277. *Князей из фанариотов*. Фанариоты (от названия квартала в Константинополе) — потомки знатных греков, занимавшие видные посты и жестоко эксплуатировавшие славянское население Балканского полуострова.

ПЛЕННЫЕ

Печатается по тексту журнала «Русские записки», 1917 г., № 2—3, стр. 344—350, где было опубликовано впервые.

В конце января 1914 года Короленко с семьей выехал за границу для лечения. Начавшаяся мировая война застала его во Франции, в местечке Лярден, предместье Тулузы, откуда он возвратился на родину только в июне 1915 года. «Пленные» написаны под впечатлением виденного писателем за границей во время войны. В одном из писем к жене он писал об этом своем произведении: «Картинка с натуры в чисто беллетристическом роде, каких я давно не писал. Кажется — вышла».

СОДЕРЖАНИЕ

На заводе	5
Без языка	22 ✓
Фабрика смерти	175
В Крыму	187
Наши на Дунае	220
Пленные	283
Примечания	293

КОРОЛЕНКО
ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ
Собрание сочинений, т. 4.

Ответственный за издание

А. Ф. Борушко

Иллюстрации *Б. И. Лебедева*

Оформление *В. В. Максина*

Худож. редактор *Н. С. Михайлов*

Техн. редактор *Е. И. Григорьева*

Подписано к печати 30/XII 1960 г.

Бум. 84×109¹/₃₂ Печ. л. 9,5(15,58) +

+ 6 вкл. Уч.-изд. л. 14,6

Тираж 93 000 экз. Заказ 2173

С 1/1 1961 г. цена 78 коп.

Типография «Красное знамя»

изд-ва «Молодая гвардия».

Москва, А-55, Сушеская, 21.

ОБЩАЯ МАШИНА

45212

105

